

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1975

СОДЕРЖАНИЕ

- Ф. П. Филин (Москва). О свойствах и границах литературного языка. 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- Р. А. Будагов (Москва). Что означает словосочетание *современная лингвистика*? 13
Г. А. Климов (Москва). О понятии языкового типа 21
Д. И. Арбатский (Ижевск). О достаточности семантических определений
В. П. Жуков (Новгород). О знаковости компонентов фразеологизма 36
К. С. Горбачевич (Ленинград). О фонетических предпосылках некоторых акцентологических изменений в современном русском языке 46

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- А. М. Ломов (Воронеж). Категория глагольного вида и ее взаимоотношения с контекстом 55
И. Г. Милославский (Москва). О регулярном приращении значения при словообразовании 65
В. А. Бухбиндер (Киев), Е. Д. Розанов (Ворошиловград). О целостности и структуре текста 73
И. К. Сазопова (Москва). Причастия в системе частей речи и лексико-семантическая деривация 87
С. М. Толстая (Москва). Морфологические корреляции согласных в русском языке 99
А. И. Моисеев (Ленинград). Типология слогов в современном русском литературном языке 109
В. А. Виноградов (Москва), И. Хермс (Лейпциг). Д. Вестерман и развитие африканизмы 116

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

- Ф. М. Березин (Москва). В. И. Кодулов. Общее языкознание 127
Г. Ф. Благова, Г. П. Клепикова (Москва). «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии» 131
Ф. П. Сороколетов (Ленинград). С. С. Волков. Лексика русских челябинцев XVII века 136
В. В. Иванов (Москва). С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка 139
В. Г. Гак (Москва). Г. А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка 142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Хроникальные заметки 147
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1975 г. 154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Солнцева (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. И. Ярцева

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией И. В. Соболева

Ф. П. ФИЛИН

О СВОЙСТВАХ И ГРАНИЦАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

О том, что собою представляет литературный язык, написано очень много. В советском языкознании этой проблеме посвящены работы И. К. Белодеда, Р. А. Будагова, В. В. Виноградова, М. М. Гухман, А. В. Десницкой, Ю. Д. Дешериева, В. М. Жирмунского, П. Г. Корлятуху, Б. А. Ларина, С. П. Обнорского, В. Н. Ярцевой и многих других авторов. Историческое понимание литературного языка, связанное с марксистско-ленинским учением о нации как категории, возникшей в эпоху капитализма, и о донациональных ступенях этнического развития наиболее полно разработано в советской лингвистике и является одним из ее существенных достижений.

Лучше всего исследованы свойства и функции литературного языка национальной эпохи. Правда, мнения ученых по некоторым существенным вопросам не совпадают. Одни лингвисты полагают, что литературный язык и национальный язык — это одно и то же, поскольку местные диалекты возникли задолго до образования нации и не являются продуктом ее развития (то же можно сказать о некоторых жаргонах и отчасти о просторечии), поскольку литературный язык — главное орудие общения нации. Национальный язык — не мешок, в который свалены все разновидности речи, существующие в эпоху нации. Другие лингвисты придерживаются иной точки зрения, считая, что национальный язык шире литературного языка. Конечно, верно, что диалекты — донациональные образования, что с ростом нации они постепенно исчезают, а в эпоху социализма с распространением всеобщего среднего образования их исчезновение происходит убыстренными темпами, в то время как литературный язык становится достоянием широких масс населения. Однако литературный язык хотя и занимает господствующее положение, но продолжает оставаться в тесных (отнюдь не механических) взаимосвязях со всеми другими разновидностями языка эпохи нации, видоизменяется под влиянием диалектов, полудиалектов, внелитературного просторечия и проч. и сам воздействует на них. Весь состав современного языка — не мешок с механически ссыпанными в него языковыми единицами, а сложная единая метасистема.

Для решения проблемы соотношения литературного и национального языка не безразлично и такое экстралингвистическое обстоятельство, как изменение состава носителей литературного языка. Во времена Пушкина подавляющее большинство русского населения не владело литературным языком, единственным средством общения для него были местные говоры. Кто же тогда составлял и представлял безусловно уже существовавшую русскую нацию? Можно ли представить себе нацию без народа? Да и в наше время в младописьменных нациях массы далеко не сразу и не одновременно овладевают вновь возникшими литературными языками. Ссылка на то, что диалекты — донациональное образование, вряд ли может считаться серьезной, так как и литературные языки во многих странах существовали до возникновения наций. Правы те, кто не отожде-

ствяет национальный язык с литературным языком. Национальный язык — метасистема всех языковых разновидностей эпохи нации, в которой ведущее место занимает литературный язык, причем в нем появляются новые качества, которых не было в донациональных литературных языках.

Когда определяются свойства национального литературного языка, обычно выдвигаются различные схемы, однако различия их имеют скорее формально-классификационный характер, а не расхождения мнений по существу вопроса. Чаще всего выделяются следующие особенности национального литературного языка: 1) обработанность, упорядоченность его средств. «Литературный язык — это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами»¹; 2) нормативность, которая охватывает и все богатство вариантных форм (многообразные средства выражения «одного и того же» соотнесены друг с другом, зависят друг от друга, будь они нейтральными или стилистически отмеченными); 3) стабильность, благодаря которой изменения, происходящие в литературном языке, не подрывают его основ в течение длительного времени (для каждого промежутка существования имеются идеальные нормы, на которые ориентируются владеющие литературным языком); 4) общеобязательность для всех членов языкового коллектива, при которой региональные отклонения считаются стоящими за пределами литературного языка (если, например, лица, проживающие в Средней Азии, всякую яму или канаву называют *аржом*, то такое значение слова *арж* является нелитературным, стоит за пределами литературной языковой системы); 5) стилистическая дифференциация, при которой одни стили дополняют друг друга, допускают в известной мере взаимопроникновение (умелое перенесение средств одного стиля в сферу другого создает богатые возможности изобразительной речи); 6) поливалентность, т. е. обслуживание всех сфер жизни (научной, производственной, общественно-политической, бытовой и т. п.).

К сказанному следует добавить наличие письменной и разговорной разновидностей литературного языка, составляющих единое целое. Попытки представить неподготовленную разговорную речь как особый язык со своей более или менее замкнутой системой, которые делают некоторые лингвисты, нельзя считать основательными. Базой любой разговорной речи лиц, говорящих на литературном языке, являются письменно закрепленные литературные нормы, отклонения от которых (эти отклонения, разумеется, существуют) представляют собою вторичные образования, вызванные условиями речевой ситуации. Русские эпохи нации имеют один, а не два литературных языка. Конечно, взаимосвязь между обеими разновидностями литературного языка является двусторонней: устная разновидность оказывает свое воздействие на обработанную письменную, вносит в нее изменения, однако в настоящее время ведущей, определяющей можно считать письменную разновидность, что особенно ярко выявляется в формах массовой устной коммуникации (радио, телевидение, кино, театр, доклады, лекции и всякого рода иные публичные выступления, удельный вес которых в общественной жизни непрерывно повышается). Разумеется, в литературном языке проявляется и внелитературное просторечие (которое следует отличать от просторечного стилистического пласта литературного языка), и диалектизмы, и жаргонизмы, но все эти внелитературные элементы получают конкретную стилистическую нагрузку (без чего они излишни и непоказательны), имеют временный ситуативный характер, а иногда приобретают права литературного

¹ Р. А. Б у д а г о в, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 5.

гражданства, т. е. включаются в общеобязательные литературные нормы².

Нередко высказываемое мнение, что естественным состоянием языка, главным источником его изменения является устно-разговорная стихия, а письменно обработанный литературный язык представляет собой искусственное образование, совершенно неверно. Если согласиться с таким мнением, то и все достижения цивилизации нужно считать искусственными. Главные творческие ценности создаются, по крайней мере в эпоху нации, в письменном литературном языке, выражаются посредством него.

Определяя общие свойства и границы литературного языка эпохи нации, мы не должны забывать о том, что каждый язык неповторим. Своеобразие литературных языков может быть раскрыто лишь посредством их сравнительно-типологического изучения. Достаточно нескольких примеров, чтобы показать, что типология литературных языков и группировки языков по родству и структурно-типологическим признакам не совпадают между собой. Русский и белорусский языки, как известно, являются близкородственными по своему происхождению и структурным признакам (составу фонем, морфологическому строю, синтаксису и пр.). Однако литературные русский и белорусский языки имеют существенные отличия. Одним из таких отличий является отношение к церковнославянским книжным элементам. В русском литературном языке, сохранившем традиции письменных языков Московской и Киевской Руси, роль церковнославянских по происхождению и архаических древнерусских книжных элементов значительна. Белорусский литературный язык сложился как бы заново на основе народно-диалектной речи, поскольку старобелорусский письменный язык прекратил свое существование, вытесненный польским языком. Естественно, в белорусском литературном языке церковнославянских и книжно-архаических элементов заметно меньше, чем в русском, но зато в нем обширнейшая пластологизмов, в общем, небольшой в русском языке. Роль локализмов при становлении норм белорусского литературного языка была гораздо выше, чем в русском.

Своеобразную типологию имеет чешский литературный язык. После поражения чехов на Белой горе в 1620 г. чешская литература беспощадно уничтожалась, чешский литературный язык вытеснялся немецким; немецкие захватчики стремились онемечить чешское население, стереть с лица земли его богатую этнокультурную самобытность. Перемены начались происходить с конца XVIII — начала XIX вв., в эпоху чешского национального возрождения. Чешский литературный язык оживает, однако, не на основе разрозненных тогда городских устно-разговорных койне и местных диалектов, а на базе языка Кралицкой библии и других письменных памятников XVI в. Знаменитый деятель чешского возрождения, патриарх славянской филологии И. Добровский и его сподвижники возрождают старочешский литературный язык, пытаются сохранить и обогатить его каноны. В XIX—XX вв. создается богатая чешская литература, старочешский язык под воздействием народной речи претерпевает серьезные изменения, однако исходный разрыв между письменным литературным языком и разговорным языком пока остается непреодоленным. Складывается сложная языковая ситуация, вызывающая дискуссии о статусе двух заметно отличающихся друг от друга форм устной речи: разговорной литературной (*hovorova čestina*) и так называемой обиходно-разговорной (*obesná čestina*). Обе разновидности устной речи имеют существенные отличия от традиционного письменного литературного

² Подробно мою точку зрения на этот вопрос см.: Ф. П. Ф и л и н, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2, а также в кн.: «Русский язык в современном мире», ч. II, гл. 1, М., 1974, стр. 107—122.

языки (чиркомик *čestina*). Все же с уверенностью можно полагать, что происходит и будет происходить сближение письменного литературного языка с общими разновидностями устной речи, и в конечном результате должны произойти синтез всех этих разновидностей, слияние их в единую нормированную систему с ее взаимосвязанными и разнообразными стилями.

Особое положение существует в Норвегии, где конкурируют между собой два официально признанных литературных языка: риксмол (или букмол), продолжающий традиции употреблявшегося ранее норвежцами датского языка, и новонорвежский (лансмол), созданный на базе норвежских сельских говоров и насаждаемый в школе. Наличие двух литературных близкородственных языков у одной и той же нации вызывает большие затруднения в выработке единых и общих норм. Возникают различные варианты в букмоле, нормы колеблются. Искусственное внедрение лансмол, регламентация литературного языка вопреки сложившимся традициям, по мнению ряда специалистов по норвежскому языку, дала отрицательные результаты. Впрочем решение языковых проблем в Норвегии — это дело, разумеется, только самих норвежцев.

Примеров на разнообразии типов литературных языков эпохи нации можно было бы, вероятно, привести столько, сколько существует самих языков. Чтобы выявить особенности каждого языка, нужно провести огромную сравнительно-типологическую работу, которая практически почти вся впереди, так как обстоятельных исследований в этой области еще немного (в отличие от структурно-типологических и особенно сравнительно-исторических штудий). Однако своеобразие каждого литературного языка — это только одна сторона дела. Между всеми литературными языками существуют общие существенные черты, которые позволяют выделять литературный язык эпохи нации как определенную историческую категорию. Правда, литературный язык — настолько сложное явление, что для него невозможно подобрать краткое исчерпывающее определение, удовлетворительное для всех случаев. И все же несмотря на бесконечные споры о том, какое из определений является правильным, никто не сомневается в существовании современных литературных языков, как никто не сомневается в наличии в языке слова или предложения. Национальный литературный язык (или литературный язык нации) — факт бесспорный, независящая от нашего сознания объективная действительность.

А существовали ли литературные языки до эпохи нации? Для языковедов домарксистского языкознания такой вопрос по существу не стоял, так как племена, народности и нации четко не разграничивались и даже смешивались, поскольку в основе истории отсутствовало учение о поступательной смене одной общественной формации другой. Этот вопрос встал только в эпоху марксистского языкознания, но однозначного ответа на него пока нет. Некоторые филологи полагают, что до образования нации литературных языков не существовало, а были лишь письменные языки³. В этом утверждении есть только одно рациональное зерно: между литературными языками эпохи нации и донациональными литературными языками, несомненно, имеются качественные отличия в их структурах и функциях, литературный язык и письменность — явления не тождественные, однако в целом отрицание наличия донациональных литературных языков представляется совершенно неверным.

Посредством письменных знаков можно обозначать разные языковые состояния. Современные письма малограмотных людей (как и малограмот-

³ Кажется, одним из первых высказал эту мысль Б. В. Томашевский в статье «Язык и литература» в сб. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1951, стр. 177—179.

ные объявления, вывески, рекламы и прочее, что, к сожалению, еще не изжито в нашем быту), нарушающие нормы литературного языка и правописания, конечно, нельзя отнести к категории литературных. Малограмотность существовала во все времена с тех пор, как возникло развитое письмо. Показательны в этом отношении знаменитые новгородские берестяные грамоты, которые получили противоречивую оценку со стороны лингвистов. А. И. Ефимов в свое время отнес их к эпистолярному стилю древнерусского литературного языка⁴. Н. А. Мещерский также увидел в них памятники литературного языка, поскольку в этих грамотах имеются некоторая обработанность словосочетаний, сложноподчиненные предложения, не свойственные разговорной речи, некоторая доля церковнославянизмов и т. п.⁵ Решительно возражал против литературности языка этих грамот В. В. Виноградов, называя мнения своих противников «исторической беллетристикой»⁶. В этих спорах отразилась не столько аргументированность противоположных концепций, сколько различие во взглядах на природу древнерусского литературного языка. На мой взгляд, новгородские грамоты на бересте стоят на границе между древнерусским литературным языком и малограмотными внелитературными документами. В них имеются и несомненно литературные штампы вроде *поклон от Есипа ко Петру, се аз раб божий вдал есмь*, *написах рукописание* и проч., и фиксация ненормированной бытовой речи при крайне неустойчивой орфографии, с резкими отступлениями от канонов древнерусской письменности (т. е. аналог современных писем малограмотных людей). В длительной истории письменности малограмотность, по-видимому, была неизбежна, поскольку грамотность в связи с социальным расстройством общества никогда не была всеобщей (всеобщей она становится только в эпоху развитого социалистического общества).

Вряд ли можно отнести также к документам литературного языка примитивные формы письма, имевшиеся у разных племен и народностей, поскольку за ними не стояло богатство высоко развитой литературной речи и посредством их передавались только фрагменты речевого общения, вызванные отдельными практическими нуждами. Разумеется, нельзя также относить к литературному языку записи диалектной и иной необработанной речи, предназначенные для целей научного исследования, хотя они произведены посредством письменных знаков. Одним словом, письмо не является единственным признаком литературного языка (тем более, что в наше время существуют устные разновидности литературного языка).

Но следует ли из этого, что в донациональную эпоху литературных языков вообще не было, что существовали только письменные языки? Если бы мы согласились с этой точкой зрения, то должны были бы признать, что богатейшие литературы древних мировых цивилизаций, также, например, как древнегреческая и латинская, не имели своих литературных языков, а являлись всего лишь письменностью, письменными языками. Однако хорошо известно, что древнегреческий и латинский языки были нормированными, не совпадали с диалектной речью греков и латинян, имели устойчивые традиции, продолжали и продолжают оставаться важнейшим источником научного терминотворчества в европейских и многих других языках нашего времени. То же самое можно сказать о ряде высококуль-

⁴ А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1954, стр. 93 и сл.

⁵ Н. А. Мещерский, Новгородские грамоты на бересте как памятник древнерусского литературного языка, «Вестник ЛГУ», 2. Серия истории, языка и литературы, 1958, 1.

⁶ В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 23.

турных языков средневековья: византийском (среднегреческом), латинском (имевшем широкое распространение в странах Западной и Центральной Европы), арабском, старославянском, грузинском, армянском и др. Признать «Слово о полку Игореве», «Витязь в барсовой шкуре» Руставели произведениями великой литературы и в то же время считать их язык внелитературным по меньшей мере странно. Спор тут отнюдь не терминологический (литературный язык можно называть «письменным», «Schriftsprache», «pisovná čeština» и т. п., как это принято у многих филологов не только по отношению к старым временам, но и к современности, к эпохе наций), а по существу дела.

Между национальными литературными языками и литературными языками донационального времени, кроме отличий, имеются и существенные черты общности: 1) известная обработанность, стремление к устойчивости, поддержанию традиций (что неизбежно приводило и приводит к обособлению от разговорной речи, в которой процессы диалектного дробления и всякого рода стихийные изменения проходят более интенсивно — это заложено в самой природе непреднамеренной устной речи), к наддиалектному состоянию; 2) функционирование в качестве средства цивилизации, обслуживание государственных и иных нужд общества. Конечно, указанная общность варьируется от языка к языку в зависимости от конкретно-исторических условий. Что касается отличий, то они, по-видимому, сводятся прежде всего к тому, что донациональные литературные языки были достоянием сравнительно узких слоев населения классово-расчлененного общества, они не составляли единой системы с устной речью, не обладали всеобъемлющей поливалентностью, более свободно допускали сосуществование на равных правах всякого рода регионализмов.

Освещение и решение всех этих сложных проблем — предмет исторического научения каждого литературного языка. В русистике, например, давно идет спор об истоках русского литературного языка. На этот счет имеются различные точки зрения, которые можно свести к двум главным: 1) в Древней Руси существовал один литературный язык, в основе своей древнеболгарский (старославянский), впоследствии подвергшийся русификации и западноевропейским влияниям; 2) в Древней Руси был не один, а два литературных языка: древнеболгарский, под русским воздействием несколько видоизменившийся и ставший церковнославянским языком русской редакции, и собственно древнерусский литературный язык на народной основе, испытывавший различные влияния со стороны церковнославянского языка, а позже (особенно с XVIII в.) и со стороны западноевропейских языков. Представители первой концепции указывают на то, что подавляющее большинство дошедших до нас письменных памятников представляет собой богослужебную литературу, языковой основой которой был старославянский язык, близкий к древнерусскому языку и понятный для древнерусского населения (как и для других славян того времени). Древнерусские книжники учились по богослужебным книгам и подражали их языку в своих оригинальных произведениях; язык переводных и оригинальных древнерусских памятников был одним и тем же, в нем лишь, наподобие диалектов одного и того же языка, были колебания норм, нередко с уступками в пользу народно-разговорной восточнославянской речи. Для восточных славян это был «свой» литературный язык. При этом иногда ссылаются на то, что древнерусские книжники даже при переписывании евангелий делали замены одних слов, форм или выражений другими⁷. Однако при этом упускается одно чрезвычайно важное обстоятельство: в XI—XIV вв. славянские языки, сохраняя родствен-

⁷ Л. П. Жукowska, О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода, ВЯ, 1972, 5, стр. 68 и сл.

ную близость, уже заметно отличались друг от друга, были самостоятельными языками, а не диалектами одного славянского языка (эпоха праславянского единства давно уже отошла в прошлое). Старославянский (церковнославянский) язык разных редакций славян выполнял ту же функцию, что и латинский язык в средневековой Европе (с той, конечно, существенной разницей, что он был значительно ближе к народным славянским языкам, чем латинский в германоязычных и некоторых других областях). Что касается вариативности в языке евангелий и других богослужебных книг, то она свидетельствует лишь о том, что древнерусские (и иные славянские) книжники действительно свободно владели церковнославянским языком, как свободно владеют неродным языком билингвы и полиглоты (Пушкин, Толстой и др. также умели свободно варьировать свою французскую речь).

Наиболее видными представителями первой гипотезы были А. А. Шахматов и Б. О. Уйбегаун. В. В. Виноградов, развивая концепцию А. А. Шахматова, выдвинул теорию двух типов древнерусского литературного языка: книжно-славянского и народно-литературного, которые сосуществовали и взаимодействовали, но не были стилями единого литературного языка (типы превращаются в стили не раньше XVI—XVII вв.). Эти типы составляли один литературный язык, в котором ведущая роль отводилась книжно-славянскому (церковнославянскому в своей основе) типу. В этой теории остается неясным статус народно-литературного типа: если в его основе лежит древнерусский народный язык, то как же с этим можно увязать наличие в Древней Руси одного (пусть не единого) литературного языка, в основе которого лежал хотя и близкородственный, но иной древнеболгарский язык?

Сторонники второй концепции (С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский и др.) указывают на никем не оспариваемое теперь отличие между языком богослужебной литературы и языком так называемой деловой письменности; в основе последнего лежит речь восточнославянского населения. Памятники деловой письменности представлены как самостоятельные документы и как многочисленные вкрапления в тексты «неделовых» произведений. К ним относятся знаменитая «Русская Правда», всевозможные договоры, грамоты, записи и пр. Близки к деловым документам многие погодные записи в летописях, особенно новгородских, зафиксированные на письме речи послов, княжеские и иные соглашения и некоторые другие письменные тексты. Налицо явное противопоставление двух близкородственных языков: церковнославянского русской редакции, перенесенного в Древнюю Русь из Болгарии, и собственно русского по своей основе литературного языка. Противники теории литературного двуязычия, чтобы устранить противоречие в своей концепции, поступают просто: они не считают язык деловой письменности литературным, определяя его как письменную фиксацию определенных видов разговорной речи, предназначенную для чисто практических нужд. С их точки зрения деловая литература включается в состав литературного языка только с XVI—XVII вв., когда формы делового письма используются не для практических целей, а как один из литературных приемов.

Спор о началах древнерусского литературного языка перерастает в теоретическую дискуссию о литературном языке донациональной эпохи. Если отнести к последнему только произведения художественно-образительного назначения, то от донациональных литератур мало что останется, так как художественно-образительные элементы в них теснейшим образом переплетены с чисто практическими, «деловыми» целями. Вся богослужебная письменность, переводные и оригинальные жития, поучения и т. п. были не просто книгами для чтения любознательных

людей, но имели сугубо практическое назначение и в этом смысле ничем не отличались от грамот и договоров. Летописи и иные произведения читались не как современные исторические романы, а были важными документами, удостоверявшими генеалогию лиц, принадлежавших к высшим слоям общества, права наследственности, являлись справочным материалом для многих практических нужд. Удовлетворявшие эстетической потребности всех слоев общества фольклорные произведения были не развлечением, а все имели обрядовый (т. е. «деловой») характер. Можно с уверенностью сказать, что принцип определения языковой литературности по признаку «то, что предназначено для чтения, что включает в себе приемы художественного изображения, вымысла» не подходит для характеристики литературного языка как донациональной поры, так и нашего времени.

Нельзя считать также основательными утверждения, будто бы деловой язык мало обработан и не имеет традиций. Хотя в основе его лежала разговорная речь, он отнюдь не был ее адекватным отражением. Строгая организация синтаксиса (в том числе наличие необычных для разговорно-бытовой речи сложноподчиненных конструкций), из века в век повторяющиеся устойчивые штампы, определенный отбор лексики, наличие известной доли церковнославянизмов, определенная условность орфографии и многое другое свидетельствуют об обработанности языка деловой письменности, о наличии в нем свойств, отсутствовавших в неподготовленной разговорной речи. Прав Б. А. Ларин и другие лингвисты, которые указывают, что живую разговорную речь населения Древней Руси можно, анализируя язык древних памятников, реконструировать только по крупицам.

Язык деловой письменности имел и свои давние традиции. «Русская Правда» уходит своими корнями в обычное восточнославянское право, существовавшее еще в дописьменный период. Договоры русских с греками (часть из них сохранилась в нашей древнейшей летописи) заключались уже в X в. до массового распространения христианства на Руси. Язык деловой письменности обслуживал интересы не только частных лиц, он являлся государственным языком. Позже он становится официальным языком государственных канцелярий Великого княжества Литовского и Молдавии, т. е. функционирует не только в восточнославянской, но и в иноевропейской сфере. Такое не могло бы случиться с необработанным, некультивируемым языком. Язык древнерусской деловой письменности, несомненно, был литературным (так же, как и язык средневековой деловой немецкой письменности, сыгравший большую роль в становлении немецкого национального литературного языка). Отказывать ему в этом можно лишь в угоду схеме существования в Древней Руси одного литературного языка. Это почти то же самое, что выводить за пределы литературных норм язык современных деловых документов (тоже предназначенных для чисто практических целей).

Мы приходим к выводу, что в Древней Руси сосуществовали и взаимодействовали два близкородственных литературных языка: перенесенный извне церковнославянский литературный язык и собственно древнерусский литературный язык. Последний по своему составу был неоднороден: в нем, в зависимости от содержания и назначения письменных памятников, по-разному сочетались восточнославянизмы и церковнославянизмы, общерусские и локальные элементы, художественно-фольклорный, деловой, бытовой и иные жанры. Идею В. В. Виноградова о типах древнерусского литературного языка (при условии признания литературного билингвизма) можно принять, поскольку еще не существовало стройной системы стилистической дифференциации. Количество таких типов —

два или больше — дело в значительной мере условное. Некоторые исследователи (Д. С. Лихачев) склонны признать множественность типов, а я предпочитаю говорить о трех: книжно-славянском (с преобладанием церковнославянизмов), «повествовательном» или среднем (ср. язык «Слова о полку Игореве», большую часть сочинений Владимира Мономаха, «Моление Даниила Заточника», большинство оригинальных летописных записей и др.) и деловом⁸.

Из сказанного следует, что существование литературного языка нельзя ограничивать эпохой нации. Но с какого времени нужно начинать его историю? Высказываются мнения (М. М. Гухман, А. В. Десницкая и др.), что литературный язык не обязательно связан с письменностью, что он мог существовать и в дописьменную эпоху. Письменное оформление — переходящий, не постоянный признак литературного языка, главное в нем — обработанность, намеренная подготовленность, устойчивость традиций и вытекающая из этого известная наддиалектность. Под литературным языком надо понимать обработанную форму «любого языка независимо от того, получает ли она реализацию в устной или письменной разновидности»⁹. При такой постановке вопроса остается неясным, когда же возникает литературный язык как историческая категория. Обработанность, устойчивость, традиционность свойственны языку устной народной поэзии, особенно эпическому, формулам заклинания, мольбам древних охотников и разным формам традиционно-культовой речи. Все названные виды языка своими корнями уходят в глубокую древность, к истокам первобытной речи. Значит, литературный язык существовал всегда и, следовательно, является категорией внеисторической? Вряд ли с этим можно согласиться.

Мы не знаем древнего дописьменного эпоса многих народов Запада и Востока, хотя можем предполагать, что таковой существовал. Весьма вероятно, что в основе летописных древнерусских сказаний о мести Ольги древлянам, о белгородском киселе, о победе юноши-кожмяки над печенежским богатырем, о Рогнеде-Гориславе и др. лежат народные эпические произведения. Была своя поэзия у древнерусских племен дописьменной эпохи, у праславян, у праиндоевропейцев, наконец, у всех так называемых первобытных бесписьменных племен, которые были открыты на разных континентах земли, а иногда открываются и в наше время. Можно ли язык фольклора с его обработанностью и прочими качествами отождествлять с литературным языком? Можно ли русские былинны владимирского и иного циклов, сказки, плачи, заклинания, народные песни и проч., дошедшие до наших дней, записанные фольклористами, лингвистами, любителями (или еще не записанные), но не обработанные писателями, ставить в один ряд с произведениями Пушкина, Толстого и Горького? Если бы это можно было сделать, тогда не было бы ни фольклора, ни фольклористики, а была бы единая литература и единое литературоведение, чего нет на самом деле. Фольклор и художественную литературу объединяет одно — образность изображения, а разъединяет многое, в частности особенный язык. Как показала в своих исследованиях А. П. Евгеньева, в языке русского фольклора имеются традиционные, наддиалектные элементы, но основа его тесно связана с диалектами, имеет ярко выраженный диалектный характер, что литературному языку противопоказано.

Благодаря подвигу Лэнгтона мир узнал о великом художественном

⁸ Более подробно моя точка зрения изложена в статье: Ф. П. Ф и л и н, Об истоках русского литературного языка, ВЯ, 1974, 3.

⁹ «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка», М., 1970, стр. 502, 515.

произведении «Калевале», руны которого сохранились среди бесписьменного карельского населения. «Калевала» оказала мощное воздействие на творчество финских писателей. «Песнь о Гайавате» Лонгфелло создана также не без влияния великого эпоса карелов. Истоки «Калевалы», по-видимому, восходят к первым векам нашей эры. Однако нет никаких оснований говорить о карельском литературном языке ни этого, ни последующего времени. Попытки создать его в предвоенные годы не были успешными: после краткого периода своего существования он вышел из употребления (его заменили русский и финский литературные языки).

Безусловно, такие крупнейшие устные эпические произведения, как киргизский «Манас», туркменский «Гор-оглы», казахские «Кобланды-батыр», «Ер-Таргын», «Камбар», «Утегев», «Козы-Корпеш», «Кыз-Жибек», «Айман-Шолпан», азербайджанский «Кёр-оглы», украинские думы, нартский эпос и другие аналогичные художественные сказания играли огромную роль в духовной жизни народов, были их летописью и выражением их чаяний, имели и имеют непреходящую ценность для культуры человечества. Однако их язык, обработанный и сохранивший определенные традиции, в своем функционировании не выходил за рамки эпоса и в то же время был на уровне диалектов (близких или значительно расходящихся).

Устное словесное искусство и литературный язык — категории не тождественные. Неравенство их несравненно больше, чем различие между литературным языком и языком художественной литературы наших дней. Устное словесное искусство — преддверие литературного языка, один из его важнейших источников. Нельзя также говорить о литературности разного рода устных койне с их ярко выраженными в общей структуре языка локализмами, тем более древних охотничьих, религиозно-магических и иных, нередко очень устойчивых, вплоть до окаменелости, разновидностях речи.

Литературный язык — категория историческая. Непременным условием его возникновения является письменность — одно из важнейших достижений цивилизации, продукт государственности. Письмо значительно расширяет возможности общения и накопления знаний, закрепления языковых норм, передачи информации от одного поколения к другому, усовершенствования структуры языка. Существование громадной и разнообразной по содержанию и целям литературы (в классической древности и средние века не только богослужебной, но и научной, деловой, публицистической и проч.) без письменности немыслимо. Письмо во все времена его существования аккумулирует такое количество знаний и сведений, которое не может удержать в своей памяти не только один человек, но и коллективы людей. Не случайно ликвидация неграмотности является острой потребностью прогрессирующего общества, не случайно в классовом обществе (особенно в докапиталистических формациях) грамотность — привилегия господствующих классов, орудие борьбы против народных масс. Многие новые литературные языки в нашей стране возникли только благодаря созданию и распространению письменности после Великой Октябрьской социалистической революции.

Однако не всякая письменная фиксация речи может быть названа литературной. Письменность — важнейший и обязательный, но не единственный признак литературного языка. К свойствам литературного языка относятся также его относительная обработанность, определенная устойчивость норм, наддиалектность (не исключается, конечно, проникновение в его состав известной доли диалектизмов). Литературный язык — явление очень сложное. Дискуссия по этому вопросу несомненно будет продолжаться.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Р. А. БУДАГОВ

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВСОЧЕТАНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА?

1

В советской лингвистике последних пятнадцати лет появились теперь уже ставшие довольно распространенными среди некоторой части специалистов словосочетания *современная лингвистика*, *современное языкознание*. Стали выходить даже книги, на обложке которых фигурирует одно из этих двух словосочетаний¹. Между тем, что означают подобного рода словосочетания? Как следует понимать прилагательное *современный* в таких соединениях слов? Я сейчас попытаюсь показать: *современный* выступает здесь не только и даже не столько во временном значении («относящийся к настоящему времени»), сколько прежде всего в переносно-оценочном значении («стоящий на уровне нашего времени, передовой, хороший»). В аналогичном осмыслении прилагательное *современный* оказывается в словосочетаниях типа *современная техника*, *современная фабрика*, *современный уровень производства* и т. д.

Получается, будто бы существует *современная лингвистика*, т. е. передовая, хорошая, и лингвистика *несовременная*, традиционная и, по-видимому, плохая. Иногда даже независимо от желания отдельных специалистов, прибегающих к словосочетанию *современная лингвистика*, возникает именно такое противопоставление. Оно складывается, во-первых, потому, что «все познается в сравнении», и, во-вторых, положительно-оценочная семантика прилагательного *современный* как бы сама вызывает противопоставление: *современная наука* (на высоком уровне нашего века) — *несовременная наука* (не на уровне нашего века). Если же учесть, что *современная лингвистика* чаще всего противопоставляется традиционной (классической) лингвистике, то станет очевидным, что первое словосочетание выступает в весьма положительном значении, а второе — в значении отрицательном.

Здесь сейчас же возникает множество проблем и вопросов. Обратим внимание на некоторые из них.

Во-первых, с какого времени начинается «современная лингвистика»? Этот вопрос приобретает особую важность, если прилагательное *современ-*

¹ См. например: Ю. С. Степанов, *Методы и принципы современной лингвистики*, М., 1975. Редакция журнала «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» (1975, 1), публикуя одну из статей И. И. Ревзина (посмертно), сообщает своим читателям, что этот автор «...много и плодотворно работал в самых разных областях современного языкознания...» (стр. 16, курсив везде мой. — Р. Б.). Подобные примеры легко умножить. В дальнейшем изложении *современная лингвистика* и *современное языкознание* я употребляю как абсолютные синонимы.

мый толковать в его временном значении («относящийся к настоящему времени»). Во-вторых, — и это еще существеннее — как можно говорить о «современной лингвистике» в каком-то обобщенном смысле, если лингвистика наших дней характеризуется острым столкновением различных теоретических концепций, обычно исключают друг друга. В подтверждение этого последнего тезиса можно привести десятки примеров. Я пока ограничусь одним, самым простым примером.

Известно, что некоторые лингвисты наших дней считают главой «современной лингвистики» американского ученого Н. Хомского. Создаются даже целые книги на эту тему². Не менее многочисленная группа ученых в разных странах придерживается диаметрально противоположного взгляда, подчеркивая, что Хомский — вовсе не лингвист, что он весьма далек от науки о языке, искажает самый объект ее изучения, схематизирует явления и категории, не поддающиеся подобной схематизации и т. д. Возникает вопрос: как на таком фоне следует оценивать *современность* или *несовременность* Н. Хомского? Нельзя забывать при этом и диапазона оценок работ Н. Хомского: от эпитета «новаторские» до эпитета «шарлатанские»³.

Я сейчас не занимаюсь оценкой лингвистических суждений Н. Хомского. Здесь меня интересует другое: можно ли употреблять прилагательное *современный* в его оценочно-положительном значении («стоящий на уровне нашего времени»), если лингвистика наших дней представлена явно несходными концепциями языка, часто исключают друг друга? Я убежден, что так поступать нельзя.

Быть может, однако, правы те ученые, которые употребляют *современный* лишь в его временном значении? Возникают новые трудности.

Уже в 1869 г. немецкий эрудит Т. Бенфей в своей «Истории языкознания и восточной филологии в Германии» писал о том, что с начала XIX столетия в Германии начинается история нового языкознания (Geschichte der neueren Sprachwissenschaft), по отношению к которой все предшествующие этапы научных разысканий в этой области представлялись автору старыми, несовременными. Бенфей был убежден, что *новое* и *современное* — это начало прошлого века, *несовременное* — все то, что предшествовало работам Ф. Боппа. Открытие сравнительно-исторического метода — вот рубеж, разделяющий *современное* (новое) и *несовременное* языкознание⁴. И так думали многие выдающиеся ученые на протяжении всего прошлого столетия. Так считал, в частности, и Б. Дельбрюк в своем широко известном очерке «Введение в изучение языка (из истории и методологии сравнительного языкознания)», впервые опубликованном в 1880 г.⁵

В этом отношении представляют бесспорный интерес взгляды отдельных выдающихся лингвистов разных эпох. Ученому такого масштаба, как В. Гумбольдт, казалось, что эпоха нового или *современного* языко-

² См., например: F. H i o r t h, Noam Chomsky, Linguistics and philosophy, Oslo, 1974.

³ См., например: H. A a r s l e f f, The history of linguistics and professor Chomsky, «Language», 46, 1967, стр. 570—585; S. L a n d, The Cartesian language test and professor Chomsky, «Linguistics. An international review», 122, 1974, стр. 11—24; A. J o l y, Cartésianisme et linguistique cartésienne: mythe ou réalité? «Beiträge zur romanischen Philologie», Berlin, 1972, 1, стр. 86—94; Т. P a k, Contradictions in chomskian semantics, «Studia linguistica», Lund, XXVIII, 1974 (в моей библиографии уже имеется двадцать работ самых различных авторов из разных стран с принципиальной критикой концепции Н. Хомского).

⁴ T h. B e n f e y, Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalische Philologie in Deutschland, München, 1869 (см. оглавление этой книги).

⁵ Русский перевод этого исследования был позднее включен в виде «Вступления» в кн.: С. К. Б у д а г о в, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904, особенно стр. 146—148.

знания начинается тогда, когда лингвист получает возможность философски осмыслить строй того или иного языка, в особенности языка малоисследованного. В поисках этого *современного языкознания* Гумбольдт переходил от изучения санскрита к языкам баскскому, китайскому, к кавязыку на острове Яве⁶. Гумбольдт иначе понимал *современное языкознание*, чем его современник Ф. Бопп, хотя у обоих исследователей прилагательное «современный» ассоциировалось с представлением о передовой науке. Вместе с тем «передовое» ученые истолковали различно: для Боппа «передовое» — это основательное знание фактов, для Гумбольдта «передовое» — это прежде всего философское осмысление фактов.

Уже эти примеры показывают, что разграничение понятий «современная наука — несовременная наука» в гуманитарных областях человеческого знания оказывается гораздо сложнее, чем в области математики или физики. Физик может назвать, например, квантовую физику «современной областью знания» и в какой-то степени противопоставить ее сфере классической физики (известная преемственность и здесь, разумеется, сохраняется). Языковеду сходное разграничение провести гораздо труднее. Здесь необходимо считаться со спецификой каждой науки. Различия обнаруживаются даже в пределах родственных сфер знания. Как показал академик В. А. Амбарцумян, в астрономии, например, н а б л ю д е н и е играет более значительную роль, чем в физике, где в свою очередь э к с п е р и м е н т приобретает большее значение, чем в астрономии. «Астрофизические исследования в большинстве случаев распадаются на три стадии: 1) наблюдение; 2) интерпретация явления — выяснение того, что именно происходит в наблюдаемом объекте; 3) построение полной теории явления, включающей объяснение его причин»⁷.

Истолкование степени *современности* тех или иных знаний имеет и другой аспект. Первые две части «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни вышли в 1874 г., т. е. свыше ста лет тому назад. Однако эта книга сохраняет всю свою актуальность, всю свою *современность* и в наши дни. Едва ли целесообразно заниматься современными проблемами синтаксиса любого языка, не зная и не учитывая исследования Потебни. Больше того. Такие, казалось бы, остро современные проблемы синтаксиса, как актуальное членение предложения, взаимодействие слова и предложения, предложения и контекста, грамматического и лексического — все эти проблемы, как и многие другие, не только поставлены, но и глубоко освещены в проникновенном исследовании Потебни. То же можно сказать, например, и об «Основах фонологии» Н. С. Трубецкого, хотя и эту книгу отделяет от нашей современности период уже в несколько десятилетий (ее первое издание — 1939 г.), между тем все острее проблемы фонологии наших дней поставлены и широко освещены именно в этой книге Трубецкого. Современное осмысление фонологии едва ли возможно без опоры на размышления Трубецкого. Даже в тех случаях, когда фонолог наших дней в чем-то не согласится с автором «Основ», он обязан отлично знать эту книгу в процессе размышления о самых современных, самых актуальных проблемах фонологии.

Разумеется, новая концепция может иметь чисто теоретический характер. Но не следует забывать, что новая концепция часто вырастает из нового осмысления старых фактов, казалось бы уже хорошо известных в науке.

⁶ Р. Г а й м, Вильгельм фон Гумбольдт, Описание его жизни и характеристика, М., 1898, стр. 359—368; О. С. Т е с е л к и н, Древнеяванский язык (кави), М., 1963, стр. 13—14.

⁷ В. А. А м б а р ц у м я н, Философские вопросы науки о Вселенной, Ереван, 1973, стр. 116.

Приведу здесь два примера. До самого последнего времени лингвисты-романисты считали, что романские языки возникли не из классической, а из так называемой вульгарной или народной латыни (лат. *vulgaris*, как и франк. *vulgaire*, — весьма многозначны). Под условным термином «вульгарная латынь» разумеалась более поздняя (сравнительно с языком эпохи Цезаря и Цицерона) латынь, грамматически и лексически ближе «расположенная» к будущим языкам романской группы. «Вульгарная латынь» — язык грамматически уже во многом аналитический, как и грамматический строй большинства романских языков. Все это казалось «раз и навсегда» установленным. Но отдельным ученым и раньше представлялось, что проблема сложнее. И вот в самое последнее время лингвисты-романисты стали возвращаться к старой концепции, согласно которой главным источником романских языков является не «вульгарная», а классическая латынь, располагающая огромным числом памятников самого различного характера. В этом плане преимуществва классической латыни таковы: 1) она древнее латыни «вульгарной», 2) она целостна в своем грамматическом строе, 3) она великолепно документирована, тогда как от латыни «вульгарной» сохранились лишь «рожки да ножки»⁸.

Дело не только в том, что новая постановка вопроса «переворачивает» соотношение между классической и вульгарной латынью. Новое опирается здесь на старое, но уже иначе осмысленное. Представление же о вульгарной латыни как об основном источнике романских языков зародилось в Европе в начале прошлого столетия, в эпоху романтизма с его культом «народного начала» в языке, литературе, искусстве. Но это было одностороннее понимание «народного». В нашу эпоху стало очевидным, что народ участвует и в создании письменности: участвует, если не прямо, то косвенно. Уровень культуры любой эпохи — это результат усилий не только отдельных личностей, но и народа, представителями которого выступают выдающиеся писатели, ученые, общественные деятели. В таком ракурсе классическая латынь с ее богатейшими памятниками предстает уже в другом виде сравнительно с эпохой, когда зародилась, теперь уже ошибочная, теория антидемократического характера классической латыни.

В подобных случаях *современность* или *несовременность* теории находится в прямой зависимости от того или иного истолкования и осмысления уже известных в науке фактов. Вместе с тем было бы несправедливо считать, что всякие попытки развивать теорию, согласно которой все же «вульгарная латынь» является источником романских языков, в наше время являются уже несовременными. Весь вопрос в том, насколько серьезны и основательны данные (факты, материалы, источники), на которые опираются как более старая, так и более новая теория.

Сравнительно не так давно еще спорили, какой язык «попал» в Южную Америку в период ее испанской колонизации — предклассический (до XVI столетия), классический или постклассический. Но вот А. Алонсо показал, что вопрос долгое время ставился неточно. Все три только что названные термина (предклассический, классический и постклассический) относятся к языку художественной литературы, в Южную же Америку проникала прежде всего общенародная и разговорная речь испанцев на рубеже XVI столетия и в более позднее время⁹. Здесь «звучащая речь»

⁸ W. Mañ z a k, La langue romane commune: latin vulgaire ou latin classique?, «Revue romane», Copenhague, 1974, 2 (здесь же дана история вопроса).

⁹ A. Alonso, Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, Madrid, 1953, стр. 11.

самых носителей языка приобретала большее значение, чем речь записанная, «обработанная» выдающимися писателями. И несмотря на несомненную зависимость «обработанной» речи от общенародного языка, из которого она сама вырастает, в этой ситуации соотношение оказывалось несколько иным, чем в эпоху зарождения романских языков: в последнем случае «обработанный» литературный язык нам известен не только гораздо лучше. Он и «дошел» до нас от более старых времен, чем язык необработанный.

Современность или *несовременность* концепции, ее приемлемость или неприемлемость оказываются в прямой зависимости от определенного осмысления фактов, которыми располагает наука.

Возникновение отдельных славянских языков одни лингвисты до сих пор относят к III—IV векам нашей эры, другие — к VI—VII столетиям, имеются, наконец, ученые, которые называют лишь X—XI века эпохой формирования отдельных славянских языков. Разумеется, *современность* концепции тех или иных филологов будет определяться тем, насколько серьезно обоснована их доктрина фактами, насколько прочно она опирается на подобные факты¹⁰

2.

Всякая наука обязана считаться с фактами, которые составляют объект ее изучения. Это общее положение целиком относится и к лингвистике. Между тем за последние пятнадцать-двадцать лет в отдельных направлениях науки о языке можно обнаружить нежелание считаться с фактами, попытки строить теорию как бы вопреки фактам. Так, например, многозначность слова, широкая лексическая, синтаксическая и стилистическая синонимика — характернейшие особенности любого современного языка, особенно языка с богатой литературно-письменной традицией. В отдельных же направлениях языкознания наших дней эти органические, в высшей степени типичные свойства языка объявляются признаками, для него нехарактерными. Теория языка начинает сооружаться так, будто бы все слова однозначны и не имеют никаких синонимов¹¹. Авторы подобных утверждений стремятся «упростить язык» для облегчения процедуры его формализации. Но «упрощенная теория» вслед за «упрощенным языком» оказываются мертворожденными и поэтому, разумеется, *несовременными*. *Современность* не может и не имеет никакого права ассоциироваться с необъективностью, с искажением объекта, подлежащего всестороннему и глубокому изучению.

Хорошо известно, что люди нашего времени легко различают такие категории, как *материальное* и *идеальное*. Но так было не всегда. Человек средних веков «...был склонен к смешению духовного и физического планов и проявлял тенденцию толковать идеальное как материальное»¹². Все это находило выражение и в словаре той эпохи. Латинское *honor* означало и «честь», и «ленное владение», *gratia* — и «милость» («любовь»), и

¹⁰ Ф. П. Ф и л и н, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972; с г о ж е, Образование языка восточных славян, М.—Л., 1962.

¹¹ См., например: А. А. В е т р о в, Методологические проблемы современной лингвистики, М., 1973, стр. 39. «Если слово имеет несколько значений, то для теории класса удобнее (? — Р. Б.) считать каждое такое значение отдельным словом, т. е. омонимизировать эти значения» (А. А. Х о л о д о в и ч, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, 1, стр. 32—33).

¹² А. Я. Г у р е в и ч, Категории средневековой культуры, М., 1972, стр. 264—265. См. также материалы в кн.: С h. L a n g l o i s, La vie en France au moyen âge, Paris, 1908, стр. 342—353.

«подарок», *beneficium* — и «благоденствие», и «феодалное пожалование». Известны попытки того времени связать *homo* «человек» с *humus* «земля». Возникает вопрос: осмысливая теорию литературных языков в средние века, обязан ли лингвист считаться с несомненными фактами подобного рода? Разумеется, обязан. Теория и в этом случае как бы вырастает из фактов. Она не имеет права не считаться с ними.

Очень часто утверждают, что современная лингвистическая теория — это теория, оперирующая математическими формулами и математическими знаками. Разумеется, и то и другое может быть полезным в известных случаях. Но здесь нельзя не напомнить слов одного из крупнейших физиков нашей эпохи, почетного академика АН СССР Макса Борна: «Любая книга по физике, химии, астрономии потрясает специалиста обилием математических и иных символов... Но разве в этом обилии формул найдешь живую природу? Неужели эти физические и химические символы связаны с испытанной на опыте реальностью чувственных восприятий?»¹³. Применительно к лингвистике об этом же писал еще в 1911 г. акад. Л. В. Щерба: «...опыт показывает, что всякие таблицы и схемы расплываются по всем швам, как только попробовали вставить в них факты живой действительности»¹⁴. Еще в прошлом веке в своей книге «Диалектика природы» Ф. Энгельс проникновенно писал: «Мы, несомненно, „сведем“ когда-нибудь экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но разве этим исчерпывается сущность мышления?»¹⁵.

«...математические понятия, — читаем в совсем недавно опубликованной работе, — и философские категории играют принципиально разную роль в научном познании... Математические понятия охватывают количественно-формальные характеристики исследуемых объектов, являются лишь вспомогательным инструментом исследования... Если применение математических приемов... не основывается на марксистско-ленинском содержательном анализе исследуемых явлений, то оно способно привести к ошибкам и заблуждениям, к псевдонаучному жонглированию модными математическими понятиями и методами»¹⁶.

Сказанное, разумеется, не означает, что всякие формулы, схемы и символы вообще противопоказаны лингвистике. Я хочу только подчеркнуть, что понятие *современная лингвистика* нельзя отождествлять с подобными внешними атрибутами и изложения. Существуют многочисленные современные исследования языка, вовсе лишённые подобных признаков изложения. Справедливо и противоположное заключение: во многих публикациях наших дней, буквально заполненных формулами, схемами и символами, трудно обнаружить новые идеи — истинный признак современности исследования. Передко с помощью математических знаков передается то, что уже давно и хорошо известно в науке.

На мой взгляд, подлинным признаком современности лингвистического анализа является категория значения, точнее то, как истолковывается категория значения в конкретном исследовании. Если ученый вовсе отка-

¹³ М. Борн. Моя жизнь и взгляды, М., 1973, стр. 109. Аналогичные мысли неоднократно выражал и один из создателей кибернетики — Норберт Винер. См. его блестящую книгу «Я — математик», М., 1964, стр. 44, 274, 347 и др. (необходимо предостеречь, — пишет Винер, — от переоценки возможностей применения математики к изучению других наук, стр. 275).

¹⁴ Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 246.

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., 20, стр. 563.

¹⁶ В. Готт. А. Урсул. Общественные понятия и их роль в познании, «Коммунист», 1974, 9, стр. 77 (разрядка моя. — Р. Б.).

зывается от этой центральной для лингвистики категории, то его работа не может быть современной. На мой взгляд, недопустимо пытаться категорию значения с помощью неопределенного и неясного понятия *значимости* (сосюрское *valeur*). Но и признание категории значения еще не выявляет методологических позиций лингвиста, если учесть, что многие ученые наших дней, либо 1) совершенно неправомерно отождествляют категорию значения и категорию отношения (между тем это совсем разные категории), либо 2) не усматривают в категории значения отражения признаков предметов или явлений, которые именуется с помощью слов (лексическая категория значения), либо, наконец, 3) отрицают наличие обобщенных значений у грамматических классов или типов (грамматическая категория значения)¹⁷.

Современность или *несовременность* исследования определяются: 1) отношением его автора к категории значения в лексике и грамматике, 2) характером истолкования этой категории с определенных методологических позиций.

Подлинно *современная лингвистика* не может не считаться с традициями мировой науки о языке. Даже в тех случаях, когда *современная лингвистика* казалось бы порывает с этими традициями, защищая новые положения, она и порывает и зависит от подобных традиций одновременно. И в этом нет ничего удивительного. Чтобы сформулировать в науке о языке новое, надо знать старое, надо понимать, как решался аналогичный или сходный вопрос раньше. Вместе с тем и старое нередко приходится освещать с позиций нового. К. Марксу принадлежат замечательные слова о том, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны»¹⁸. В свете достижений «современной лингвистики» легче понять условия, исторически определившие подобные достижения.

Нельзя забывать, что в лингвистике, как и в любой другой гуманитарной науке, имеются вечные, никогда не устаревающие истины и положения. К ним относятся прежде всего такие лингвистические аксиомы, как глубоко общественная природа языка, его коммуникативная функция, его связь с мышлением людей, говорящих на данном языке. К ним же относится проблема взаимодействия содержания и формы в языке (в широком смысле). Язык всегда является нашим «практическим, реальным созданием». Разумется, каждая новая эпоха в науке может и должна углублять истолкование этих органических свойств языка, но она не может — к счастью и для самого языка, и для общества — ни «отменить» подобных свойств языка, ни объявить их устаревшими, несовременными. Нельзя забывать и об огромной роли интуиции ученого в такой области знания, как наука о человеческом языке. В подобной науке точные знания в сочетании с интуицией исследователя приобретают большую силу. «Язык человека, — замечает Э. Бенвенист, — настолько глубоко и органически связан с выражением личностных свойств самого человека, что, если лишить язык подобной связи, он едва ли сможет функционировать и называться языком»¹⁹.

Итак, *современная лингвистика* — понятие многоплановое, очень сложное, весьма неоднородное. В современной лингвистике борются разные направления, опирающиеся на разные теоретические концепции языка. В этих концепциях языка нельзя не видеть прямой, а иногда и скрытой, завуалированной борьбы материализма с идеализмом и идеализма с ма-

¹⁷ См. об этом мою статью «Категория значения в разных направлениях современного языкознания», ВЯ, 1974, 4 (особо хочу здесь выделить прилагательное *разный*: в разных направлениях).

¹⁸ К. Маркс, Критике политической экономии, М., 1953, стр. 219.

¹⁹ Э. Бенвенист, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966, стр. 261.

териализмом²⁰. Отдельные направления науки (и у нас, и за рубежом) имеют несомненные достижения. За последние годы исследуется, в частности, более подробно и пристально, чем это делалось раньше, общественная природа языка и его многообразные функции (хотя и с весьма различных методологических позиций). Много нового обнаружено в области фонологии, грамматики, лексики и, особенно, в лексикографии. Неизмеримо расширился и круг изучаемых языков.

И все же *современная лингвистика* остается понятием весьма сложным и в высшей степени неоднородным. Для одних ученых *современная лингвистика* — это языковедение наших дней, развивающее марксистско-ленинские принципы этой науки, другие ученые *современную лингвистику* отождествляют с генеративной грамматикой Н. Хомского и его последователей, третья группа ученых *современную лингвистику* приравнивает к так называемой «лингвистической философии в духе Остина» или «в духе гипотезы Сепира — Уорфа» и т. д. Находятся и лица, для которых *современная лингвистика* — это собрание как можно большего количества математических понятий, формул, схем, а то — увы! — и просто туманных способов выражения мыслей, претендующих на глубокомыслие (все, ясно и бескритично изложенное, представляется подобным специалистам недостаточно научным, а поэтому и недостаточно современным). Весьма различных представлений о том, что такое «современная лингвистика», можно насчитать много.

Разумеется, «современная лингвистика» не может быть эклектическим соединением этих несходных, нередко взаимно исключаящих друг друга концепций. Вместе с тем языковедение наших дней обязано внимательно изучать все действительно новое, подлинно прогрессивное, серьезно обоснованное. Поэтому чисто формальное, а иногда и бездумное противопоставление «современная лингвистика — несовременная лингвистика» должно быть признано несостоятельным²¹.

²⁰ Любопытно, что даже такой ученый, как Э. Кассирер, который любил подчеркивать свою позицию «над партиями», писал еще в 1945 г., что «современная лингвистика характеризуется острой борьбой между материалистами и формалистами» (E. Cassirer, *Structuralism in modern linguistics*, «Word», 1945, 2, стр. 113). См. также его более раннюю книгу: «Philosophie der symbolischen Formen», I, Berlin, 1923, стр. 274—293.

²¹ «Современная семиотика», с которой отдельные ученые все больше сближают лингвистику, тоже многолика. В 1974 г. канадский автор Ж. Натье, большой поклонник семиотики, в обзоре последних работ из этой области поставил такой вопрос: что объединяет семиологов наших дней друг с другом? Сам же Ж. Натье ответил на этот вопрос тоже с помощью вопроса: «не объединяет ли разных семиологов только то, что все они называют себя семиологами?» («Linguistics. An international review», 138, 1974, стр. 124).

Г. А. КЛИМОВ

О ПОНЯТИИ ЯЗЫКОВОГО ТИПА

В современном языкознании все более отчетливым становится осознание той выдающейся роли, которую призваны сыграть в развитии науки о языке типологические исследования. Тем более трудно примириться с разительным контрастом, наметившимся между широкими перспективами лингвистической типологии, с одной стороны, и ее относительно скромными реальными достижениями, с другой. И если обратиться к факторам, существенно тормозящим дальнейший прогресс типологической теории, то прежде всего бросается в глаза недостаточная разработанность понятия языкового типа. Поэтому едва ли будет преувеличением сказать, что последнее понятие остается центральным и для современной типологии.

Конечно, нельзя не видеть известной популярности, которую до последнего времени сохраняет и точка зрения о возможности построения типологии, не прибегая к понятию типа (о чем свидетельствуют, например, недавние высказывания Дж. Гринберга). Однако исследованиям, явно или неявно исходящим из нее, оказывается свойственным уже неоднократно отмечавшееся в специальной литературе отсутствие разграничения между структурным явлением и фактом типологии, и, как естественное следствие отсюда, отождествление типологического исследования по существу с любым структурным сопоставлением языков. В этом убеждении укрепляет, в частности, нередко эксплицитно формулируемый в работах представителей данного направления тезис о произвольности выбора фактов для типологического сравнения, будто бы отличающий типологию от генетического или ареального языкознания, которые руководствуются отнюдь не произвольным отбором своего материала¹. Не приходится поэтому удивляться тому обстоятельству, что многим языковедам это направление не представляется сколько-нибудь перспективным².

Между тем, имеются достаточно веские основания полагать, что во всяком случае собственно типологическое, т. е. не контрастивное (сопоставительное) и не так называемое «лингвистическое», исследование оказывается невозможным вне выработки некоторых абстрактных эталонов — языковых типов. Представляется, что именно они способны послужить эффективным орудием преодоления распространенного в типологии произвола в отборе рассматриваемых ею фактов, поскольку лишь с их помощью можно продемонстрировать неслучайность типологического «родства» тех или иных языков.

Аналогично абстрактным эталонам генетической семьи языков (праязыковой модели) и языкового союза (совокупности ареально соотносен-

¹ Ср.: J. H. Greenberg, The nature and uses of linguistic typologies, IJAL, 23, 1, 1957, стр. 68 и сл.; е с о ж е, Essays in linguistics, Chicago, 1957, стр. 67—68; е г о ж е, The typological method, «Current trends in linguistics», 11. Diachronic, areal and typological linguistics, The Hague — Paris, 1973, стр. 184—186.

² См.: В. С к а л и ч к а, О современном состоянии типологии, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 19; В. М. Ж и р м у н с к и й, О целесообразности применения в языкознании математических методов, сб. «Лингвистическая типология и точные языки», М., 1965, стр. 108 и мн. др.

ных признаков), языковой тип прежде всего должен быть строго ограничен от класса исторически засвидетельствованных и описываемых в его терминах языков. Одним из важных следствий такого разграничения явится, по-видимому, возможность построения языковых типов, не реализованных в силу тех или иных обстоятельств среди существующих в настоящее время языков. Между тем, лишь при соблюдении этого условия типологические штудии будут способны дать ответ на все чаще выдвигающийся в лингвистике вопрос — какие языковые структуры возможны и почему таковые возможны, тогда как иные невозможны. Вместе с тем, фрагментарная, на наш взгляд, выявленность типов, которые реализуются в представленных на современной лингвистической карте мира языках, упирается в факт недостаточной обследованности их структурного многообразия. Естественно думать, что преодоление такого положения вещей также составляет весьма актуальную задачу типологии.

В совокупный комплекс структурных признаков языкового типа должны включаться только логически взаимно необходимые черты, и, напротив, не могут входить ни универсальные, ни свободно сочетающиеся явления. В последних работах по типологии справедливо признается, что взаимная необходимость его структурных признаков-координат может быть достигнута лишь при построении такого комплекса по принципу его иерархической организации. Последнее означает, что понятие языкового типа не может быть одномерным, т. е. построенным на единственном признаке, а по необходимости оказывается многомерным (должно быть очевидным, что одномерными являются только конкретные структурные характеристики языков). В соответствии с таким подходом всегда могут оставаться самые серьезные сомнения в типологической релевантности той или иной структурной черты, пока она не включена в более широкую систему признаков-координат. Действительно, едва ли возможно каким-либо иным образом показать, что конкретное структурное явление составляет факт типологии.

Нетрудно заметить, что требование взаимной необходимости признаков языкового типа в свою очередь предполагает принцип его «чистоты» и, напротив, некорректность понятия так называемого «смешанного» типа. Вся история типологических исследований и, в частности, разработка морфологической классификации языков, красноречиво свидетельствует об интуитивном, но, тем не менее, всегда отчетливо выраженном стремлении лингвистов к построению именно «чистых» типов. Так, пока не известно прецедентов разработки эталона смешанной, например, агглютинативно-флективной или номинативно-эргативной системы. В то же время необходимо учитывать, что совмещение типологически разнородных признаков, столь часто наблюдающееся в конкретных языках, составляет явление совершенно иного плана. Естественно поэтому, что адекватная характеристика последних предполагает формулирование определенных правил перехода к ним от ближайших эталонов. Это обстоятельство отчетливо осознавал еще И. И. Мещанинов, когда подчеркивал, например, что обнаружение в китайском языке морфологических показателей не сможет изменить наших представлений о сущности аморфного строя как такового³. Таким образом, необходимо различать языковые типы и классы языков. Нелишним будет привести в этой связи следующую формулировку Т. П. Ломтева: «Есть... классы, или подмножества общего множества языков, и есть типы языков. Тип отдельных языков представляет собою набор их общих свойств. Класс отдельных языков есть подмножество общего множества языков, характеризующееся данным набором свойств,

³ См.: И. И. Мещанинов, Глагол, М.—Л., 1948, стр. 26.

общих для всех отдельных языков. Тип языков задает класс отдельных языков»⁴.

Практика типологических классификаций показывает необходимость строгого различения формальных языковых типов, с одной стороны, и контекстных (содержательных), с другой. Первые, как известно, строятся исключительно на основе определенных формальных зависимостей, существующих между теми или иными структурными фактами. Их примерами могут послужить изолирующий, агглютинативный и флективный типы, а также аналитический и синтетический, разработанные языковедением прошлого. Напротив, контекстные типы, основной вклад в разработку которых был внесен отечественными лингвистами, еще с начала 30-х годов приступившими к поискам глубинных структур, управляющих поверхностными (в фразеологии той эпохи — «идеологического обособления языковой техники»), строятся с облигаторной ориентацией на передаваемое мыслительное содержание, например, на отражение в языке субъектно-объектных отношений (ср. исследования И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона, Т. Милевского и др.). Конечно, контекстная типология, так же как и формальная, имеет дело с определенными структурными характеристиками языка. Однако в отличие от последней она вскрывает их детерминированность некоторым содержательным началом, лежащим уже вне плана языка. Более того, некоторые авторы полагают, что в выделяемых в ее рамках типах манифестируются особые формы миропонимания. Напротив, малоэффективным представляется противопоставление типов, основанных только на синтагматических или, наоборот, лишь на парадигматических отношениях языковых элементов, искусственно ограничивающее сравнение структурных фактов.

Хотя формальные и контекстные типологические классификации преследуют по существу разные цели, и поэтому их абсолютное сопоставление несколько затруднено, обращает на себя внимание, что последние обладают значительно большими объяснительными возможностями. Еще Н. Г. Чернышевский считал, что строящаяся на чисто формальных критериях морфологическая классификация языков «имеет только техническое специальное значение» и «для истории народов... не представляет никакой действительной важности»⁵. Позднее Э. Сепир справедливо писал о формально-типологической классификации, что, будучи взятой в чистом виде, она «представляется поверхностной. Она связывает воедино языки, по своему духу резко различающиеся на основании только некоторого внешнего формального сходства. Совершенно очевидно, что пропасть отделяет префигурирующий язык вроде камбоджийского с его префиксами (и инфиксами), используемыми только для выражения деривационных понятий, от языков банту, где префиксальные элементы имеют широчайшее применение в качестве символов синтаксических отношений»⁶. Как правило, формальный тип охватывает сравнительно ограниченный комплекс коррелирующих признаков поверхностной структуры языка, далеко не всегда выходящий сколько-нибудь необходимым образом за пределы одного его уровня. Фактически это обозначает его не общезыковой характер. Нетрудно заметить, что ориентация подавляющего большинства исследований именно на формальные типы обусловила широкое распространение в лингвистике последних десятилетий убеждения в иллюзорности идеи построения так называемой «цельносистемной типологии»

⁴ Т. П. Ломтев, Типология языков как учение о классах и типах языков, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки. Материалы совещания», М., 1965, стр. 41.

⁵ Н. Г. Чернышевский, Поля. собр. соч., X, М.—Л., 1951, стр. 884.

⁶ Э. Сепир, Язык. Введение в изучение речи, М.—Л., 1934, стр. 99.

(whole system typology) и мысли о возможности лишь типовых схем, ограниченных пределами какого-либо одного языкового уровня (ср. встречающиеся высказывания, согласно которым классификационный принцип, относящий языки к определенному типу как целое, будто бы себя изжил). В соответствии с этим убеждением тип языка в лучшем случае рисуется как сумма свободно сосуществующих признаков, т. е. как некоторое построение чисто вероятностного порядка. Между тем, как уже отмечалось в специальной литературе, «отрицание возможности отнесения языка в целом к определенному типу в конечном счете подрывает сам принцип системной организации языковых явлений, наличия закономерно необходимых связей языковых элементов»⁷, который, собственно, и призван отражать языковой тип.

Возможность такой целостной характеристики языков существует по крайней мере в рамках контенсивной типологии, поскольку контенсивные типы способны охватывать широкую совокупность разноуровневых явлений, мотивированных специфическими глубинными структурами. Эти типы обладают и тем преимуществом, что в отличие от формальных, резко сокращают произвол исследователя в выборе критериев типологического исследования, а также, по-видимому, способны придавать ему определенную историческую перспективу. Это внушает надежду, что с дальнейшей разработкой именно этих типов лингвистическая типология сможет, наконец, получить статус равноправия с генетическим и ареальным языкознанием (уже в настоящее время между контенсивным языковым типом и праязыковой моделью оказывается возможным провести разнообразные и далеко идущие аналогии). Не исключено, что построенная на этой основе классификация языков сможет претендовать по своей объяснительной способности на роль так называемой «общей классификации» (generelle Klassifikation) в типологии.

Вполне естественно, что нередко весьма различным оказывается соответствующее место одних и тех же языков в рамках формальной или контенсивной типологической классификации. Так, например, в формальном плане (ср. степень развитости глагольного спряжения и именного склонения, удельный вес префиксального строя и т. п.) картвельская языковая структура обнаруживает промежуточную позицию между абхазско-адыгской и нахско-дагестанской. Однако в контенсивном плане она резко противостоит обоим: если последние должны быть отнесены к эргативному типу, то картвельская, будучи по преимуществу номинативной, обнаруживает в то же время многочисленные черты активного строя, чем скорее образует некоторую аналогию индоевропейской.

Впрочем при сравнительной оценке объяснительных возможностей типов, выделяемых в формальной и контенсивной типологии, нельзя упускать из виду и того обстоятельства, что отдельные комплексы формальных черт могут оказаться составляющими элементами более широкой типовой схемы уже контенсивного плана. Так, изучение стимулов агглютинативного типа на материале тюркских и финно-угорских языков привело к обнаружению одной из важнейших импликаций номинативного строя — отсутствия в их структуре содержательно обусловленного классного распределения имен существительных⁸. Вместе с тем, встречающиеся опыты механического совмещения элементов обеих разновидностей типологии (например, признаков эргативности и флективности, номинатив-

⁷ В. З. П а н ф и л о в, О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков, ВЯ, 1969, 4, стр. 7.

⁸ Ср., например: Б. А. С е р е б р е н н и к о в, Причины устойчивости агглютинативного строя и вопрос о морфологическом типе языка, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М., 1965, стр. 9 и сл.

ности и агглютинативности и т. п.) в рамках некоторого единого типа едва ли способны дать какой-либо эффект.

Бесспорна важнейшая роль, которая принадлежит в разработке понятия языкового типа установлению различного рода импликационных универсалий межуровневого характера. Как известно, во многих случаях построение типа начиналось на базе отдельных частных соответствий, существующих между морфологической и синтаксической системами языка. Новый стимул поиски межуровневых типологических корреляций получают с постепенным признанием в лингвистике возможности типологизации лексической системы языка (ее объектом должны, вероятно, явиться наиболее общие принципы структурной организации именной и глагольной лексики, а не узкие тематические группировки слов, обычно к тому же формируемые на неструктурных по существу основаниях). Исходя из положения о первичности лексического и вторичности грамматического следует полагать, что именно в плане лексики лежат те фундаментальные черты языковой структуры, которые влекут за собой максимально широкую совокупность более частных признаков-координат других уровней.

Одним из наиболее перспективных направлений современных типологических исследований представляется дальнейшая разработка понятия континентивных языковых типов, различающихся по способам передачи субъектно-объектных отношений, выдвинутого в отечественной типологии. Ее начало было, по-видимому, положено идеей о строгом согласовании ряда синтаксических и морфологических импликаций эргативного строя, которая развивалась в работах И. И. Мещанинова, указавшего, в частности, на функционирование эргативного и абсолютного падежей в именном склонении или эргативного и абсолютного рядов личных аффиксов в глагольном спряжении языка, характеризующегося эргативной типологией предложения. Действительно, последующие работы показали, что передача субъектно-объектных отношений по удельному весу ее проекций на различные уровни языка составляет едва ли не наиболее существенный из факторов, определяющих его структурный облик. Думается к тому же, что пока в поле зрения исследования чаще всего попадают лишь самые очевидные из подобных проекций, в то время как другие все еще остаются в тени.

В настоящее время понятие такого целостного языкового типа может быть представлено в виде совокупности разноуровневых (лексических, синтаксических и морфологических) и иерархически взаимосвязанных признаков-координат в составе: а) профилирующих принципов структурной организации именной и глагольной лексики, б) основных моделей предложения и особенностей инвентаря его членов и в) специфики набора так называемых «позиционных» падежей именного склонения или состава личных аффиксов глагольного спряжения. Как можно предположить, с совокупностью перечисленных признаков некоторым образом коррелируют и отдельные особенности фонологического уровня языка (имеются в виду закономерности его синтагматики), однако почти полная неизученность этого вопроса не позволяет настаивать на существовании подобной корреляции. По содержательной специфике соответствующих поверхностных структур языка можно догадываться о характере самой глубинной структуры, вызывающей к жизни весь механизм того или иного языкового типа — его семантической детерминанты («типологической глубинной структуры», как ее иногда называют⁹), только в преломлении через кото-

⁹ Ср.: H. V i r n b a u m, Problem of typological and genetic linguistics viewed in a generative framework, The Hague, 1970, стр. 26.

рую заявляет о себе универсальный для языков мира понятийный субстрат.

Так, в частности, совокупность типологических импликаций активного строя характеризуется следующими признаками: а) на уровне лексики — принципом лексикализации глаголов по классам активных и стативных, а также распределением имен существительных по классам активных («одушевленных») и инактивных («неодушевленных»), б) на уровне синтаксиса — корреляцией активной и инактивной конструкций предложения (а также взаимной дифференцированностью ближайшего и дальнейшего дополнений), в) на уровне морфологии — противопоставлением активной и инактивной серии личных аффиксов глагола или функционально аналогичной оппозицией активного и инактивного падежей имени. Судя по перечисленному комплексу признаков-координат, семантический детерминанта активного строя сводится к последовательному противопоставлению активного и инактивного начал, за которым лишь в некотором приближении угадывается противопоставление субъектного и объектного.

Иная совокупность структурных импликаций свойственна эргативному строю: а) на уровне лексики — это принцип лексикализации глагольных слов на транзитивные и интранзитивные, а также распределение субстантивов на исключительно ситуационные «классы» субъектов и объектов; б) на уровне синтаксиса — это корреляция эргативной и абсолютной конструкций предложения (а также взаимная дифференциация прямого и косвенного дополнения); в) на уровне морфологии — это противопоставление эргативного и абсолютного рядов личных аффиксов глагола или функционально аналогичная оппозиция эргативного и абсолютного падежей имени. Названные признаки свидетельствуют о том, что семантическая детерминанта эргативного строя заключается в значительно более строгой ориентации его структурных компонентов на противопоставление субъектного и объектного начал (в недавних исследованиях А. Е. Кибрика она квалифицируется как оппозиция агентивного и фактививного).

В виде аналогичных жестких комплексов разноуровневых структурных признаков должны быть представлены, судя по всему, и другие выделяемые в этой схеме континентные типы языка — номинативный, классный и нейтральный. Если нарисованная картина адекватна, то известный тезис И. И. Мещанинова, согласно которому «нормы сознания получают свое выражение в языке в семантике лексических группировок, в оформлении слова, в построении предложения»¹⁰, обретает тем самым свое конкретное подтверждение.

В соответствии со сказанным выше едва ли было бы последовательным признание идентичности и частного инвентаря лексических и грамматических категорий, характеризующих разные языковые типы. Так, функционально отличным в них является, например, состав основных позиционных падежей: ср. противопоставление именительного и винительного падежей в номинативном типе, эргативного и абсолютного — в эргативном, активного и инактивного — в активном. Совершенно отличным оказывается в них и функциональное содержание глагольной диатезы: ср. оппозицию действительного и страдательного залогов в номинативном типе, переходной и непереходной форм — в эргативном, центробежной и нецентробежной («центростремительной») версий — в активном. К тому же эти оппозиции закреплены в них и за совершенно отличными классами глаголов: действительный и страдательный залоги — за переходным глаголом номинативных языков, переходная и непереходная формы — за

¹⁰ И. И. Мещанинов, Понятийные категории в языке, «Труды военного института иностранных языков», 1945, 1, стр. 11.

диффузным (или так называемым «лабильным») глаголом эргативных, центробежная и нецентробежная версии — за активным глаголом активных. Аналогичным образом, по-разному в языках разных типологий передается и противопоставление органической и неорганической принадлежности.

Все это диктует настоятельную необходимость разграничения в рамках единого метаязыка лингвистики специфических категорий, в терминах которых описываются представители лишь единичных языковых типов, с одной стороны, а также категорий, пригодных для описания по крайней мере нескольких типов, с другой (ср. предложенное Б. Л. Уорфом различение таксономических и дескриптивных категорий разных степеней¹¹). Следует ожидать, что подобное разграничение создаст эффективные предпосылки для выявления существующего между языками мира структурного изоморфизма и алломорфизма (в частности, оно может лечь в основу определения типологического расстояния, отделяющего одни языковые структуры от других). Можно также надеяться, что его последовательное проведение поможет более отчетливо увидеть исторический характер грамматических категорий.

Содержательная специфика совокупности признаков каждого языкового типа позволяет предполагать обусловленность их особыми семантическими детерминантами. Если допустить, что семантическая детерминанта языка составляет один из необходимых компонентов равноуровневой структуры мышления, то возникает надежда, что дальнейшие исследования в области континентальной типологии окажутся способными пролить определенный свет на проблему взаимоотношения языка и мышления.

Что касается исторически засвидетельствованных языков, то по своим структурным параметрам они либо полностью укладываются в рамки постулируемых типов, либо — только частично. Впрочем даже в последнем случае, как правило, по-видимому, существует возможность установить профилирующий в языке тип¹². Такая возможность должна вытекать из всегда в той или иной степени реализуемой в рамках континентальной типологии координации синтаксической и морфологической структур языка с лексической при иерархически более высоком положении последней. Думается, что совмещение типологически разнородных черт, столь часто наблюдающееся в языковой действительности, отражает диалектику исторического развития языков и рано или поздно выдвинет в повестку дня исследования и вопрос о диахроническом соотношении этих типов.

В этой связи особый интерес вызывает то бесспорное обстоятельство, что одни и те же типы способны находить весьма последовательную реализацию в самых различных областях глоттогонии, в языках, совершенно не связанных друг с другом ни генетически, ни ареально. Так, например, хорошо известно, что представители эргативного строя засвидетельствованы в Европе, Азии, Австралии и Америке (помимо ранее выявленных, к эргативным теперь следует причислить южноамериканские языки такана-пано, а также, по-видимому, североамериканские языки салиш). Конечно, последнее обстоятельство лишь отчасти может быть «объяснено» ограниченностью известных языкам мира возможностей выражения одного и того же глубинного содержания, поскольку при этом вне истолкования оказывается факт, почему, скажем, эргативными оказываются нахско-дагестанские, а не славянские языки. Поэтому вполне правомерной представляется постановка соответствующего вопроса Э. Сепиром, писавшим

¹¹ См.: Б. Л. У о р ф, Грамматические категории, сб. «Принципы типологического анализа языков различного строя», М., 1972, стр. 59—60.

¹² Ср.: М. М. Г у х м а н, Лингвистические универсалии и типологические исследования, «Универсалии и типологические исследования», М., 1974, стр. 41—42.

следующее: «Подобно тому, как схожие социальные, экономические и религиозные установления выросли в разных уголках мира из различных исторических антицедентов, так и языки, идя разными путями, обнаруживали тенденцию совпасть в схожих формах. Более того, историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара... Почему же образуются схожие типы и какова природа тех сил, которые их создают и разрушают?»¹³.

Если учесть, что логическое и историческое не только не противоречат друг другу, но, напротив, взаимно предполагаются, то можно увидеть, что не только генетическая и ареальная, но и типологическая классификация языков должна располагать определенным историческим основанием. Более того, некоторые современные лингвисты уже ставят перед типологией задачу установления тех общих закономерностей, по которым изменяются языки, а также потенциал внутреннего развития каждого отдельно взятого типа. Познание подобных закономерностей не только повысило бы достоверность типологических реконструкций, но и, вероятно, расширило бы предсказательные возможности лингвистической теории вообще. Ввиду этого все чаще обращаясь в адрес многих типологических построений упрек в отсутствии у них исторической перспективы представляется очень серьезным¹⁴. Конечно, «апеллируя от истории одного языка к истории другого, мы в отдельных случаях рискуем преувеличить это единство в подробностях, навязать истории одного языка черты, которые никогда в этом языке не были, а имелись в другом языке. Однако, это будет ошибка неизмеримо меньшего значения, чем если мы будем считать языки абсолютно индивидуальными явлениями, развивающимися каждый раз совершенно особенными путями»¹⁵.

И в последнем отношении положение типов, относящихся к формальной или контенсивной схеме, окажется, по-видимому, неодинаковым. Уместно напомнить, в частности, что настойчивые поиски универсальных путей языковой эволюции, обычно опиравшиеся в прошлом на сопоставление таких, например, формальных характеристик языка, как аморфность, агглютинативность и флективность, так и не привели к положительным результатам. Существует надежда, что на возможность определенной исторической интерпретации в большей степени способны претендовать языковые типы, строящиеся в рамках контенсивной типологии, поскольку материал последней в принципе может быть некоторым образом соотнесен с закономерностями развития мышления (в этой связи обращает на себя внимание, например, тот факт, что активный, эргативный и номинативный типы по степени своей структурной близости, отражающей усиление ориентации элементов их грамматического строя на передачу субъектно-объектных отношений, могут быть выстроены, по-видимому, лишь в единственной последовательности). Не исключено поэтому, что прежде всего со стороны контенсивной типологии последуют новые стимулы к возвращению языковедения к глоттогонической проблематике.

¹³ Э. Сепир, указ. соч., стр. 95.

¹⁴ Ср.: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М., 1965, стр. 55—59; L. Hjelmslev, *Le langage*, Paris, 1966, стр. 128—129; Т. С. Шарадзенидзе, Типология языков (синхрония и диахрония), «Вопросы современного общего и математического языковедения», III, Тбилиси, 1971, стр. 8; J. H. Greenberg, *The typological method*, стр. 184—186, и мн. др.

¹⁵ И. М. Троицкий, Общевидеоевропейское языковое состояние (Вопросы реконструкции), Л., 1967, стр. 87.

Д. И. АРБАТСКИЙ

О ДОСТАТОЧНОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Анализ трансформации синонимических эквивалентов — основных компонентов семантических дефиниций (ДФД и ДФН) — многими авторами ограничивается нахождением чисто языковых соответствий. Между тем сущность данного явления может быть понята лишь на основе связи определений с обозначаемыми ими предметами и явлениями окружающего мира. Семантические определения не только не закрывают собою стоящую за ними реальную действительность, но, напротив, являются весьма эффективным средством связи языка и объективного мира: инвариантом языковых трансформаций в процессе истолкования значения слов являются отраженные в сознании предметы и явления внешнего мира. Словарные определения классифицируют взаимоотношения слов и обозначаемых ими предметов, отражают существенные черты реального мира, являются по своей сути переводом с естественного или искусственного языка на «предметный» язык объективного мира. Однако эксплицитные (содержательные) определения не только связывают систему слов и вещей, они вместе с тем вносят новую, дополнительную информацию, т. е. являются носителем положительной разности в информации между определяющей (ДФН) и определяемой (ДФД) частями. Благодаря этому свойству семантические дефиниции не только фиксируют реальный смысл слова, но и одновременно уточняют, углубляют, формируют совершенно новые лексические значения (ср. толкования в словарях советской эпохи таких слов, как *нация*, *капитализм*, *государство*, *советы*, *бригада* и др.). Современные содержательные определения в значительной мере способствуют процессу формирования, развития, обновления семантической системы языка. Если же семантические дефиниции не содержат в себе никакой дополнительной информации, выражают только то, что известно до определения, они неизбежно оказываются тавтологичными, бесполезными для познания значения слова. Оценка семантической или словарной информации и составляет сущность проблемы достаточности семантических дефиниций.

В рамках чисто формальных дефиниций, служащих лишь для перевода с одного языка на другой, проблема достаточности решается весьма просто и однозначно. Здесь в процессе последовательного сведения слов со сложным смыслом к выражениям, в которых тот же смысл выражен более «эксплицитно», вполне достаточно ограничиться формальной точностью определения. В содержательных же толкованиях, имеющих цель изменить, преобразовать прежний смысл, углубить, обновить смысловое содержание слова, термина, то или иное решение данной проблемы делает необходимым трактовку лексического значения, методов его анализа, определяет характер создаваемых словарей. Принципиальное обсуждение этой проблемы весьма важно для разработки теоретических вопросов семасиологии и дальнейшего совершенствования лексикографической практики¹.

¹ См.: Ф. П. Ф и л и н, О словаре языка В. И. Ленина, ВЯ, 1974, 6, стр. 6—8.

В качестве решающего критерия для установления количества семантической информации нередко предлагается известное формально-логическое требование эквивалентности или равнозначности ДФД и ДФН. «Определяющие значения „ВС“, — пишет Ю. Д. Апресян, — должны быть необходимыми и достаточными для определяемого значения „А“ (должны быть перечислены все семантические компоненты А и только они, определение должно быть точной синонимической перифразой определяемого)»². Для дифференцирующих или переводных семантических определений необходимость соблюдения этого требования — указывать необходимые и достаточные признаки — очевидна. Его нарушение может привести к ошибкам в понимании смысла слова, термина, к неточностям в словоупотреблении. Вместе с тем было бы не меньшей ошибкой рассматривать это требование как единый универсальный критерий. Оно неприменимо, например, для содержательных толкований, имеющих целью не столько разграничить, сколько раскрыть семантическое содержание конкретной синтетической лексемы.

Возьмем, к примеру, слово *воздух*. Для выделения основного значения этого слова среди других значений достаточно указать один какой-либо семантический признак, например, его функцию служить средством дыхания («воздух — то, чем дышим») или его состав. Однако для раскрытия его современного содержания необходимо перечислить одновременно целый пучок таких признаков: состав, функцию, местонахождение и др. *Воздух* — «служащая для дыхания смесь газов, главным образом, азота и кислорода, составляющая атмосферу Земли». Для разграничения значений таких терминов, как *социализм*, *феодализм*, *капитализм*, *империализм* и под., достаточно указать на их временные рамки или порядок следования (или предшествования), друг другу. Однако для глубокого понимания содержания этих слов необходимо указание целого ряда наиболее существенных признаков: времени, генезиса, причины или условия возникновения, характера общественных отношений и др.

Абсолютизация разграничительного аспекта в семасиологии (Ф. Сосюр, Л. Блумфилд и др.) привела к тому, что смысл любого слова сводится к одностороннему противопоставлению. Между тем подавляющее большинство лексических значений современных живых языков — это пучки закреплённых за словом различных по качеству признаков, находящихся в разнообразных отношениях. В названиях веществ, материалов (*вода*, *земля*, *почва*, *алюминий* и др.), одновременно фиксируются такие существенные признаки, как строение (структура, состав), назначение или использование, цвет, запах, вес и др., в названиях растений, животных (*сирень*, *баобаб*, *черепаха*, *ягуар*, *кенгуру* и др.) отражаются такие семантические признаки, как морфологическое строение, место обитания или распространения, цвет или окраска, размер, запах, использование и др., в названиях инструментов, приспособлений, сооружений (*вожжи*, *подкова*, *зонтик*) указываются обычно одновременно и строение, и назначение (функция) и т. д. Эти признаки настолько выкристаллизовались в общественном языковом сознании, что без их указания в содержательном определении невозможно раскрыть и понять их современное содержание. Заметим, что многие выдающиеся лексикографы прошлого и настоящего (И. И. Срезневский, Х. Касарес, Ф. П. Филин, А. П. Евгеньева и др.) рассматривали такие содержательные определения как один из закономерных типов семантических толкований. В применении к специальной или общественно-политической лексике рекомендуются «сжатое энциклопедическое объяснение», «определение с элементами энциклопедизма»

² Ю. Д. Апресян, *Лексическая семантика*, М., 1974, стр. 95.

и т. д. В связи с развитием и углублением значений слов потребность в неформальных содержательных определениях постоянно возрастает, их игнорирование неизбежно ведет к снижению научной ценности толковых словарей.

Требование эквивалентности ДФД и ДФН неприменимо также к дифференцирующим толкованиям всем известным словам, обозначающим элементарные предметы и явления типа *стол*, *кровать*, *сидеть*, *стоять* и под. Для разграничения значений здесь нет необходимости давать подробное и точное описание соответствующих реалий. Ситуация знания (пре-суппозиция) делает вполне достаточными самые краткие и даже неполные определения, дающие первичное, основное отграничение. Рассмотрим следующее толкование к слову *костер*: «горящая куча дров, сучьев и т. п.». Несомненно, оно неточно, неполно, не отграничивает костер от огня в печи, пожара в лесу, не предусматривает сгорания в костре бумаги и других материалов. Однако данное слово и его смысл настолько хорошо известно всем читателям словаря, что указанное толкование является вполне достаточным, не требует никаких дополнений. Более точное определение — «комплектно уложенные в специально огороженном пространстве горящие куски твердого топлива» — воспринимается как излишне педантичное и избыточное. Аналогично приближенное определение к слову *бриться* «срезать бритвой волосы до корня» оказывается более предпочтительным перед более точным определением: «срезать волосы у самого основания движением острого инструмента по поверхности предмета», ибо в ситуации знания оно обладает той же степенью точности, что и второе. В этом смысле, вопреки формально-логическим штудиям, в общем толковом словаре оказываются вполне достаточными такие явно неполные определения, как *вермишель* «сорт лапши», *ягода* «небольшой сочный плод», *вилка* «столовый прибор», *кровать* «мебель для сна» и под. Всякие попытки их уточнения приведут лишь к удлинению толкований без увеличения их реального содержания.

Более того, попытки игнорировать пресуппозицию и соблюсти принцип соразмерности ухудшают толкования общеизвестной лексики, они открывают двери для внесения в толкование несущественной, ненужной информации, в которой тонет и в какой-то мере обесмысливается полезная и нужная информация. Покажем это на примерах тех толкований, которые Ю. Д. Апресян предлагает как новый этап в развитии и познании семасиологии. Обычные краткие толкования слов *догонять*, *бить*, *идти* (см. левый столбец) отвергаются им, поскольку они не отвечают строгому требованию соразмерности. Вместо них он конструирует весьма подробные толкования, которые в полной мере соответствуют формальным требованиям эквивалентности.

Догонять «стремиться поравняться с уходящим или с убегающим»

Бить «наносить удары»

Идти «двигаться, переступая ногами»

А догоняет В = «А и В перемещаются в одном направлении, и расстояние между А и В сокращается, и А находится позади В».

А бьет У-а Х-ом \cong «А ударяет У-а Х-ом много раз подряд, стремясь причинить У-у физическую боль».

А идет из У-а в Z \cong «А перемещается из У-а в Z, переступая ногами и ни в какой момент не утрачивая полностью контакта с поверхностью, по которой А перемещается»³.

³ Там же, стр. 108.

Нетрудно заметить, что, несмотря на¹ доскональную подробность, приведенные определения отнюдь не вносят что-либо новое для тех лиц, которые обращаются к словарю за справками. Едва ли найдется на свете человек, который бы не знал, что догонять может кто-то кого-то и они движутся в одном направлении, что кто-то кого-то бьет чем-то и имеет целью причинить физическую боль, что кто-то идет, как правило, откуда-то куда-то и при этом ни в какой момент не утрачивает полностью контакта с поверхностью, по которой он идет и т. д. Такие сведения, возможно, необходимы для машины, у читателей же, которые умеют писать и говорить, они могут вызвать лишь недоумение. Количество семантической информации увеличилось в два-три раза, но в такой же мере эти определения утратили свою эффективность. Таким образом, вопрос о количестве сведений, фиксируемых семантическим определением, не может решаться однозначно. Оно зависит от характера лексического значения и от ряда других причин. Это означает, что требование эквивалентности или соразмерности отнюдь не является универсальным требованием, оно относится лишь к одной группе семантических определений, имеющих в качестве главной цели разграничение значений, а не их истолкование.

В толковых словарях советской эпохи можно встретить немало примеров неудачного решения вопроса о количестве семантической информации в том или ином определении. Многие названия веществ, материалов, растений, животных получают весьма скудные, явно недостаточные толкования типа *артишок* «плодовое растение, овощ»; *циния* «травянистое растение сем. сложноцветных»; *тукан* «птица сем. дятловых» и под. Такие пояснения не отграничивают даже одно значение от другого, не говоря уже о том, что они совершенно не раскрывают структуру их лексического значения. С другой стороны, нередко встречаются избыточные пояснения слов, значение которых всем хорошо известно.

Характер семантической информации для словарных определений в русской лексикографии определяется обычно на основе ее соответствия научным данным. Эти принципы были заложены еще Словарем Академии Российской (1789—1794) и развивались, углублялись последующими словарями. А. А. Шахматов в связи с этим указывал, что научные и технические термины, вошедшие в общее употребление, не должны истолковываться в бытовом плане. Словари советской эпохи сделали существенный шаг вперед в научном истолковании словарного состава языка, впервые в мировой практике они осуществили истолкование социально-политической лексики на основе марксистско-ленинской теории. Общий научный уровень семантической информации значительно повысился.

Ю. Д. Апресян утверждает, что в основе современного словоупотребления лежит «складывающаяся веками наивная картина мира, в которую входит наивная геометрия, наивная физика, наивная психология» и задача лексикографа заключается в том, чтобы «вскрыть эту наивную картину мира в лексических значениях слов и отразить ее в системе толкований»⁴. Нельзя не видеть, что эти положения находятся в явном противоречии со сложившейся лексикографической практикой. Разумеется, уровень общего словоупотребления и словопонимания не совпадает с соответствующим уровнем специалиста, представителя той или иной отрасли научных знаний. Естественно, что и семантическая информация не может полностью совпадать с научной энциклопедической информацией о предмете. Однако это вовсе не означает, что они совершенно различны и полностью исключают друг друга. Общее словоупотребление и словопонимание в современном обществе формируется на основе научных знаний об окружающем мире. Если

⁴ Там же, стр. 57, 58.

говорить о реальностях, то тот уровень словоупотребления, на который ориентируются общие словари, — это уровень среднего образования (большинство советских людей имеют среднее образование). Это означает, что в основе этого словоупотребления лежит не наивное, а научное мировоззрение, не наивные представления, а научная информация, которая определена программой среднего образования. Если взять ту часть лексики, которая является общей для общелитературного языка и научной речи (именно об этой области словаря и идет речь в подобных рассуждениях), то в характере семантических признаков словарных определений и характере тех существенных признаков, которые указываются в соответствующих энциклопедических определениях, больше сходства, нежели различия. Определение значения слова в принципе не может содержать ничего из того, чего бы не было в самом значении слова. Определение вносит нечто новое по сравнению со значением лишь в том случае, если это слово имеет различные значения у различных слоев носителей языка (например, у более образованных и менее образованных индивидуумов) и в словаре определяется то из этих значений, которое наиболее близко к научному понятию. В таком случае это определение будет содержать нечто новое, но лишь по сравнению с тем его значением, которое известно «необразованной» части населения. Основное содержание слов и терминов, денотаты которых являются объектом той или иной науки, образуют наиболее существенные признаки, общие для семантических и энциклопедических дефиниций.

Возьмем, к примеру, слово *высота*. В геометрии значение этого термина определяется как «перпендикуляр, опущенный из вершины геометрической фигуры на основание или его продолжение», в общелитературном языке смысл слова *высота* определяется как «протяженность предмета снизу вверх». Можно найти немало различных примеров проявления этого различия в разных контекстах, однако нельзя не заметить, что это различие имеет вторичный характер, что в основе своей эти толкования тождественны, что подтверждается многочисленными контекстами бытовой и научной речи⁵. То же самое можно сказать о понимании и толковании таких слов, как *атом*, *молекула*, *треугольник*, *окружность*, *планета*, *атмосфера*, *космос*, *вода*, *свет*, *нация*, *труд*, *социализм* и под. Можно всегда найти известные различия в понимании и определении этих слов в научной и бытовой речи, но в основе своей они тождественны, содержание этих слов и в общем словаре составляют наиболее существенные признаки, лежащие в основе научных понятий.

Но одно дело фактическое словоупотребление или словопонимание, другое — это раскрытие значения слова в толковом нормативном словаре. Характер содержания нормативных семантических определений определяется прежде всего не традицией или количеством говорящих, а достигнутым данным обществом уровнем понимания слова или термина в соответствии с данным уровнем развития науки и культуры, образования. Они имеют целью не столько выявить, как понимается и применяется слово, сколько показать, как оно должно применяться и пониматься. Толковые словари — это отнюдь не пассивное зеркало того, что есть в языке, а прежде всего руководство к правильному словоупотреблению, и к ним должны предъявляться такие же требования, какие предъявляются к учебным пособиям. По крайней мере, нельзя навязывать общему языку понятий, которые не свойственны достигнутому обществом уровню общего образования. Разумеется, семантические определения не могут быть по содер-

⁵ Характерно, что значительное число студентов первого курса — 19 из 123 (свыше 15%) — определили значение слова *высота* близко к научному: «расстояние по вертикали от верхней точки до основания».

жанию в полной мере тождественными с энциклопедическими дефинициями, но, с другой стороны, они не должны без нужды отклоняться от них, ибо их первейшая задача не снижение, а повышение научного уровня познания значений слов. Более правильным здесь было бы говорить не о согласовании научного понимания и словоупотребления слов и терминов с общелитературным, а о согласовании или сближении последнего с научным пониманием (насколько это возможно в общем словаре).

В толковых словарях советской эпохи нередко встречаются семантические определения, которые не отвечают современному общелитературному пониманию значений слов. Так, уровень среднего образования предусматривает подробное знакомство с химическими элементами, металлами, достаточно известны такие существенные признаки, как атомное строение, распространение в природе, использование в народном хозяйстве, способы их получения или добычи и др. В словарях же к таким хорошо известным словам, как *жель*, *золото*, *алюминий*, *натрий*, *сера*, *олово*, *серебро*, *платина* и др., даются весьма скудные пояснения, суть которых сводится лишь к указанию на их отношение к металлу, цвет, ковкость и др. Например, *олово* «химический элемент, мягкий, ковкий серебристо-белый металл», *платина* «химический элемент, благородный белый металл», *калий* «химический элемент, мягкий металл серебристо-белого цвета» и т. д. Эти толкования отражают лишь уровень понимания восьмилетней или даже отчасти начальной школы. В семантическую структуру современных названий наций, народностей входят такие достаточно хорошо известные признаки, как происхождение (генетическое родство), место проживания, численность и др. В толковых же словарях эти слова также толкуются весьма кратко и однообразно по единой схеме: «народ, составляющий основное население такой-то страны». Например, *англичане* «народ, составляющий основное население Англии», *исландцы* «народ, составляющий основное население Исландии» и т. д. Такие толкования отнюдь не отражают того образца в понимании, к которому должен стремиться представитель современного общества. Самым существенным признаком значения названия денежных единиц является указание на их реальную стоимость. Между тем в словарных определениях эти сведения, как правило, отсутствуют, весьма нерегулярно указывается лишь область применения или распространения давней денежной единицы, что обычно всегда известно из окружающего контекста или ситуации. Подобные явно недостаточные определения возникли, несомненно, не без влияния теории, которая во главу угла ставит не научное, а фактическое словоупотребление и понимание. Однако в целом, в подавляющем большинстве случаев семантические определения толковых словарей советской эпохи отвечают современному общелитературному пониманию, отражают уровень среднего (и высшего) образования. Эти толкования являются основой для дальнейшего повышения уровня словопонимания и словоупотребления в соответствии с уровнем развития наиболее высокообразованного общества нашей эпохи.

Утверждают, что построение толкового словаря на научной основе — это несбыточная мечта и что удел лексикографии — констатация наивного донаучного мировоззрения⁶. На самом же деле такие словари уже давно созданы. Как известно, специальные терминологические словари раскрывают содержание слов, терминов в полном соответствии с их научным пониманием. Общие толковые национальные словари также берут за основу научное понимание, согласуя его с уровнем образования читателей, с общелитературным пониманием. История создания этих словарей нагляд-

⁶ Ср. сб. «Semantic problems in language», Camb ridge, 1962.

но демонстрирует процесс расширения и систематического повышения научного уровня семантической информации. Что касается словарей, отражающих лишь фактический (средний) уровень понимания слов, то на пути их создания возникают огромные трудности, связанные с установлением фактического словопонимания и словоупотребления у различных социальных групп. Между тем для широкого круга читателей такие словари вовсе и не нужны: наши современники ищут ответа в нормативных словарях на вопрос о том, как должно пониматься в данное время то или иное слово, а не то, как оно кем-то понимается, применяется.

Традиционная лексикографическая теория и практика исходит обычно из предположения о существовании некоего среднего уровня в понимании слов и терминов общелитературного языка. Между тем фактически такого единого уровня в словопонимании и словоупотреблении внутри той или иной нации не существует и никогда не существовало. Именно поэтому нет четкого определения того, на кого рассчитаны общие толковые словари. Однако если учесть тех лиц, которые реально могут обращаться за справками к толковому словарю, то в современном обществе можно выделить не менее пяти различных уровней: а) уровень учащихся 2—5 классов, б) уровень учащихся 6—8 классов восьмилетней школы, в) уровень учащихся 8—10 классов средней школы и старших курсов технических училищ, г) уровень лиц со средним и высшим образованием, д) уровень специалистов той или другой отрасли знаний. Современные толковые словари русского языка больше соответствуют третьему и четвертому, а отчасти и второму уровню. Между тем для каждого из них необходим специальный толковый словарь с набором соответствующей семантической информации⁷. Каждый из этих словарей должен предлагать лишь такие толкования таких слов, которые необходимы и достаточны для данного конкретного уровня развития. Система толковых словарей, точно ориентированных на определенный уровень развития и понимания слова, позволит наиболее эффективно решать вопрос о построении словаря-справочника, необходимого для усвоения лексико-семантической системы языка. Между прочим, в своей совокупности эти словари не превысят объема большого универсального словаря, ибо словник одного дифференцированного словаря не должен без необходимости повторять словник другого подобного словаря.

Все это означает, что общие требования к содержанию различных семантических определений не могут быть одинаковыми, тождественными, они должны учитывать конкретные цели и обстоятельства их применения. Общим единым требованием ко всем семантическим определениям является лишь требование истинности, научности, однако это общее требование должно трансформироваться в применении к различным уровням знания и развития той или иной социальной группы лиц. Наибольшая степень ограничения научной информации осуществляется в рамках первичных толкований, ориентированных на начальный уровень образования, наименьшая — в рамках семантических определений, предназначенных для лиц со средним или высшим образованием. В рамках специальных терминологических словарей, справочников эти ограничения полностью снимаются. Конечная цель этих требований — не снижать, а поднимать научный уровень толкований, обеспечивать непрерывный процесс уточнения и углубления (обогащения) значений слов, терминов в связи с непрерывным процессом углубления и расширения познания.

⁷ См.: Д. И. А р б а т с к я й, О дидактических определениях, «Советская педагогика», 1972, 8, стр. 72, 77.

В. П. ЖУКОВ

О ЗНАКОВОСТИ КОМПОНЕНТОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМА

Сложность и многоаспектность выдвигаемой проблемы побуждает нас прежде всего высказать свое отношение к таким понятиям, как фразеологизм и компонент. Без определения этих коренных понятий (разумеется, соответствующие определения являются «рабочими» и не претендуют на всеобщее признание) трудно или вовсе невозможно быть однозначно понятым.

Под фразеологизмом условимся понимать устойчивую раздельно оформленную единицу языка, наделенную целостным (или частично целостным) значением и в коммуникативном отношении не составляющую законченного предложения. Фразеологизм, с нашей точки зрения, начинается там, где заканчивается семантическая реализация его компонентов.

Компонент — это составная часть фразеологизма, лишенная основных признаков слова: компоненты в составе фразеологизма лишены отдельного лексического, словообразовательного и грамматического значения, не способны к самостоятельному существованию в качестве членов предложения (живые синтаксические связи между компонентами ослаблены или вовсе утрачены), лишены сочетательных свойств слова (по отношению к другим словам предложения фразеологизм употребляется как неделимое целое), а также смыслового использования в речи (этой способностью наделен фразеологизм в целом). Компонент — это деактуализованное слово.

Необходимо отметить, что компонент фразеологизма, с одной стороны, и слово с фразеологически связанным значением, с другой, — качественно разные, несоизмеримые языковые образования. Слово с фразеологически связанным значением, подобно словам свободного употребления, входит в лексико-семантическую систему языка, вступая в парадигматические связи и отношения с другими лексическими единицами. Так, в «Словаре омонимов русского языка» приводятся примеры омонимического противопоставления слов полного значения словам с фразеологически связанным значением: ср. *пороть (кого)* — *пороть шалуна* и *пороть (что)* — *пороть чепуху, чушь, вздор*¹. В свою очередь слово с фразеологически связанным значением *пороть* (в составе фразеологического сочетания *пороть чепуху*) вступает в синонимическую связь с другим фразеологически связанным словом *болтать*, которое семантически реализуется в составе фразеологического сочетания *болтать чепуху*.

Таким образом, слово с фразеологически связанным значением способно вступать на лексико-семантическом уровне в парадигматические отношения и сочетаться в линейной последовательности с другими словами. Такие свойства чужды компонентам фразеологизма.

Всякий знак, как известно, содержит условное и социально закрепленное за ним свойство указывать на нечто, лежащее вне его. Знак отвечает

¹ См.: О. С. А х м а н о в а, Словарь омонимов русского языка, М., 1974, стр. 240.

«двум условиям: а) обозначение чего-то находящегося вне его; б) общественная „наделенность“ свойством этого обозначения»².

Хотя сам по себе знак (если придерживаться концепции односторонности его³) не представляет собой единства звучания и значения (этим качеством надделено слово), тем не менее ему социально приписано то или иное значение. Следовательно, знаком следует признать звуковые оболочки таких единиц языковой системы, которые способны обозначать что-либо, находящееся вне их. Таким свойством обозначения, как показывает исследование В. М. Солнцева, надделены слова и морфемы⁴. Первые обладают лексическим значением, вторые — деривационным.

Возникает вопрос: способны ли обозначать что-либо компоненты фразеологизма и является ли собственное значение компонентов минимально достаточным, чтобы признать их знаками?

Компоненты фразеологизмов в семантическом отношении изучены крайне слабо. Одни лингвисты считают, что значение слова растворяется в общем смысле фразеологизма и поэтому определить опытным путем семантическую ценность компонента невозможно. По мнению других, компоненты являются подлинными словами, так что слово внутри фразеологизма и за его пределами не претерпевает каких-либо качественных изменений, остается самим собой. Наконец, отдельные ученые полагают, что семантическая самостоятельность компонентов зависит от типа фразеологических единиц: в структуре одних фразеологизмов компоненты остаются быть словами, а в структуре других не теряют своих словесных качеств. Такой точки зрения придерживался В. В. Виноградов.

Представляется, что компоненты подлинных фразеологизмов лишены семантической самостоятельности и, следовательно, не обладают лексическим значением вследствие своей деактуализации.

Причина семантической и грамматической деактуализации компонентов кроется в том, что они порознь и вместе теряют денотативную (предметную) направленность. С момента своего образования фразеологизм всем своим лексическим составом начинает отражать такую внеязыковую действительность (предметы, явления, события, действия, свойства, представления и т. п.), с которой потеряли (полностью или частично) связь сами по себе компоненты. Вследствие такой семантической переориентации компоненты утрачивают семантическую соотнесенность с соответствующими словами свободного употребления. Так, фразеологизм *смаковать удочки* в современном русском языке имеет такие значения: 1) ирон. «спешно удалиться, уходить, отступать и т. п.» и 2) «кончать что-либо». Ни в одном из своих частных значений этот фразеологизм не соотносится со смысловой структурой слов свободного употребления *смаковать* и *удочки*.

Несмотря на то, что компоненты фразеологизма в силу своей деактуализации лишены основных признаков слова, они так или иначе участвуют в образовании фразеологического значения. Вследствие этого они надделены некоторой долей семантической самостоятельности.

Прежде всего у большинства фразеологизмов легко выделяется грамматически господствующий компонент, который предсказывает их лексико-грамматическое (категориальное) значение. У глагольных фразеоло-

² В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 112.

³ К идее расщепления двусторонней целостности лингвистического знака, правда, на почве процедуры психоаналитического сеанса, приходит, например, французский психолог Жак Лакан. См.: Н. С. А в т о н о м о в а, Психоаналитическая концепция Жака Лакана, ВФ, 1973, 11.

⁴ В. М. Солнцев, указ. соч., стр. 113 и сл.

гизмов таким опорным компонентом служит глагол, у именных — имя существительное, у адъективных — имя прилагательное и т. д. При этом лексико-грамматическое значение у соответствующих фразеологизмов обнаруживается независимо от степени спаянности компонентов и характера мотивировки фразеологизма. У фразеологизма с целостным немотивированным значением *стирать очки* и у фразеологизмов с прозрачной внутренней формой типа *закрывать глаза (на что)*, *замазывать рот (кому чем)*, *замечать следы* и т. д. соответственно глаголы *стирать*, *закрывать*, *замазывать*, *замечать* с одинаковой степенью вероятности сигнализируют о лексико-грамматическом значении процессуальности у названных фразеологизмов.

Кстати сказать, глагольные компоненты в аналогичных случаях функционально сближаются с теми морфемами, которые предсказывают лексико-грамматическое значение глагольности. Так, звуковой отрезок *писа-* указывает на лексико-грамматическое значение процессуальности; такое указание исходит из аффикса *-ть*. Этот аффикс служит п о к а з а т е л е м, но не носителем категориального значения. Носителем такого значения является слово в целом. Равным образом грамматически опорный компонент (глагольный, именной и т. п.) лишь сигнализирует о наличии соответствующего категориального значения, реальным (а не формальным!) носителем которого служит фразеологическая единица в полном объеме. Показателем тот факт, что грамматически господствующий компонент фразеологизмов типа *у черта на куличках* трудно или невозможно определить, но это обстоятельство не ведет к исчезновению категориального значения у соответствующих фразеологизмов. Это значение в таком случае выявляется синтаксически.

Лексико-грамматическое значение не затрагивает индивидуальных семантических особенностей фразеологизма (или слова), так как характеризует целый класс однородных в лексико-грамматическом отношении единиц (семантическая индивидуальность слова или фразеологизма обнаруживается в наборе дифференциальных семантических признаков или сем⁵).

В силу этих обстоятельств категориальное значение с и с т е м н о объединяет фразеологизмы (или слова) в один разряд, выступая в качестве специфического общего элемента фразеологического (или лексического) значения.

Сказанное позволяет заключить, что грамматически опорный компонент выполняет различительную (дистинктивную) знаковую функцию⁶, позволяющую отличать его от других компонентов, которые не указывают на лексико-грамматическое (категориальное) значение всего фразеологизма.

В структуре фразеологической единицы нередко выделяются такие компоненты, которые сигнализируют о стилистической окраске фразеологизма. Так, в составе фразеологизма *воротить нос* стилистически отмеченным оказывается компонент *воротить*, предсказывающий стилистически сниженную тональность фразеологизма. Легко заметить, что и слово свободного употребления *воротить* «поворачивать, отворачивать» имеет грубовато-сниженное содержание⁷. Тем не менее общее значение фразео-

⁵ См., например: Д. Н. Шмелев, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973; М. Д. Степанова, Методы синхронного анализа лексики, М., 1968, стр. 145.

⁶ О дистинктивной функции знака см.: Ю. С. Маслов, Знаковая теория языка, сб. «Вопросы общего языкознания», Л., 1967 («Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена»), 354), стр. 111.

⁷ С. И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1963, стр. 94.

логизма *воротить нос* «относиться к кому-либо с презрением, пренебрежением», семантически не соотносится с глаголом *воротить* в свободном употреблении. Следовательно, стилистическая окраска во фразеологизме (или слове) проявляется независимо от его понятийного, предметно-логического значения.

В подавляющей части случаев, однако, сами по себе компоненты не влияют на стилистическую тональность фразеологизма. Стилистическая окраска (возвышенная или сниженная) возникает обычно в результате метафорического переосмысления свободных словосочетаний такого же лексического наполнения, например: *закидывать удочку* (разг.), *набивать карман* (разг.), *набрать в рот воды* (прост.), *направо и налево* (разг.) и мн. др. В составе аналогичных свободных словосочетаний все слова имеют стилистически нейтральную окраску.

Так как стилистическая окраска лишь наслаивается, накладывается на основное, предметно-логическое значение фразеологизма (или слова)⁸, то стилистически маркированные компоненты не выполняют собственно знаковой функции.

Многим фразеологизмам русского языка присуще явление вариантности, которое характерно в основном для фразеологизмов, не утративших внутренней формы⁹. В составе таких фразеологизмов варьируемые компоненты обнаруживают некоторую семантическую соотнесенность со словами свободного употребления. Дело в том, что варьируются, как правило, такие компоненты, которые образованы от слов, находящихся между собой в отношениях синонимии: *сражаться* (*воевать*) с *мельницами*, *выбрасывать* (*выкидывать*) *за борт*, *бить* (*ударять*) *по рукам* и т. д. Нетрудно заметить, что слова свободного употребления *сражаться* и *воевать*, *выбрасывать* и *выкидывать*, *бить* и *ударять* явственно обнаруживают семантическое сходство, принадлежат к одной и той же части речи и являются лексически-синонимами.

Вариантность фразеологических единиц — явление семантического порядка. Связано оно непосредственно с проблемой тождества и различия фразеологизма¹⁰. Если при замене одного компонента другим меняется внутренняя форма (ср. *считать ворон* и *считать звезды*), то в подобных случаях возникают фразеологические синонимы, а не варианты одной и той же фразеологической единицы¹¹; напротив, если замена компонентов не приводит к изменению образного представления (внутренней формы), то в таких случаях налицо вариантность фразеологизма (ср. *выбрасывать за борт* и *выкидывать за борт*). Возможны и явления промежуточного (гибридного) характера (ср. *как с неба свалиться* и *как с луны свалиться*).

Однако отношения между варьируемыми переменными компонентами фразеологизма семантически не повторяют тех отношений, которые устанавливаются между однозвучными словами полного значения. В противном случае варьируемые компоненты, например, *бить* и *ударять* внутри фразеологизма *бить по рукам* «заключать торговую сделку» и соответствующие глаголы в составе свободного словосочетания *бить (ударять) по рукам* обозначали бы одно и то же. Семантическая несовместимость вызвана тем, что в структуре подобных фразеологизмов собственное значение

⁸ О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 285.

⁹ В. П. Ж у к о в, Фразеологизмы с переменным составом компонентов в русском языке, сб. «Материалы конференции северного зонального объединения кафедр русского языка пединститутов 1962 года», Л., 1965.

¹⁰ Здесь мы оставляем в стороне вопрос о генезисе этого явления. См. отчасти об этом: М. Ф. П а л е с к а я, Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в., Кишинев, 1972, стр. 11 и сл.

¹¹ См., например: А. И. Ф е д о р о в, Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX в., Новосибирск, 1973, стр. 20.

переменных компонентов как бы размывается, растворяется в общем (целостном) значении фразеологизма. Не случайно в разных фразеологизмах могут варьироваться одни и те же компоненты: ср. *бить (ударять) по карману* и *бить (ударять) по рукам*; *брать за горло (злотку)*, *смочить горло (злотку)* и *вставать на горло (злотку)* и мн. др.

Сказанное позволяет сделать вывод, что варьируемые компоненты в силу целостности значения фразеологизма не обладают такой семантической величиной, чтобы служить средством передачи информации о чем-то, находящемся вне их.

Особое место в фразеологической системе принадлежит фразеологизмам, в составе которых компонент (компоненты) восходит к словам с производной основой. Как показывают наблюдения, в абсолютном большинстве случаев словообразовательные аффиксы в структуре фразеологизма десемантизируются, утрачивая присущее им значение, так что фразеологическое значение, в отличие от лексического, как правило, не осложняется деривационным значением¹². Причина десемантизации морфем кроется в том, что они представляют собой всего лишь значимую часть слова, которое в свою очередь в структуре фразеологизма само подвергается семантической деактуализации.

Но не всегда морфемы без остатка поглощаются общим значением фразеологизма¹³.

Встречаются единичные случаи, когда реальное значение морфем еще не утрачено. Так, в современном русском языке в составе отдельных глагольных фразеологизмов некоторые приставки удерживают свое значение. Не утратила, например, оттенок начинательности приставка *за-* в таких фразеологизмах, как *забить ключом (о жизни)*, *сыр-бор загорелся (из-за чего)*¹⁴. В первом случае оттенок начинательности рельефно вырисовывается на фоне бесприставочного соотносительного фразеологизма *бить ключом*. Во втором случае начинательное значение поддерживается тем, что соответствующий фразеологизм легко ассоциируется с однозвучным свободным словосочетанием, тем более, что приставка *за-* придает начинательное значение глаголам, обозначающим различные световые явления (*засверкала молния*, *засветился огонь*, *загорелся бор* и под.).

Отдельные глагольные фразеологизмы, связанные с обозначением конкретной деятельности или поведения человека, в соединении с приставкой *по-* передают оттенок неполноты проявления признака, т. е. содержат уменьшительно-ограничительные оттенки действия. Приставка *по-* здесь является не только грамматическим средством образования форм совершенного вида, но частично вносит изменение и в реальное значение глагольных фразеологизмов. Вот несколько литературных примеров. «Опохмелились, закусили и ласы поточили» (Лесков, Житие одной бабы); «—Теперь этот битюг баклуши бьет, товарищ Мехова. Рад случаю поточить ласы» (Гладков, Цемент). По отношению к исходной форме *точить ласы* фразеологический дериват *поточить ласы* представляет собой новую фразеологическую единицу. Другими словами, такого рода производные образования являются семантической модификацией исходного фразеологизма.

В подобных случаях в структуре глагольных фразеологизмов грамматически господствующий компонент выполняет двойную функцию —

¹² См.: В. П. Жуков, Значение фразеологизма и значение слова, «Р. яз. в шк.», 1974, 3.

¹³ Об ассоциативной природе значений морфем см., например: В. М. Солнцев, указ. соч., стр. 113 и сл.

¹⁴ О семантической параметре приставки *за-* см.: Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973, стр. 291 и сл.

предсказывает лексико-грамматическое значение фразеологической единицы и удерживает оттенки деривационного значения.

В самостоятельную группу объединяются также фразеологизмы, один из компонентов которых генетически восходит к уменьшительно-оценочным существительным¹⁵. В составе таких компонентов отыменного происхождения словообразовательный формант, как правило, утрачивает присущее ему значение (ср. *закидывать убочки* «осторожно намекать на что-либо с намерением разузнать обстановку», *закрывать лавочку* «прекращать чем-либо заниматься», *родиться в сорочке* «быть счастливым», *рыльце в пушку* «замешан в каком-либо нечестном деле» и т. д.). И все же в редких случаях на семантику фразеологизма непосредственное влияние оказывает словообразовательный элемент, несущий количественную или качественную характеристику (ср. *гусиные лапки* «веерообразные морщинки вокруг глаз», *заморить червячка* «слегка утолить голод», *пальчики оближешь* «очень вкусно» и некот. др.).

Итак, словообразовательные элементы (приставки, суффиксы) в структуре фразеологизма, как правило, лишены реального значения. По этой причине звуковые оболочки соответствующих морфем нельзя признавать знаками. Знаковую функцию выполняют лишь те немногие морфемы (точнее, их звуковые оболочки), которые с равной степенью полноты сохраняют свое реальное значение. При этом усиление реального значения морфемы не сопровождается семантическим сближением компонента (в состав которого входит такая морфема) со словом.

Совершенно самостоятельное положение занимают фразеологизмы, в составе которых один из компонентов всем своим составом семантически соотносится (но не совпадает!) с соответствующими словами свободного употребления. Степень семантической самостоятельности компонентов здесь может быть самой различной — от едва уловимой до явно выраженной. В русском языке встречаются, например, наречные фразеологизмы типа *краем глаза видеть*, *краем уха слышать*, *во все горло кричать*, *со всех ног бежать*, *за семью замками прятать*, *в двух словах рассказать* и др. Отдельные фразеологизмы этого рода могли возникнуть в результате метафорического переосмысления свободного словосочетания. В структуре свободных словосочетаний эквивалентного состава, на базе которых возникли подобные фразеологизмы, например, слова *глаз* и *ухо* функционально связаны с глаголами *видеть* и *слышать*. В процессе фразеологизации, вызванном актом переосмысления всего наречно-глагольного комплекса, наречная часть семантически обособилась от своего глагола-конкретизатора. Общее значение наречных фразеологизмов *краем глаза (видеть)* «на короткий миг» (видеть) и *краем уха (слышать)* «вскользь, мельком» (слышать) не соотносится со смысловой структурой однозвучных слов (и их дериватов) свободного употребления *край*, *глаз* и *ухо*. И лишь глаголы *видеть* и *слышать* не изменяют своего лексического значения. И все же компоненты *глаз* и *ухо* в силу ассоциативной связи с глаголами-сопроводителями оказываются как бы функционально ориентированными в семантическом плане.

Известный интерес вызывают фразеологизмы типа *вертеться как белка в колесе* «находиться в беспрестанных хлопотах, суетиться», *биться как рыба об лед* «терпеть крайнюю нужду, бедствовать» и под. Общее значение этих фразеологизмов соотносится со значением слов *вертеться* «повора-

¹⁵ См. об этом: А. Г. Черкасова, О десемантизации уменьшительно-оценочных существительных в составе фразеологизма, сб. «Вопросы семантики фразеологических единиц», 1, Новгород, 1971.

чиваться из стороны в сторону; хлопотливо суетиться», *биться* «жить в гнетелой нужде и чрезмерном труде»¹⁶.

Создается впечатление, что семантическое сближение соответствующих фразеологизмов с глаголами свободного употребления осуществляется посредством глагольных компонентов. Но это не отвечает действительности.

Анализируемые фразеологизмы возникли в результате метафорического пересмысления таких свободных словосочетаний, в составе которых знаменательные слова употребляются в своих конкретных, первично-номинативных значениях: глагол *вертеться* означает «находиться в состоянии кругового движения», а глагол *биться* имеет значение «ударяться». Поэтому процесс фразеологизации подобных словосочетаний протекал равномерно, с одинаковой степенью затемнения (а точнее, денотативного смещения, деактуализации) слов, входящих в соответствующие свободные словосочетания. В результате метафорического пересмысления все компоненты утратили свое былое, системное значение. Например, глагольный компонент *биться* (в составе фразеологизма *биться как рыба об лед*) семантически неоднороден глаголу свободного употребления *биться* в значении «бедствовать», ибо в таком значении этот глагол не может сочетаться со сравнительной частью (*как рыба об лед*), которая еще не развила (а может быть, никогда и не разовьет) значение меры и степени.

Попутно отметим, что и тот и другой фразеологизм генетически восходят к свободному словосочетанию, построенному по модели «глагол + сравнительная часть». В составе данного словосочетания глагол выступает в качестве основания сравнения и может быть последовательно распространен наречиями меры и степени (ср. *биться сильно (очень сильно), как...; вертеться быстро (очень быстро), как...*, порождая тем самым компаративную цепь¹⁷).

Вследствие метафорического пересмысления рассматриваемых свободных словосочетаний основание сравнения (глагол) и объект сравнения (сравнительная часть) объединяются в одно целое.

Таким образом, в фразеологизмах типа *краеш глаза (видеть)* и *биться как рыба об лед* соответственно именной компонент *глаз* и глагольный *биться* лишены семантической самостоятельности, не являются реальными носителями лексического значения и вследствие этого не в состоянии выполнять знаковую функцию.

Между компонентами внутри отдельных фразеологизмов нередко устанавливаются отношения противопоставленности или сходства (ср. *из мухи делать слона, ни пава ни ворона, ни рыба ни мясо, ни к селу ни к городу, ни свет ни заря, ни жив ни мерте, между жизнью и смертью, между небом и землей; маг и волшебник, метать громы и молнии* и под.).

Соответствующие отношения обусловлены семантической разобщенностью или, напротив, близостью слов, входящих в эквивалентное свободное словосочетание, на базе которого формируются эти фразеологизмы. В подобной семантической ситуации компоненты обладают некоторой знаковой предрасположенностью, но не в состоянии выявить знаковую функцию до конца. Такой способностью наделены лишь слова в структуре однозвучных свободных словосочетаний. Не случайно в фразеологизмах сходного компонентного состава порождаются совершенно различные значения, неоднородная смысловая структура. Сравним семантический строй фразеологизмов *между небом и землей* и *как небо и земля*. У первого

¹⁶ См.: «Словарь русского языка в четырех томах», I, М., 1957, стр. 106.

¹⁷ См.: В. М. О г о л ь ц е в, Устойчивые компаративные структуры в языковой системе, сб. «Системность русского языка», Новгород, 1973, стр. 20 и сл.

фразеологизма развились такие значения: 1) «без постоянного жилища, где придется (жить)»; 2) «далеко от реальной действительности (существовать)»; 3) «в состоянии полной неустroенности, неопределенности (быть)». Второй фразеологизм употребляется в значении «полная противоположность».

И лишь в составе фразеологизма *из мухи белать слона* «необоснованно преувеличивать что-либо» компонент *муха* способен при определенных условиях (на уровне, например, «потенциального» слова) передать нечто малозаметное, ничтожное, мелкое, а противопоставленный ему компонент *слон* символизирует нечто важное и значительное.

Нередко на почве семантического противопоставления компонентов создаются антонимические связи между одноструктурными фразеологизмами: *заваривать кашу — расклеивать кашу*, *легок на ногу — тяжел на ногу*, *легок на подъем — тяжел на подъем*, *не из робкого десятка — не из храброго десятка*, *при закрытых дверях — при открытых дверях*, *птица высокого полета — птица низкого полета*, *с закрытыми глазами — с открытыми глазами*, *с легким сердцем — с тяжелым сердцем* и др.

Эти примеры вместе с тем позволяют увидеть, что лишь в одном случае (*не из робкого десятка* «смелый, храбрый» — *не из храброго десятка* «внесмелый, боязливый») противопоставляемые компоненты *робкий* и *храбрый* генетически восходят к языковым антонимам. Доля участия этих компонентов в образовании общего значения каждого фразеологизма очевидна.

Во всех других примерах противопоставляемые компоненты лишены смыслообразующей функции. В этом можно убедиться, если сопоставить смысловую структуру фразеологических антонимов со смысловой структурой антонимически противопоставленных слов свободного употребления. Так, фразеологизм *с закрытыми глазами* употребляется в значении «не осознавая цели, задачи; неосмотрительно», а противопоставляемый ему по смыслу фразеологизм *с открытыми глазами* означает «ясно, отчетливо сознавая цели, задачи; осмотрительно». Лексические антонимы *закрытый* и *открытый* в современном русском языке соответственно противопоставляются в следующих значениях: 1) «имеющий навес или покрытие; крытый» и «не имеющий навеса или покрытия»; 2) «такой, который не является доступным для всех» и «такой, который является доступным для всех, на котором могут присутствовать все желающие»; 3) «скрытый, не явный; внутренний» и «внешне заметный, не скрытый, не внутренний»; 4) «не оставляющий открытыми плечи, шею, руки; глухой» и «оставляющий обнаженными что-либо; глубоко вырезанный»¹⁸.

Ни с одним из этих значений (равно как и ни с одним из частных значений слов свободного употребления *закрытый* и *открытый*) семантически не соотносятся сами по себе анализируемые фразеологизмы.

Источником фразеологической антонимии в данном случае становятся слова *закрытый* и *открытый* в их свободном применении. Действительно, в составе свободных словосочетаний *с закрытыми глазами* и *с открытыми глазами* слово *закрытый* употребляется в значении «имеющий покров, не оставляющий открытым что-либо», а противоположное ему по смыслу слово *открытый* означает «не имеющий покрова, оставляющий открытым, обнаженным что-либо».

В результате антонимического взаимодействия компонентов возникает довольно противоречивая семантическая ситуация. С одной стороны, компоненты *закрытый* и *открытый* вследствие метафорического переос-

¹⁸ См.: Н. П. Колесников, Словарь антонимов русского языка, Тбилиси, 1972, стр. 134.

мысленно внешне совпадающих свободных словосочетаний подвергаются деактуализации, утрачивают смыслообразующую функцию, перестают предсказывать общее значение фразеологизмов; с другой стороны, те же компоненты порождают фразеологическую антонимию, вследствие чего оживают их словесные свойства.

Еще большей семантической самостоятельностью и определенностью наделены такие компоненты, которые сохраняют некоторое вещественное сходство, подобие в смысловой структуре различных фразеологизмов. Таков, например, компонент *капля*, являющийся неотъемлемой частью фразеологизмов *капли в рот не брать* и *капля в море*.

Фразеологизм *капли в рот не брать* означает «вовсе не пить спиртного», а фразеологизм *капля в море* имеет несколько значений: 1) «ничтожно малое количество по сравнению с тем, что необходимо»; 2) «крайне незначительное обстоятельство, пустяк по сравнению с чем-либо».

Эти фразеологизмы резко расходятся в лексико-грамматическом отношении: первый из них является глагольной фразеологической единицей, а второй — именной. Расходятся они и в собственно семантическом плане, ибо отражают разные сферы действительности, разные денотаты. И тем не менее у того и другого фразеологизма компонент *капля* с разной степенью отчетливости выступает в качестве общего элемента фразеологического значения. В первом фразеологизме компонент *капля* добавляет к общему фразеологическому значению семантический признак интенсивности (различителем этого признака в нашем развернутом речесписательном толковании «вовсе не пить спиртного» служит наречие меры *вовсе*), во втором фразеологизме компонент *капля* становится смысловым стержнем, пронизывающим все частные значения.

Одним словом, компонент *капля* в семантической структуре анализируемых фразеологизмов распространяет смысловой сигнал и становится символом минимального количества чего-либо. В этом качестве соответствующий компонент обнаруживает семантическую близость с одним из частных значений слова *капля* в свободном употреблении (со значением «самое малое количество чего-либо») ¹⁹.

Можно объединить в особый разряд фразеологизмы, один из компонентов которых выполняет смыслообразующую функцию. Соответствующие компоненты наделены относительно высокой степенью семантической самостоятельности и являются смысловым центром фразеологизма ²⁰. Сюда относятся прежде всего фразеологизмы типа *на скорую руку*, *по пьяной лавочке*, *от молодых ногтей* и т. д. Так, общее значение фразеологизма *по пьяной лавочке* «в пьяном виде, в состоянии опьянения» отчетливо соотносится по смыслу со словом свободного употребления *пьяный* (нетрезвый) и другими однокоренными словами (*пьянеть*, *пьяница*, *пьянство* и т. д.). Это означает, что компонент *пьяный* в составе анализируемого фразеологизма является смыслообразующим.

На периферии фразеологической системы размещается сравнительно небольшой класс фразеологизмов, в составе которых каждый компонент в отдельности семантически соотносится (но не совпадает!) с периферийными значениями одноименных слов свободного употребления. Подобного рода смыслообразующие компоненты обладают достаточно высокой семантической самостоятельностью и приблизительно с одинаковой степенью активности участвуют в формировании общего (глобального) значения фразеологизма [ср. *отбивать хлеб (у кого)*, *находить общий язык (с кем)*,

¹⁹ «Словарь русского языка в четырех томах», II, М., 1958, стр. 36.

²⁰ Об этом см.: В. П. Ж у к о в, О смысловом центре фразеологизмов, сб. «Проблемы фразеологии», М.—Л., 1964.

поднимать голос, добывать дроб и немногие другие] ²¹. В силу семантической раздельности компонентов соответствующие образования находятся на грани перехода в разряд фразеологических сочетаний.

Из сказанного ранее можно заключить, что чем выше смыслообразующая активность компонентов (а эта активность может вызываться разными причинами, например, действием притягивающих и отталкивающих семантических импульсов внутри фразеологизма), тем ближе такие компоненты к словам полного значения и тем активнее проявляются знаковые свойства у таких компонентов. И наоборот.

Компонент (вернее его звуковая оболочка) становится полноценным знаком лишь тогда, когда он начинает отражать внеязыковую действительность, т. е. превращается из семантически несамодостаточной величины в семантически полноценную, самодостаточную. При таком условии происходит распад целостного значения фразеологизма (если он имеет двучленное строение), переход его в своеобразную единицу микроконтекста.

Смыслообразующие компоненты являются лишь потенциальными, а не реальными знаками (переход их в реальные знаки может осуществиться, а может и не произойти). Чем больше смыслообразующих компонентов в структуре фразеологизма и выше их смыслообразующая активность, тем ярче и отчетливей знаковая ситуация. Справедлива и обратная зависимость: чем меньше смыслообразующих компонентов и ниже их смыслообразующая активность, тем слабее знаковая ситуация, тем полнее знаковую функцию проявляет не компонент (или компоненты), а фразеологизм в целом.

Хотя компонент (точнее его звуковая оболочка) и не является подлинным знаком, так как семантически не актуализируется в речи, тем не менее он участвует в выражении фразеологического (актуального) значения. Здесь компонент служит своеобразным строительным материалом знака.

Знаковую функцию способна выполнить лишь такая сложноорганизованная единица с целостным значением, в составе которой ее элементы лишены (полностью или частично) предметной (денотативной) направленности. В этом случае, как уже упоминалось, внеязыковую действительность отражает фразеологическая единица всем своим составом одновременно, так что отдельные компоненты при создавшейся языковой ситуации могут опускаться без нарушения семантического тождества фразеологизма: *ни в зуб ногой толкнуть* («не смыслит») → *ни в зуб ногой* → *ни в зуб*.

Соответственно не обладают свойством обозначения такие воспроизводимые словесные комплексы (точнее их звуковые оболочки), в составе которых каждое слово-компонент раздельно направлено на реальную действительность. Сюда относятся различного рода сентенции, ходячие цитаты из литературных произведений, фразеологические сочетания и другие воспроизводимые образования аналитического характера ²².

Следовательно, воспроизводимость (регулярная повторяемость) не является основной причиной фразеологизации. Фразеологизация — следствие глубоких семантических процессов, вызванных прежде всего метафорическим переосмыслением свободных словосочетаний эквивалентного состава. Поэтому фразеологическое значение в плане отражения внеязыковой действительности однородно переносным значениям слов типа *ворона* «зевака, ротозей», *колпак* «недалекий человек, простака», *мешок* «неповоротливый человек» и т. п. В значениях соответствующих слов (как и в фразеологическом значении) содержится не единичное, а обобщенное отражение предметов реальной действительности.

²¹ См. об этом: В. П. Жуков, Способ фразеологической аппликации и классификация фразеологического материала, сб. «Системность русского языка».

²² Ю. С. Маслов подобные образования относит к знакам-информаторам наряду с морфемами и словами (указ. соч., стр. 113).

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ

О ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ
НЕКОТОРЫХ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Кодификация словесного ударения, основанная на научно-объективных принципах, предполагает изучение не только активных тенденций изменения ударения, но и причин, их обусловивших. Известно, что литературные нормы (правила) далеко не всегда совпадают с узусом (распространенными и даже общепринятыми формами выражения). История, однако, свидетельствует о том, что в целом изменение норм, особенно не поддержанных письменной традицией, происходит все же в русле общего направления языковой эволюции. Поэтому перспективная норма может быть установлена лишь в результате функционально-динамического исследования ее вариантов, причин их возникновения и условий взаимодействия.

Для современного русского языка эта проблема стоит особенно остро в связи с развивающейся нормализаторской работой и закономерным сосредоточением внимания на внутрисистемных языковых отношениях. Роль диалектного влияния на акцентологические процессы в современном литературном языке становится незначительной. Воздействие других факторов внешнего порядка (многоконтактность при заимствованиях, влияние «модного» иностранного языка и т. п.) также идет на убыль. Не является сейчас решающей причиной изменения ударения и социальная стратификация акцентных вариантов. Мобильность современного общества исключает жесткую закрепленность акцентных вариантов (немногочисленные и банальные примеры, вроде *компас*, *двбьча*, *рудник*, *атбжмй* и т. п., не меняют положения дела; кроме того, за социальную приуроченность акцентного варианта нередко принимают преимущественную сферу применения слова-понятия)¹.

Наиболее существенным для акцентологических перемещений и возникновения вариантности ударения в современном языке представляется воздействие внутрисистемных факторов, главным образом морфологического и словообразовательного характера. Акцентное варьирование сейчас чаще всего порождается столкновением противостоящих притягательных аналогий. Например: вариант *вйхрйтсья* поддерживается словообразовательными ассоциациями (баритонированная производящая основа), а вариант *вйхрйтсья* подкрепляется формально-структурной аналогией (большинство инфинитивов на *-йтсья* имеет ударение на тематическом гласном; ср.: *кружйтсья*, *крутйтсья*, *носйтсья*, *змейтсья* и т. п.; аналогично заменялось ударение: *йскрйтсья* > *йскрйтсья*). При этом в сложное взаимодействие словообразовательных и формально-структурных отношений выдвигаются факторы фонетического порядка, которые, хотя и

¹ Нерелевантность многих социальных признаков при распределении акцентных вариантов убедительно демонстрируется в социодиагностическом исследовании «Русский язык по данным массового обследования» (М., 1974).

не являются решающими, тем не менее не могут быть вовсе сброшены со счетов при анализе акцентологических изменений.

Словесное ударение, будучи не только языковым (информативно и фонологически значимым), но и физиолого-акустическим явлением, по логике вещей связано с фонетикой, с фонетическими характеристиками слогов и слоговым строением слова как элемента речевого потока. Уже из этого следует предположение, что и в современном русском языке акцентологические изменения (и акцентная вариантность) могут иметь фонетические предпосылки.

Фонетическая природа многих акцентных передвижений в общеславянском и древнерусском языке общепризнана и разработана во многих исследованиях. Что же касается современного языка, то всякая фонетическая зависимость места ударения в слове чаще всего категорически отрицается. Например, в Академической грамматике 1953 г. говорится: «Поскольку словесное ударение характеризует слово, в фонетике никаких правил относительно его места установить невозможно; это относится к области морфологии и словаря»². При морфонологическом подходе слоговое членение слова становится несущественным, внимание концентрируется лишь на связи ударения и морфемы. Не случайно поэтому в Академической грамматике 1970 г. сказано: «На какой слог от начала или конца слова падает ударение, — неважно... Важно то, на какую морфему падает ударение»³.

Не отрицая целесообразности такой позиции для систематизации ударения в словоформах, следует признать и ее недостаточность. Полное подчинение акцентологии грамматике, абсолютизация идей Е. Куриловича и П. Гарда⁴ о рассмотрении ударения только в связи с морфемой (слоговое расстояние не имеет значения) грешат, на наш взгляд, некоторой односторонностью. Многие колебания ударения в лексемах и даже в словоформах не поддаются морфонологической интерпретации. Морфонологический подход (работы А. А. Зализняка, В. А. Редькина, Н. А. Матвеевой и др.) исключает синтагматический аспект рассмотрения ударения, утверждая тем самым полную независимость словесного ударения от строения речевого такта, от ритмической организации естественной речи. Такая позиция допустима лишь при синхронном рассмотрении объекта. Динамический же подход, опирающийся в известной мере на общепризнанный тезис о том, что языковые изменения начинаются в речи, т. е. во фразе, неизбежно предполагает выход за пределы морфонологического анализа.

Мысли о синтагматической зависимости акцентуационных характеристик русского слова в поэтических жанрах высказывались неоднократно, начиная с «Опыта о русском стихосложении» А. Х. Востокова (1817). Постепенно представления о ритмической организованности (динамической гармонии) в поэзии и устном народном творчестве⁵ были перенесены на другие сферы речевой деятельности. И хотя ритмическое строение нестихотворной речи изучено еще далеко не достаточно, большинство современных исследователей в принципе склонно считать ритмически организованной не только художественную прозу, но и научно-техническую литературу, газетные тексты, а также обиходно-разговорную речь.

² «Грамматика русского языка», I, М., 1953, стр. 89.

³ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 425—426.

⁴ Е. Курилович, Система русского ударения, в кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962; P. Gardé, Pour une théorie de l'accentuation russe, «Slavia», XXXIV, 1965, стр. 4; ег о же, Accentuation et morphologie, «La linguistique», 1965, 2.

⁵ Обзор работ см. в кн.: М. П. Штокмар, Исследования в области русского народного стихосложения, М., 1952.

Возможность изменения фонетической длины слова и места ударения в контексте (например, при энклизе или проклизе) всегда учитывалась в акцентологических исследованиях. Однако сейчас вопрос о синтагматической зависимости места ударения ставится шире и не только в контекстуальном, но и в генетическом плане. Так, например, В. В. Колесов, исследуя ударение кратких прилагательных в адъективных сочетаниях, подчеркивает важность предположения Н. Ван-Вейка и В. М. Иллича-Святича о том, что «акцентуационная характеристика слова может измениться первоначально только синтагматически, т. е. в словосочетании, и лишь впоследствии обобщается в акцентной парадигме конкретного слова»⁶.

Хотя гипотеза о синтагматической зависимости места ударения в генетическом плане применительно к языку XIX—XX вв. и является несколько рискованной, ее общий смысл, представленный не в виде жестких правил, а некоторых закономерностей, или, скорее, тенденций, не лишен оснований и подтверждается конкретным языковым материалом.

В качестве исходных посылок последующего рассмотрения принимаются следующие положения:

1. Всякая русская речь, т. е. и нестихотворная, ритмически организована. Ритм «естественной прозы» опирается на общие закономерности звучащей речи. Основу первичного ритма составляет речевой такт, или синтагма, в щербовском понимании этого термина⁷.

2. В пределах речевого такта междуударный интервал, т. е. интервал между ударениями в соседних словах, чаще всего равен двум-трем слогам, реже наблюдаются интервал в один слог, отсутствие интервала и интервал, равный четырем слогам. Последний может быть назван критическим интервалом. Это подтверждается экспериментами Е. Г. Кагарова⁸, А. М. Пешковского, А. Н. Гвоздева, исследованиями Н. В. Черемисиной, произведшей статистический анализ 40 тысяч ритмических фигур, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой и нашими собственными наблюдениями над различными текстами нестихотворной речи⁹. Сущность ритмической упорядоченности естественной речи и состоит главным образом в том, что она избегает как слишком больших междуударных интервалов, так и отсутствия интервала.

3. Свобода русского ударения — понятие относительное. Еще Л. Л. Васильев отмечал, что в многосложных словах «ударение, как бы боясь нарушить равновесие слова, чуждается конечных слогов и стре-

⁶ В. В. Колесов, Интонация и ударение в древнерусском словосочетании (адъективные словосочетания в произведениях русского былинного эпоса), «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 77, 1973, стр. 117.

⁷ Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, Л., 1937, стр. 80—81; ср. также: А. Н. Гвоздев, О фонологических средствах русского языка, М.—Л., 1949, стр. 110—117.

⁸ Е. Г. Кагаров, впервые применивший методику исследования ритмического строя немецкого языка к русскому, пришел к следующим выводам: 1) наиболее частым интервалом является промежуток в два неударяемых слога; 2) среднее количество неударяемых слогов между соседними ударяемыми колеблется между 2,57 и 2,03 (см.: Е. Г. Кагаров, О ритме русской прозаической речи. «Докл. АН СССР», В, 1928, 2, стр. 51).

⁹ При расстановке ударений в текстах односложные служебные слова, сложные предлоги и предлоги с беглым гласным *о* (*надо, обо* и т. п.), а также односложные местоимения считались безударными (т. е. энклитиками или проклитиками), за исключением тех случаев, когда местоимение оказывалось в соседстве с другим безударным словом. Опора на позиционную зависимость ударения у динамически неустойчивых слов привела бы в этом случае к логическому кругу: определение интервалов оказалось бы обусловленным заранее заданным ритмом.

мится занять средний слог»¹⁰. В ряде современных исследований подчеркивается, что в основной ритмический фонд входят слова, которые «не имеют более трех неударяемых слогов подряд» (И. Н. Голенищев-Кутузов), что русское ударение статистически (на основе анализа текстов и словарей) концентрируется на среднем слоге или на срединных слогах (В. А. Никопов, А. И. Моисеев), что «ударение в русском языке тяготеет к центру слова» («Русская разговорная речь») ¹¹. С этими высказываниями в целом согласуются данные «Обратного словаря русского языка» (М., 1974): в большинстве слов русского языка ударение падает на второй или третий слоги от конца слова (таких слов 82 331); если при этом принять во внимание, что основной массив слов русского языка (90 119 из 121 532) составляют трех-, четырех- и пятисложные слова, то можно сделать вывод, что ударение в исходных (словарных) формах концентрируется не на «боковых», а на срединных слогах.

4. Исходя из показаний «Обратного словаря», средняя длина русского слова равна 3,79 слога. Как известно, средняя слоговая длина слова в речи не превышает трех слогов¹². Средняя длина общепотребительных слов, имеющих акцентные варианты, равна, по моим подсчетам, — 3,07 слога. Принимая во внимание эти цифры и общий характер распределения акцента (ближе к середине слова, не на «флангах»), мы приходим к выводу, что интервал между ударениями в соседних словах теоретически не должен превышать четырех слогов (т. е. критического интервала), что в целом и соответствует экспериментальным исследованиям Е. Г. Кагарова, Н. В. Черемисиной и моим наблюдениям.

Сказанное выше подводит нас к общему выводу: ограниченность междуударного интервала в речевом такте и общая центростремительная направленность русского ударения могут постепенно воздействовать на акцентологические характеристики многосложных слов. При наличии у многосложного слова ударения на боковом слоге и трех (или более) безударных слогов подряд возникает тенденция к ритмическому у рав н о в е с и ю (стремление переместить ударение ближе к центру слова), что обеспечивает соблюдение среднестатистической нормы междуударного интервала и сохранение общей ритмической упорядоченности. Сама тенденция к ритмическому равновесию, видимо, не является непосредственной причиной перемещения ударения, но она служит предпосылкой, обстоятельством, способствующим изменению акцентных характеристик слова при наличии других побудительных факторов (структурно-акцентологическое уподобление, влияние продуктивной иноязычной модели и т. п.)¹³.

¹⁰ Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков, «Сборник по русскому языку и словесности», I, вып. 3, Л., 1929, стр. 143.

¹¹ И. Н. Голенищев-Кутузов, Словазразец в русском стихосложении, ВЯ, 1959, 4, стр. 25; В. А. Никопов, Место ударения в русском слове, «International Journal of Slavic linguistics and poetics», VI, 1963, стр. 4—5; А. И. Моисеев, К различению длинных и коротких слов в современном русском языке (В связи с местом словесного ударения), «Проблемы теоретической и прикладной фонетики и обучение произношению» (Материалы межвузовской научно-методической конференции), М., 1973, стр. 143—145; сб. «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 97.

¹² 2,8 слога — по данным М. П. Штокмара («Исследования в области русского народного стихосложения», М., 1952) и Б. П. Гончарова («Звуковая организация стиха и проблемы рифмы», М., 1973); 2,9 слога — по данным авторов монографии «Русская разговорная речь».

¹³ Несколько иначе объясняя историческое стремление ударения занять средний слог Л. Л. Васильев («О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков», стр. 144).

Некоторые примеры. Рецессивный сдвиг ударения у пяти-шестисложных глаголов на *-ировать* (в XIX в.: *абонировать*, *аккомпанировать*, *баллотировать* и т. п., в современном языке: *абонировать*, *аккомпанировать*, *баллотировать* и т. п.) объясняется иногда вторичным влиянием немецких глаголов с суффиксом *-ieren*. Примечательно, однако, что многие четырехсложные глаголы, заимствованные непосредственно из немецкого языка (*группировать*, *маршировать* и др.), не испытывают стремления к переносу ударения к центру слова; это свидетельствует о том, что влияние языка-источника не является здесь решающим. Если же учитывать тенденцию к ритмическому равновесию, то изменение ударения у глаголов на *-ировать* — это коммуникативно оправданное явление с точки зрения внутренней системы русского языка. Например, междуударный интервал из шести слогов в речевом такте *будет аккомпанировать* значительно превышает норму, т. е. ритмически неудобен. При новом, оттянутом ударении (*аккомпанировать*) междуударный интервал уменьшается на два слога и становится ритмически допустимым.

Судя по словарям и стихотворным текстам XVIII—XIX вв., прилагательные *прадедовский*, *общественный*, *тайственный*, *счастливый* и др. имели тогда ударение на начальном слоге: *прадедовский*, *общественный*, *тайственный*, *счастливый*. Слоговое расстояние между словесными ударениями во многих атрибутивных сочетаниях (*прадедовское наследство*, *общественное воспитание* и т. п.) превышало при этом критический интервал. Ср. вариантность в современном языке: *августовская жара* и *августовская жарá*¹⁴. Акцентное уподобление по формально-грамматическим признакам (*августовский*, как *литовский*, *толстовский*, *чертовский*), отодвигая на второй план словообразовательные отношения (несмотря на баритонезу производящей основы), поддерживается тенденцией к ритмическому равновесию, возникающей у четырехсложных прилагательных с исконным ударением на начальном слоге¹⁵.

В этом отношении особенно показательны прилагательные с суффиксом *-ист*. У одних четырехсложных прилагательных ударение уже сместилось с начального слога (*бархатистый* > *бархатистый*, *каменистый* > *каменистый*), у других — наблюдается акцентное колебание (*мускулистый* и *мускулистый*, *сахаристый* и *сахаристый*, *фосфористый* и *фосфористый*). Предположение о том, что в этих случаях сказалось влияние только морфологической аналогии, не подтверждается при рассмотрении всей группы прилагательных на *-ист(ый)*. Действительно, ударение на суффиксе здесь весьма продуктивно: 149 прилагательных из 428, т. е. почти 1/3. Примечательно, однако, что четырехсложные прилагательные, имеющие ударение на втором, а не на первом от начала слова слоге (*атласистый*, *болотистый*, *закатистый*, *краснелистый*, *лопатистый*, *навбристый*, *обрывистый*, *порбидистый*, *разбидистый*, *сосудистый*, *туманистый*, *ухватистый*, *фасонистый* и др., всего — 147 прилагательных), не обнаруживают стремления к перемещению ударения на суффикс *-ист*. Между тем, некоторые из них образованы от окситонированных имен (*ковбалистый*, *пугыристый*, *пугыристый*) и поэтому имеют, казалось бы, больше оснований к перемещению ударения, чем прилагательные *бархатистый*, *мускулистый* и др., восходящие к баритонированным основам, но попавшие под воздействие тенденции к ритмическому равновесию.

¹⁴ Ударение *августовский* широко представлено у современных поэтов: Твардовского, Алягера, Авраменко, Регистана, Фирсова, Куяева и др. Например: «За тысячу верст В стороне приднепровской — Нежаркое; солнце Поры августовской» (Твардовский, За тысячу верст).

¹⁵ Судя по данным «Обратного словаря русского языка», только около 4% четырехсложных прилагательных имеют сейчас ударение на начальном слоге.

Тенденция к ритмическому равновесию способствовала центростремительному перемещению ударения у таких, например, четырехсложных существительных: *наковальня* > *наковáльня*, *жеребёвщик* > *жеребёвщи́к*, *перекупщик* > *переку́пщик*¹⁶. Эта тенденция отчетливо дает о себе знать в сложениях, например: *швей*, но *золотошвейá*; *договор*, но *соудбóговор*; *зубчатый*, но *мелкозубчáтый*; *характерный* (в значении «своеобразный, типичный»), но *разнóхарактерный*; *развитый* (прилагательное), но *малорáзвитый*, *слаборáзвитый*, *высокорáзвитый*.

Стремление ударения к центру слова наблюдается у многих приставочных глаголов и причастий. В живой речи и современной поэзии широко представлено «незаконное» (с точки зрения современных нормативных справочников), но вполне закономерное в рассматриваемом плане накоренное ударение у глаголов с двуслоговой приставкой в прошедшем времени в форме женского рода. Например: *оборвáла* (Симонов, Городецкий), *оторвáла* (Антокольский, Кулешов), *разорвáла* (в XIX в.: Пушкин, Полежаев, Гнедич, Языков; в XX в.: Багрицкий, Шагинян, Грибачев, Прокофьев, Гусев, Васильева). Нормативные справочники и словари ударений категорически запрещают накоренное ударение в указанных формах; как исключение в семнадцатитомном академическом словаре: *оборвáла* с пометой «разг.», *надорвáла* с пометой «простореч.». Думается, что при нормативной характеристике отянутого ударения должна учитываться принципиальная разница между коммуникативно не оправданным накоренным ударением в двухсложной форме глагола *рвáла* (влияние южновеликорусских говоров) и в четырехсложной — *оборвáла*, *разорвáла*, где, как и у кратких причастий (*переизбранá* и *переизбрама*, *переизданá* и *переиздана*), оказывает воздействие тенденция к ритмическому равновесию¹⁷.

Тенденция к ритмическому равновесию может, естественно, не только стимулировать перемещение ударения у многосложных слов при акцентно-структурном уподоблении или выравниванию по аналогии (например, *проданá* и *прбдана*, но обычно *перепрбдана*), но и тормозить этот процесс, консервировать традиционное ударение. Ср., например, сохранение накоренного акцента у четырех-пятисложных глаголов (*осведóмить*, *предуведóмить*, *опорбóжить* и др.) при наличии общего прогрессивного развития ударения в инфинитивах на *-ить* (*удить* > *удíть*, *умáлить* > *умалíть*, *пристрúнить* > *приструнíть* и т. п.).

Действие тенденции к ритмическому равновесию, изменяющей акцентологические характеристики или, точнее, способствующей их изменению, распространяется главным образом на четырех-пятисложные слова. При большем количестве слогов сокращение междуударных интервалов в речевых тактах достигается не перемещением ударения к центру слова, а появлением побочного (второстепенного) ударения¹⁸; ср.: *незакóннорождённый*, *переснаряжённый*. Побочное ударение, играющее роль уравнивающего фактора, свойственно преимущественно книжной, терминологической

¹⁶ Еще Я. К. Грот отметил, что в словах, имеющих более трех слогов, суффиксы *-щик*, *-чик* не принимают ударения и передают его предыдущему слогу (Я. К. Г р о т, О русском ударении вообще и об ударении имен существительных, «Филологические разыскания», II, СПб., 1899, стр. 305). По данным «Обратного словаря» из 359 существительных с суффиксом *-щик* ударение на последнем слоге имеют 63 трехсложных слова (*гробовщик*, *кладовщик*, *часовщик* и т. п.) и только два устаревших четырехсложных слова: *запродащик*, *передовщик*.

¹⁷ С этой точки зрения семасиологические теории (Н. К. Пирогова и др.), согласно которым передвижение ударения у глаголов на корень обусловлено смысловыми факторами, представляются во многих случаях спорными.

¹⁸ В 1956 г. Р. И. Аванесов писал, что «вопрос о побочном, втором ударении совершенно не изучен» («Фонетика современного русского литературного языка», М., 1956, стр. 84). Эта оценка полностью применима к нашему времени (см.: Р. И. А в а н е с о в, Русская литературная и диалектная фонетика, М., 1974, стр. 108).

гической лексики (например, *кинematографія, йдиосинкразія*) и чаще возникает при замедленном темпе речи. Освоение многосложных (составных) слов нередко приводит к утрате побочного ударения и фонетически обусловленному смещению основного ударения ближе к центру слова. Например: *килограммометр* > *килограммметр*, *флюорографія* > *флюорографья*, *четырёхвесельный* > *четырёхвёсельный*. Если с этой точки зрения рассмотреть неологизмы *околозёмный* и *околоземный* (впервые приведены в словаре-справочнике «Новые слова и значения», М., 1971 как равноценные варианты), то более перспективным следует признать вариант с оттянутым к центру ударением — *околозёмный*. Примечательно, что в зафиксированных в словаре контекстах выбор варианта соответствует соблюдению средней нормы междуударного интервала в речевом такте: *околозёмный космос*, но *околоземный аппарат*.

Как уже отмечалось, тенденция к ритмическому равновесию взаимодействует обычно с другими побудительными факторами акцентологических изменений¹⁹. И хотя связанное с ритмом перемещение ударения ближе к центру слова происходит не строго регулярно, а лексикализовано, все же для некоторых групп слов существует, видимо, не только морфологическая предсказуемость места ударения (см. работы П. Гарда), но и фонетическая. Так, есть основания предполагать, что у новых, не поддерживаемых традицией четырехсложных прилагательных ударение на первом слоге окажется неустойчивым (например, *мальчиковый*) и будет стремиться перейти на один из средних слогов (*мальчикový* — именно это ударение признано однозначной нормой в последнем издании «Орфографического словаря русского языка», М., 1974). Неустойчивость начального ударения в этих случаях вызвана, во-первых, длиной слова (в косвенных падежах такое четырехсложное прилагательное имеет четыре несударных слога подряд) и, во-вторых, превышением критического междуударного интервала в речевом такте (при среднестатистическом определяемом $\cup \cup \cup$ междуударный интервал становится равным пяти слогам); ср. *мальчикового размера* > *мальчикового размера*.

*

Если первая фонетическая предпосылка акцентологических изменений основывается на количественных показателях (слоговая длина слова и число слогов в междуударном интервале), то вторая заключается в качестве, точнее в позиции слога. Позиционные особенности слогов нельзя при этом рассматривать как непосредственную причину акцентологических сдвигов. Они лишь стимулируют фонологически оправданное изменение места ударения, что наблюдается, например, при тенденции к флексийной акцентуации и устранении нежелательной редукции гласного в грамматически значимой позиции.

В качестве исходных посылок последующего рассмотрения акцентных изменений принимаются следующие положения:

1. Качественной редукции подвергаются как гласные нижнего и сред-

¹⁹ Закономерен вопрос: почему акцентологические изменения, связанные с действием тенденции к ритмическому равновесию, произошли не сразу, а в сравнительно поздний период? Дело в том, что первичная ритмическая упорядоченность речи связана не только с физиологией дыхания, но и с особенностями синтаксического строя языка определенной эпохи. Уже нарушение обычного порядка слов (например, постпозиция определяющего, характерная в прошлом для русского языка) приводит к иному ритмическому строению, в частности к изменению междуударных интервалов в речевых тактах.

него подъема, так и гласные верхнего подъема и не только в говорах, но и в разговорной речи носителей литературного языка ²⁰.

2. Качественной редукции подвергаются гласные, входящие как в основу слова, так и во флексию. При этом признается, что, во-первых, положение гласного после сонорного ухудшает опознаваемость гласного и что, во-вторых, хуже всего опознается слог с заударным *a* после мягких согласных ²¹.

Учет этих характеристик заударных флексий позволяет иначе подойти к объяснению некоторых акцентологических изменений. Например, происходящее перемещение ударения *пѣтля* > *петля* ²² расценивается обычно как результат влияния южновеликорусских говоров или украинского и белорусского языков ²³. Кроме этого слова, в последние десятилетия развили окончное ударение и некоторые другие существительные женского рода с мягким сонорным звуком в конце основы: *лыжня* > *лыжня*, *пешня* > *пешня*, *рвань* > *рвань*. Естественно, что прогрессивное развитие ударения у этих слов не может рассматриваться вне общего исторического перехода многих имен женского рода в подвижные (продуктивные) акцентные парадигмы; например: *губа* > *губа*, *нужда* > *нужда*, *плита* > *плита* и т. п. Важно, однако, подчеркнуть, что в рассматриваемых случаях (*петля*, *лыжня* и т. д.) перемещение ударения полезно, оправдано с фонетической точки зрения, так как устраняет нежелательную редукцию гласного в грамматически значимой позиции, ср.: *пѣтля*, *пѣтали*, *пѣтле* и т. д. — после мягких сонорных заударные гласные имеют низкую опознаваемость. Кроме того, новое, окончное ударение (*петля*, *петля*, *петле* и т. д.) создает четкую грамматическую оппозицию форм ед. и мн. числа; при этом редукция заударного гласного во мн. числе нейтрализуется увеличенным фонемным составом флексий: *пѣтля*, *пѣтлями*, *пѣтлях*. Таким образом, перемещение ударения (*пѣтля* > *петля*) полезно, целесообразно и в грамматическом смысле.

Не отрицая возможности внешнего воздействия (южновеликорусские говоры, украинский и белорусский языки) в качестве исходного импульса (*пѣтля* > *петля*), следует учитывать, что акт принятия новообразований, как правило, поддерживается их коммуникативной пригодностью (в данном случае преодоление фонетически слабых, но грамматически значимых позиций гласных) и наличием внутрисистемных аналогий; для окончного ударения *лыжня*, *пешня*, *рвань* имелись аналоги: *родня*, *мазня*, *возня*, *брежня*, *мотня*, *вашиня* и др.

Подобное явление наблюдается и у односложных и двусложных существительных мужского рода с твердой и в особенности с мягкой основой (*мост*, *груздь*, *уголь*, *локоть*, *стебель* и т. д.). Перемещение ударения на флексию в формах ед. числа и закрепление окситонированной (*мост*, -á --

²⁰ См.: «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 61—62; Л. Л. К а с а т к и н, Новая ступень в развитии системы гласных русского языка, сб. «Развитие фонетики современного русского языка», М., 1971.

²¹ См.: Л. В. Б о н д а р к о, Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем. АДД, Л., 1969; Л. В. Б о н д а р к о, Л. А. В е р б и ц к а я, О фонетических характеристиках заударных флексий в современном русском языке, ВЯ, 1973, 1.

²² Вариант *петля* зафиксирован у Багрицкого, Безыменского, Маршак, Заболоцкого, Светлова, Суркова, Исаковского, Алигер, Кирсанова, Кустова, Дудина, Берггольц, Васильевой, Городецкого, Горбюнского, Казаковой, Мартынова, Брауна, Ахмадулиной, Цыбина, Доризо. Данные анкетирования (ЛГУ, 1974) в контексте «Затянутая петля»: *петля* — 206, *пѣтля* — 41; в контексте «Петля Нестерова»: *петля* — 214, *пѣтля* — 25. Словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты нормы русского литературного языка» (Л., 1973) признает ударение *петля* допустимым вариантом нормы.

²³ Г. А. Ш е л у г о, Русское ударение, I, Ужгород, 1962, стр. 59.

мосты, -ов) или подвижно-окситонированной (*груздь, -я — грузди, -ей*) акцентной парадигмы фонологически оправдано, так как устраняет редукцию гласного в заударных флексиях ед. числа. Формы *улья, локтём, стебля* и т. п., пока бракуемые многими нормативными справочниками и относимые на счет местных языковых особенностей²⁴, широко представлены в живой речи и современной поэзии²⁵.

Учет фонетических предпосылок акцентологических изменений важен не только при историческом анализе, но и при нормативной оценке современного ударения (особенно, если принять во внимание возможность фонетической предсказуемости места ударения для некоторых групп слов). Очевидно, что структурно-морфонологический и социолингвистический аспекты, не всегда достаточные даже для синхронного описания (систематизации) ударения и его варьирования, при нормативно-историческом подходе должны быть дополнены рассмотрением объекта с фонетической и фонологической сторон.

Однако из этого не вытекает, что нормативная практика осуждена слепо следовать за всеми фонетически или фонологически оправданными акцентными изменениями. Критерий коммуникативной целесообразности не должен пониматься слишком упрощенно и утилитарно, подменяться прагматизмом. В понятие целесообразности входит и поддержка культурной традиции²⁶. Учитывая культурно-исторические ассоциации, нормативные словари вполне оправданно сохраняют «неудобные» для произношения акцентные варианты, например: *гайматовский, послушничать* и т. п. Справедливый приговор лингвист-нормализатор может вынести лишь на основе всестороннего и объективного анализа конкретных языковых фактов

²⁴ В. Б. Чернышев считал ударение *улья* способностью петербургского произношения («Русское ударение», СПб., 1912). Запрещение этого варианта некоторыми современными нормативными справочниками представляется необоснованным. Формы *улья, ульём* зафиксированы у Маяковского, Безыменского, Маршака, Твардовского, Тихонова, Грибачева, Авраменко, Р. Рождественского, Смирнова и других авторитетных современных поэтов. Данные анкетирования (ЛГЭ, 1974) указывают на предпочтительность нового варианта, в контексте «Тонна улья: улья — 167, улья — 75.

²⁵ Современные нормативные словари отвергают ударение *локтя, локтём*. Впрочем еще у А. С. Грибоедова: «Петрушка, вечно ты с обложкой, С разодраным локтем» («Горе от ума»). Наконецное ударение *локтём, на локте* зафиксировано у Тихонова, Божова, Краснова, Г. Васильева, Вс. Рождественского, Волобуевой. Формы *стебля, стеблём* впервые даны как допустимые акцентные варианты в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка»; наконецное ударение у них зарегистрировано у Брисова, Грибачева, Яшина, Мартынова, Аквилова, Гордейчева, Михалкова.

²⁶ См.: Ф. П. Филин, Об изучении общественных функций языка, ИАН ОЛЯ, 1968, 4, стр. 284—285; В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, Б. С. Шварцкопф, Теория речевой деятельности и культура речи, в кн.: «Основы теории речевой деятельности», М., 1974, стр. 304 и др.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. М. ЛОМОВ

КАТЕГОРИЯ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА И ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТЕКСТОМ

При анализе грамматических (морфологических) категорий в динамическом аспекте перед исследователем встает задача первостепенной важности — установить закономерности семантического взаимодействия форм, входящих в состав той или иной категории, с функционально однородными средствами других уровней языка, прежде всего с контекстом.

Известно, что первые попытки осмыслить характер «контекстуального поведения» грамматических форм были предприняты еще в традиционной русской лингвистике XIX в., т. е. задолго до того, как была осознана необходимость выделения динамического аспекта в качестве особой области лингвистических исследований¹. Они имели следствием разработку теории общих и частных значений грамматических форм, констатировавшей, что содержание формы может обогащаться в реальном речевом употреблении за счет контекстных семантических признаков, в результате чего и возникает серия комбинаторных (частных) значений.

В последующие годы усилия языковедов оказались, однако, направленными не столько на выявление новых, ранее не вскрытых типов функционально-семантического контакта грамматики и контекста, сколько на переработку старых идей. Накануне второй мировой войны отдельные представители структурального направления (прежде всего Р. Якобсон) идентифицируют теорию общих и частных значений с «общезыковой» теорией инварианта и вариантов (в своей «исходной» форме ориентированной на объяснение явлений фонологического уровня), трактуя ее как одно из возможных приложений последней, претендующее на роль универсального аналитического инструмента в сфере грамматики (в первую очередь — в морфологии)². Такая гипертрофия объяснительной силы теории явилась естественным следствием ее синтеза (в рамках универсальной гипотетической модели бинарных морфологических противопоставлений) с другой, русской «по происхождению», концепцией — теорией «нулевой категории», которая, как известно, утверждает, что в отдельных случаях грам-

¹ См., например: Н. П. Н е к р а с о в, О значениях форм русского глагола, СПб., 1865, стр. 94, 115, 307.

² См.: R. J a k o b s o n, Zur Struktur des russischen Verbums, «A Prague school reader in linguistics», Bloomington, 1964; е г о ж е, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, VI, 1936; е г о ж е, Signe zéro, «Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally», Genève, 1939.

математическая форма может не передавать никакого признака и в то же время быть значимой в силу своей соотносительности с противопоставленными ей формами³. В версии Р. Якобсона эта теория приобретает не свойственные ей черты универсальности и оказывается связанной с трудно доказуемым постулатом об обязательной двучленности всех морфологических категорий⁴.

Сведенные воедино, эти две теории призваны были, по мысли Р. Якобсона, отразить как однородность самой организации морфологического строя (якоби основанного на принципе бинарной привативности), так и характер взаимодействия грамматической семантики и семантики контекстуальной.

В полном соответствии с этой моделью аспектологи оперируют обычно двумя основными положениями: 1) вид есть бинарная привативная оппозиция, одна из противочленов которой — имперфективная форма — не выражает ни наличия, ни отсутствия признака, специализируемого перфективной формой; 2) наряду с антиномией совершенности — несовершенности существует антиномия общих и частных значений видовых форм⁵.

Противоречивость этих положений не сразу бросается в глаза, видимо, из-за несопадения двух возможных характеристик «нейтрального» члена оппозиции — несовершенного вида. Последний (как это предполагает сама логика теории «нулевой категории» и ее «усеченного» варианта — теории грамматической привативности) с точки зрения своего абсолютного значения является по существу неинформативным: он не выделяет ни один из аспектов названного действия и тем самым оказывается своего рода номинативным «нулем». В то же время в релятивном (интруктурном) плане он информативен в силу своей противопоставленности другому — «положительному» — члену оппозиции (совершенному виду).

Возникает, однако, вопрос: какие языковые значения — абсолютные (номинативные) или релятивные (интруктурные) — следует учитывать в функциональном описании? Сама специфика динамического аспекта предполагает анализ того, как на основе взаимодействующих друг с другом языковых элементов формируются «смыслы», которыми обмениваются в процессе общения говорящие. Поскольку же эти «смыслы» так или иначе соотносены с объективной реальностью, конструироваться они, естественно, могут только из абсолютных (номинативных) значений, представляющих собой продукт ориентации соответствующих языковых элементов на ту же объективную реальность, но отнюдь не из значений интруктурных, которые отражают положение этих элементов в системе однородных средств выражения и никакой информации о чем-либо, лежащем вне этой системы, не несут. Иными словами, релятивный принцип, полезный и необходимый при изучении языка в предметном бытии, в отвлечении от динамики его естественного существования, когда исследователя интересуют лишь элементы языка и их системные связи, фактически исключен в динамическом аспекте — при рассмотрении языка с точки зрения функционального взаимодействия различных его элементов. В последнем случае могут и должны учитываться только абсолютные (номинативные) значения этих элементов.

³ В наиболее полном виде эта теория сформулирована А. М. Пешковским (А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 28—29), хотя сама идея о существовании таких категорий высказывалась еще К. С. Аксаковым, Н. П. Некрасовым, а позднее Ф. Ф. Фортунатовым и А. А. Шахматовым.

⁴ R. Jakobson, Zur Struktur... стр. 347 и сл.

⁵ Такая точка зрения принята в работах Р. Якобсона, Ю. С. Маслова, Д. Форсага и ряда других лингвистов.

Но если признавать применительно к узкой задаче интерпретации категории вида, что, во-первых, вступать в контакт с контекстом могут лишь абсолютные значения видовых форм и что, во-вторых, абсолютное значение несовершенного вида есть номинативный (аспектуальный) «нуль»⁶, нельзя не заметить всей парадоксальности возникающей ситуации: дело представляется таким образом, будто «нулевой» инвариант обладает серией частных значений. Очевидно, однако, что контекстными средствами, выражающим такие аспектуально значимые признаки действия, как процессность (*Он сидит и читает*), кратность (*По понедельникам он занимается в библиотеке*), потенциальность (*Ребенок уже сам одевается = умеет одеваться*) и т. д., в данном случае нечего модифицировать. Эти средства выступают как первичные квалификаторы аспектуальной структуры глагольного действия (поскольку несовершенный вид не характеризует это действие в «абсолютном» аспектуальном плане), т. е. в сущности играют ту же роль, что и аналогичные средства в языках, не имеющих категории вида, например, в немецком. Естественно, что приписывать в этих условиях несовершенному виду серию частных значений — это все равно, что допускать, будто нуль, помноженный на какое-нибудь число, способен дать в произведении величину, отличную от нуля.

Указанные неувязки — а они свидетельствуют не только о невозможности приложения концепции Р. Якобсона к глагольному виду, но и вообще о логической несостоятельности этой концепции — не остались незамеченными в современной аспектологии. Именно они — пусть не всегда осознаваемые достаточно отчетливо — и явились, собственно говоря, причиной бурно протекающего в последнее десятилетие процесса перестройки объяснительной модели вида — процесса, который предполагает обычно отказ от использования теории «нулевой категории».

Путь поисков в этом направлении представляется, однако, не совсем оправданным. Нет сколько-нибудь серьезных оснований отказываться от трактовки несовершенного вида как «нулевого» члена противопоставления. Эта дефиниция, восходящая к А. А. Шахматову и А. М. Пешковскому, во-первых, учитывает уроки прошлого, свидетельствующие о невозможности сведения всех конкретных употреблений несовершенного вида к общему «положительному» знаменателю, и, во-вторых, вполне удовлетворительно объясняет случаи импликации (т. е. проникновения несовершенного вида в сферу обычного употребления совершенного вида), что является, как известно, камнем преткновения для самых разных объяснительных моделей видовой категории. Кроме того, принять тезис о «положительном» характере абсолютного значения несовершенности значило бы оставить без убедительного ответа вопрос: почему противопоставленные формы — совершенности и несовершенности — порождают в реальном речевом употреблении односторонние значения, например, кратности (*Сестра почти не бывает у нас, разве иногда з а б е г а е т с работы на минутку* и *Сестра почти не бывает у нас, разве иногда з а б е ж и т с работы на минутку*) и потенциальности (*Он легко п о д н и м а е т центнер* и *Он легко п о д н и м е т центнер*).

Более логичен иной путь преодоления выявленных противоречий: следует решительно отказаться от мысли об однородном характере взаимодействия грамматической и контекстуальной семантики и признать, что формы такого взаимодействия гораздо богаче и разнообразнее, чем те, которые предусматриваются «универсальной» теорией инварианта и вариантов. Применительно к виду можно, на наш взгляд, утверждать, что содержатель-

⁶ А этого не отрицает и сам Р. Якобсон, подчеркивая, что в привативной оппозиции «ничто» противопоставляется «ничему» (R. J a k o b s o n, *Signe zéro*, стр. 145).

ный контакт видовой формы и аспектуально значимого контекста⁷ строится на основе аддитивного принципа, предполагающего простое сложение их значений, в результате чего и создается аспектуальная характеристика действия. Контекст здесь является не модификатором видовых значений, лишь опосредованно — через категорию вида — участвующим в детерминации характера протекания действия во времени, а полноправным «партнером» видовых форм, вместе с ними определяющим коммуникативно значимые признаки действия. Более того, в случае неинформативности видовой формы он фактически становится единственным языковым средством, которое выполняет функцию «аспектизации» действия.

Такая постановка вопроса, естественно, определяет и сам характер анализа рассматриваемых явлений аспектуального плана. Этот анализ должен предполагать прежде всего инвентаризацию выражаемых контекстом аспектуальных значений, установление их совместимости (несовместимости) со значениями видовых форм и, наконец, описание основных типов аспектуальной характеристики действия с точки зрения ее состава: является ли она действительно суммарной величиной или же из-за неинформативности какого-то одного слагаемого фактически репрезентирована либо только видом, либо только контекстом.

Выделяемые индуктивным путем контекстные аспектуальные значения неоднородны по характеру своей «семантической дистрибуции»: одни из них могут быть сообщены действиям, выраженным глаголами, в любой видовой форме — перфективной или имперфективной, другие, наоборот, реализуются лишь в том случае, если глагол, называющий данное действие, «маркирован» морфемой несовершенности. В то же время не существует ни одного контекстного значения, которое было бы способно контактировать исключительно с семантикой совершенности и не реализоваться при употреблении глагола в несовершенном виде.

Контекстные значения, совместимые со значениями обоих видов, способны манифестироваться как бы на двух уровнях: 1) представлять аспектуальную характеристику действия в целом (в условиях видовой «нейтральности») и 2) быть составной частью этой характеристики (которая здесь представляет собой результат сложения семантики совершенности и семантики контекста).

Кратное значение предполагает наличие у действия в какой-то фиксированный временной промежуток (им может быть или момент речи, или момент, о котором идет речь) свойства воспроизводиться с определенной степенью регулярности. Это значение преимущественно реализуется при употреблении глаголов в несовершенном виде, который, будучи неинформативным в абсолютном плане, оказывается в принципе безразличным к тому, какой показатель кратности введен в предложение и к какому временному плану отнесены кратные действия: «Мы теперь *обедаем* в седьмом часу» (А. Чехов, Дядя Ваня); «Иногда я *зарабатываю* много денег, иногда — курам на смех» (К. Паустовский, Книга странствий); «И вдруг, осененная внезапной мыслью, она заговорила: „Вот я и *буду* туда *обеды носить!*“» (М. Горький, Мать); «Зато преподаватель литературы в старших классах Аркадий Никандрович постоянно *мне противоречит*» (В. Тендряков, Чрезвычайное).

Постановка глагола в совершенном виде существенно меняет статус контекстного значения кратности: оно уже не передает аспектуальную характеристику действия в целом, а становится лишь частью ее и в связи

⁷ Здесь и далее термин «аспектуально значимый контекст» понимается широко — как совокупность лексических, инфлексивных, синтаксических и других средств, определяющих тот ракурс (аспект), в котором подается данное действие.

с этим должно быть определенным образом согласовано со вторым слагаемым аспектуальной характеристики — со значением перфективной формы⁹. Последняя оказывается своего рода регулятором, определяющим и возможные пределы варьирования самого значения кратности, и временную сферу его реализации.

Легко заметить, что контекстные показатели кратности являются семантически неоднородными в силу различной передачи самой идеи повторяемости: одни из них непосредственно определяют степень регулярности повторяющихся действий (*часто, иногда, изредка, всегда*), вторые указывают на момент времени, о котором известно, что он носит циклический характер (*по понедельникам, вечерами*), третьи совмещают признак регулярности с признаком длительности (*подожду, целыми днями*) и т. д. Если несовершенный вид безразличен к характеру кратности (выбор здесь регулируется исключительно коммуникативными потребностями), то совершенный вид «отбирает» лишь те показатели кратности, которые не противоречат принципам экземплификации. Последний предполагает выделение одного акта, взятого в качестве «наглядного примера, иллюстрирующего собой общее положение, в качестве типичного представителя неограниченно повторяющегося, обычного действия»¹⁰. Такому условию обычно отвечают слова и конструкции 1-го типа (*иногда, время от времени* и пр.).

Временная сфера реализации кратного значения также достаточно узка: практически оно возможно лишь при употреблении соответствующего перфективного глагола в настоящем времени. Впрочем и здесь, как отмечает Ю. С. Маслов, «экземплифицированные действия возможны по преимуществу в рамках кратко-парной и кратко-цепной конструкции»¹⁰: «Как, бывало, увидят ее, так и побегут прочь» (А. Чехов, В почтовом отделении); «И все-таки она не забывала тетю Машу: прибежит, немного-словно сообщит свои новости или постирает замызганные комбинезоны» (В. Кетлинская, Вечер. Окна. Люди); «И лишь проходя мимо белой хаты с упавшим плетнем, Вячеслав Иванович задумается, порой даже остановится и вздохнет» (Изв. 27 XI 1970)¹¹.

Некоторые из славянских языков допускают суммирование кратности с перфективностью даже в прошедшем времени¹². Для русского языка непосредственный их контакт в этих условиях исключен (ср. невозможность сочетаний: *иногда прочитал, изредка пришел* и т. д.). И лишь, так сказать, окольным путем кратность может быть все-таки совмещена с перфективностью в прошедшем времени — на основе осмысления как повторяющихся во времени ситуаций, в рамках которых осуществляются те или иные действия: «Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: *мелькнул* и нет его» (Г. Троепольский, Белый Бим Черное ухо); «Выработалась нелепая привычка: если *встал* на лыжи, то жми изо всех сил» (В. Солоухин, На лыжне); «Теперь для всех четырех бортпроводниц началась главная работа. Закон авиасервиса: *встретил* пассажира на борту, тут же отсеки все, что способно влиять на твоё настроение» (Ком. правда 10 IV 1974).

⁹ Значение совершенного вида нами рассматривается как указание на достигнутое действием некоторой фиксированной точки своего развития.

¹⁰ Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 232.

¹⁰ Там же, стр. 245—246.

¹¹ О других условиях такого употребления см.: А. В. Бондарко, Л. Л. Вулавкин, Русский глагол, Л., 1967, стр. 69.

¹² См.: А. Т. Ширкова, Некоторые замечания о функциональных границах вида в русском и чешском языках, сб. «Исследования по славянскому языкованию», М., 1971, стр. 293.

Аналогичным же образом кратность суммируется с совершенностью и в плане будущего времени: «Скрипит снег, и тревожной синевой напуган воздух, и жиденько расплывается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свиарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь. Сейчас *пройдет* по утоптанному выгону, *снимет* тяжелый замок с дверей, навстречу мягко *ударит* спиртово перекипший воздух. Она *растопит* печь под котлом, а пока котел закипает, *засыплет* мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день» (В. Тендряков, Поденка — век короткий).

Реализация так называемого потенциального значения связана с необходимостью характеристики действия со стороны его взаимоотношений с деятелем: говорящий оценивает здесь возможности (способности) субъекта, который призван стать исполнителем данного действия.

В тех случаях, когда потенциальность репрезентирует аспектуальную характеристику действия в целом (т. е. при условии контакта с неинформативным несовершенным видом), в качестве возможных обычно квалифицируются такие действия, которые легко воспроизводятся по желанию субъекта: «Он был славный парень, и лучше всех в классе *рисовал*» (В. Драгуновский, Независимый Горбушка); «Я, правда, немного *рисую*, легко *запоминаю* разные звучные имена и лихо их *произношу*» (Ю. Нагибин, Переулки моего детства); «Он отлично *танцует*, *говорит* по-французски» (Л. Толстой, Юность). Самый факт обладания навыками может быть отнесен к любому из трех временных планов (ср.: *В десять месяцев ребенок уже ходил — Через месяц-другой ребенок будет уже ходить — Ребенок уже ходит*).

При употреблении глаголов в совершенном виде потенциальность (которая здесь становится лишь частью аспектуальной характеристики действия) акцентирует внимание на том, что субъект способен *о с у щ е с т в и т ь*, *исчерпать* какое-либо действие, причем само это действие может носить как разовый, так и кратный характер: «Мало ли что про вдову *набалтают*» (Д. Мамин-Сибиряк, Хлеб); «— А что, господа, как вы думаете, — спросил я, показывая пальцем на коршуна..., — можно ли попасть отсюда? *Попадете?*» (А. Чехов, Двадцать девятое июня); «Только в старых домах, где живут десятилетиями, *отважится* женщина выйти во двор в таком затрапезном виде» (Ю. Нагибин, Переулки моего детства).

Результативное значение предполагает перенос коммуникативного акцента с названного глаголом действия на последствия (результат) этого действия. Такой перенос допускается независимо от того, глагол какого вида — совершенного или несовершенного — употреблен в данном случае. Известно, однако, что результативность контактирует с семантикой несовершенности очень редко и при узком круге глаголов¹³. Временной диапазон результативности здесь тоже не отличается широтой — как правило, это значение реализуется только в прошедшем времени: «— А чем я плох? — усмехнулся Князев. — *Сидел? Воровал?* Что ж, глупый был, молодой, не теми дорожками ходил» (Л. Карелин, Микрорайон); «Как вырос, так и помрет, ничего не *видал*, ничего не *слыхал*. Вот она, мужицкая жизнь» (Сказка о барине и мужике).

Причина функциональной ограниченности результативности очевидна: поскольку несовершенный вид оставляет действие неохарактеризованным

¹³ В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1972, стр. 443.

в аспектуальном отношении, крайне неопределенным остается и время возможной смены действия его последствиями. Наоборот, действие, передаваемое глаголом совершенного вида, часто предстает как осуществленное, исчерпанное к моменту говорения (или к какому-то другому фиксированному моменту), а это значит, что последствия действия (если, разумеется, они достаточно очевидны) даны уже как существующие в тот же самый момент времени. Отсюда, естественно, результативность чаще всего реализуется при употреблении глаголов в совершенном виде: «Приходская наша церковь стара, невелика, иконостас *почернел*, стены голые» (И. Тургенев, Записки охотника); «У поводыря в густых кудрях сединам много серебрится да лицо *почернело* от ветра» (В. Гаршин, Сказание о гордом Аггее); «Олег — прямой, статный. Лицо красивое, молочно-восковой спелости. Черные брови *срослись* над прямым носом» (И. Грекова, Летом в городе).

По существующей традиции результативное значение рассматривается обычно в кругу частных значений прошедшего времени (т. е. фактически выводится за пределы аспектуальности). Поводом для этого, по всей вероятности, служит известный факт происходящего здесь смещения временного плана: хотя действие морфологически представлено как «прошедшее», его контекстуальный результат определяется как «настоящее». При этом далеко не всегда, однако, учитывается одно весьма существенное обстоятельство: результат может быть отнесен не только к плану настоящего, но и к плану прошедшего времени: «Когда пришли домой, Егор Семенович, уже *встал*» (А. Чехов, Черный монах); «Когда он проснулся, число пассажиров *уменьшилось* вдвое» (Л. Леонов, Русский лес)¹⁴.

Более того, в некоторых случаях (правда, сравнительно немногочисленных) результативность может реализоваться даже в будущем времени: «Наташа улыбалась, зная, что час за часом они будут чокаться. понемногу пить и помногу говорить, и у мужа к утру *набрякнут* мешки под глазами, а настроение будет размягченное и счастливое» (В. Кетлинская, Вечер. Окна, Люди); «Пройдет много лет, и в темный вечер, над которым *повиснет* такое же, как и тогда, небо, один из нас воскликнет...» (Ком. правда 2 II 1974).

Таким образом, значение результативности является регулярным: оно «проходит» через все три временных плана и в связи с этим оказывается как бы вынесенным за скобки по отношению к категории времени. Это, в сущности, обычная аспектуальная «прибавка» к действию, и не более. Разумеется, эта «прибавка» вносит определенные коррективы в темпоральную характеристику факта. Но подобные же коррективы вносятся и при сигнализации значений кратности и потенциальности, свидетельством чего могут служить традиционные споры о том, как соотносятся с моментом речи так называемые «неактуальные» действия.

Термин «нулевое» значение, конечно, достаточно условен, поскольку речь идет о тех случаях, когда контекст вообще не принимает участия в аспектуальной характеристике действия. И если мы все-таки говорим о «нулевом» значении, то лишь потому, что сам факт контекстного «нейтралитета» оказывается значимым на фоне других «положительных» значений. В условиях контакта «нулевого» контекстного значения с информативным в абсолютном плане несовершенным видом аспектуальная индифферентность контекста практически означает, что действие в аспектуальном отношении вообще остается неохарактеризованным. Оно просто названо, но его структура за коммуникативной ненужностью осталась нераскрытой. Сфера реализации «нулевого» значения узка и определена:

¹⁴ См. об этом: Н. С. Поспелов, О значении форм прошедшего времени на современном русском литературном языке, «Уч. зап. МГУ», 128. Труды кафедры русского языка, 1, 1948, стр. 124.

это простое сообщение (или вопрос) о факте, который интересует говорящего лишь с одной стороны — имел он место или нет: «Вальдшнепы еще не *прилетали*» (И. Тургенев, Записки охотника); «Кирилл нарушил нестерпимую немому: „Ты *встречалась* с Цветухиным?“» (К. Федин, Первые радости); «— Я же вас *предупреждал*, — сказал директор» (Д. Гранин, Место для памятника).

В «чистом» виде рассматриваемое значение реализуется исключительно в прошедшем времени (что в общем-то с исторической точки зрения вполне объяснимо: оно восходит, как известно, к значению одного из прошедших времен — аориста). В других временных планах оно полностью или частично вытесняется «положительными» значениями.

При совмещении «нулевого» контекстного значения с перфективностью аспектуальная характеристика действия определяется исключительно морфемой совершенного вида, т. е. перед нами тот случай, когда значение грамматической формы предстает в не осложненном контекстом виде. Примечательно, что даже исследователи, склонные видеть здесь одну из контекстных модификаций совершенности, констатируют, что данное значение «в наименьшей степени зависит от контекста»¹⁵.

Именно эта независимость от контекста является причиной широкого и свободного употребления глаголов совершенного вида в собственно грамматическом их значении как в прошедшем, так и в будущем времени: «Ващенко *пошевельнулся* наконец, *оторвал* взгляд от устало выброшенных на стол рук, *взглянул* на меня запавшими глазами» (В. Тендряков, Чрезвычайное); «Они *посмотрели* влед мальчику» (Д. Гранин, Кто-то должен); «— Товарищ директор, я *прицепщика позову*, Ванюшку» (В. Соколов, На степной реке)¹⁶.

Контекстные значения, несовместимые со значением совершенного вида, не терпят никаких ограничений и могут быть реализованы только в том случае, если вид неинформативен со стороны абсолютного значения. Поскольку данному условию удовлетворяет только имперфективная форма, именно она и обладает способностью контактировать с данными значениями. Во всех случаях такого контакта аспектуальная характеристика действия определяется исключительно контекстом.

Конкретно-процессное значение представляет действие как развертывающееся во времени и, стало быть, как незавершенное, неисчерпанное в момент речи (для настоящего времени) или в какой-либо другой фиксируемый момент (для форм прошедшего и будущего времени): «Селенин *показал* рукой: „Смотрите, язь *играет*. Ишь *блестит*!“» (Д. Гранин, Кто-то должен); «Я *вошел* к нему, когда он *сидел*, согнувшись над своим письменным столом» (В. Гаршин, Надежда Николаевна); «Я *буду сидеть* и *курить* трубку. Маша с утюгом пройдет на кухню. Я скажу: „Позовите Машу!“» (Л. Толстой, Отрочество).

Наглядность в изображении событий, которая задается конкретно-процессным значением, разрешена широкому кругу глаголов. Однако здесь имеются определенные ограничения. Любой намек на возможное завершение действия вступает в противоречие с самой идеей процессуальности. Поэтому существует целый ряд глаголов несовершенного вида (*прочитывает*, *приезжает* и под.), употребление которых в конкретно-процессном значении невозможно. Так, по-русски нельзя ответить на вопрос: *Что он сейчас делает?* фразой типа: *Он читает газету*. Здесь употребляется соответствующий бесприставочный глагол *читает*.

¹⁵ А. В. Бондарко, Л. Л. Буланов, Русский глагол, стр. 22.

¹⁶ В настоящем времени это значение вытесняется значениями краткости или потенциальности.

Не могут также участвовать в передаче процессности и некоторые другие глаголы: тотивные (по терминологии Д. Грубора¹⁷), многократные и т. д.

Констатирующее значение в известной степени является противоположностью конкретно-процессного. Различие между ними определяется не столько общими контекстными условиями, сколько непосредственно глагольной семантикой. В констатирующем значении обычно употребляются глаголы, неспособные отражать поступательное развитие событий. Это скорее знаки отношений, которые существуют между предметами и явлениями объективной действительности. Поскольку же данные отношения мыслятся как достаточно стабильные, их временное проявление оказывается по существу неограниченным (отсюда широкое употребление гермина «постоянно-непрерывное значение»). Но говорящий обычно и не ставит своей задачей определить, как долго могут существовать эти отношения, он лишь констатирует их наличие в момент речи или в какой-либо другой момент: «Дом *выходил* окнами в поле» (Д. Гранин, Вариант второй); «Деревня Бесселендеевка *отстояла* всего на восемь верст от Бессонова» (И. Тургенев, Записки охотника); «От того, как будет построен корпус, *будут* в конечном счете *зависеть* и все мореходные качества корабля» (В. Кочетов, Журбины); «В еловых шишках много смолы, и потому они *всят* гораздо больше сосновых» (К. Паустовский, Корзина с еловыми шишками).

Круг глаголов, репрезентирующих констатирующее значение, достаточно широк. Сюда относятся глаголы со значением постоянного бытия или наличия (*находиться, принадлежать, наличествовать*), глаголы со значением названия (*именовать, называть*), глаголы со значением установления эквивалентности или характерных параметров предмета (*взвесить, стоить, насчитывать*) и т. д.

К в а л и ф и к а т и в н о е з н а ч е н и е представляет собой своего рода промежуточный случай между конкретно-процессным и констатирующим значениями. Оно фиксирует как существующую в тот или иной период связь субъекта с глагольным признаком, который в принципе может быть представлен как процесс, но в данный период не реализуется, не развертывается во времени: *Мой брат к у р и т, Лошади е д я т овес, Она п о е т в горе* и т. д. (поскольку говорящий считает важным здесь определить какие-то типичные свойства субъекта).

З н а ч е н и е з а п л а н и р о в а н н о с т и действия. В ряде случаев глаголы несовершенного вида называют такие действия, которые интерпретируются контекстом как планируемые в момент речи к исполнению: «Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я *поступаю* на сцену. Завтра меня здесь не будет, я *ухожу* от отца, *начинаю* новую жизнь» (А. Чехов, Чайка); «Нынче в ночь я *еду* в Москву и *беру* вас с собой» (Л. Толстой, Детство); «Завтра утром я *уезжаю* из Петербурга» (Ф. Достоевский, Униженные и оскорбленные).

Как правило, такое употребление глаголов несовершенного вида не рассматривается в аспектологии на том основании, что здесь якобы имеет место переносное употребление формы настоящего времени. С этим мнением довольно трудно согласиться, поскольку значение запланированности является регулярным — оно нередко реализуется в прошедшем времени: «Машина, с которой ей надо было ехать, *уходила* в семь часов» (К. Симонов, Последнее лето); «Сейчас из приезжих осталась только семья одесского учителя по фамилии Бачей — отец и два мальчика... Но и они

¹⁷ Д. Г р у б о р, Отрывок из книги «Видовые значения», сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 76.

сегодня покидали дачу» (В. Катаев, Белеет парус одинокий); «Московский поезд отправлялся ровно в двенадцать. Оставался ровно час» (Ф. Достоевский, Ушаженные и оскорбленные).

Естественно, что как всякое регулярное значение, определяющее структуру действия если не во всех, то по крайней мере в двух временных планах, оно должно быть отнесено к числу аспектуальных.

Анализ выделенных контекстных значений¹⁸ и их взаимоотношений с семантическим содержанием видов не позволяет, таким образом, рассматривать аспектуальную характеристику действия как явление достаточно однородное с точки зрения способа ее содержательной репрезентации. Это нестабильная величина, которая может: а) представлять собой семантический комплекс, складывающийся из значения совершенного вида и значения, сигнализируемого контекстом (кратности, результативности, потенциальности); б) совпадать по семантическому объему со значением совершенного вида; в) определяться исключительно контекстом, принимающим на себя роль экспликатора признаков кратности, потенциальности, процессности и т. д.; г) быть номинативным «нулем», т. е. не выделять ни один из аспектов названного глаголом действия. Иными словами, аспектуальная характеристика действия не должна отождествляться с явлениями какого-то одного плана — грамматического, контекстуального или, наконец, контекстуально-грамматического. Она способна быть и тем, и другим, и третьим — в зависимости от того, как в данном конкретном случае взаимодействуют видовое значение и значение, сигнализируемое контекстом.

Если принять предлагаемую трактовку, вид, конечно, нельзя считать гетерогенной категорией, передающей (пусть вместе с контекстом) самые разнообразные признаки — от временных до модальных (именно такой вывод заставляет делать привлекаемая для объяснения вида теория общих и частных значений)¹⁹. Наоборот, он предстает как узкоспециализированная система грамматической актуализации лишь одного из возможных аспектов действия — система, особым образом согласованная с комплексом неграмматических (контекстуальных) средств, передающих д р у г и е — действительно гетерогенные — аспекты глагольных действий.

•

Каковы объяснительные возможности рассматриваемой (аддитивной) модели функционально-семантического взаимодействия грамматических форм и контекста? Приложима ли она только к виду, или же с помощью ее можно интерпретировать какие-то другие языковые факты? Ответ на эти вопросы дадут, очевидно, лишь конкретные исследования. Вполне допустимо, что в процессе таких исследований будут обнаружены новые, пока еще не выявленные типы содержательных контактов грамматики и контекста. Вскрыть характер этих контактов, определить сферу возможного действия обнаруженных закономерностей (а не генерализовать лишь какую-то отдельно взятую закономерность) — такова одна из задач языковедения, если оно действительно ставит целью описать свой объект во всей его сложности и многоаспектности.

¹⁸ Достаточно очевидно, что их можно представить в более дифференцированном виде, однако в данном случае это не меняет существа дела.

¹⁹ Ср. замечание К. Шнейдера о том, что грамматическая категория вида «не покрывает гомогенную понятийную категорию» (K. S c h n e i d e r, Der russische «Aspekt» als Sonderfall eines allgemeineren Aspektbegriffes, «Scando-Slavica», XIII, 1967).

И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ

О РЕГУЛЯРНОМ ПРИРАЩЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ
ПРИ СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Системность языка неизбежно ведет к тому, что он должен обладать и такими единицами, которые не отражают объективную действительность, а служат лишь для организации самой системы. Наличие в языке асемантических элементов логически неизбежно приводит к вопросу о том, возможно ли существование в языке значений, не имеющих материального воплощения. То, что такие значения существуют в речи, не вызывает ни у кого сомнения¹. Теоретическое осмысление этого вопроса можно найти у В. З. Панфилова, который пишет: «...содержание, выражаемое в процессе речи, отнюдь не является простой суммой тех языковых единиц, которые используются в этих целях»². Различного рода «приращения значения» можно обнаружить в процессе функционирования языка на разных уровнях. Например, на морфологическом: *Я взял такси* (ясно, что взята одна машина, хотя формально это никак не выражено). Или на лексико-семантическом уровне: *Как начал работать, стал откладывать на «Москвича»*. Каждому ясно, что стал откладывать именно деньги, именно на покупку и именно автомобиля, хотя ни первое, ни второе, ни третье в самом предложении не названы.

Методологически существование значения, не выраженного формально буквами, звуками, интонацией или порядком слов, вполне допустимо. Каждое новое естественно-научное открытие — материальных частиц, полей и т. д. — означает конкретизацию философского понятия материи, поскольку раскрывает новые способы, формы воздействия на наше сознание, новые источники ощущений.

Еще в работах представителей казанской лингвистической школы было показано, что значение слова в целом есть не просто сумма значений составляющих его морфем³. Из существования этого явления делались различные выводы. Указывалось, в частности, что значение аффикса определяется как остаток от вычитания из общего значения слова (уменьшаемое) значения корневой морфемы (вычитаемое)⁴. Тогда каждый аффикс получает практически необозримое количество весьма разнородных значений. Так, например, суффикс *-ник* в *кофейник* имеет при такой постановке вопроса значение «сосуд, служащий для заварки». Тот же суффикс в *теглатник* значит «помещение для содержания». Без сомнения, среди русских аффиксов существуют омонимы. Однако число таких омонимов заведомо ограничено (например, *-ник₁* со значением лица и *-ник₂* со значе-

¹ См.: Н. Д. А р у т ю н о в а, Понятие пресуппозиции в лингвистике, ИАН ОЛЯ, 1973, 1.

² См.: В. З. П а н ф и л о в, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 230.

³ См., например: В. А. Б о т о р о д и ц к и й, Общий курс русской грамматики, М., 1935.

⁴ См.: Н. М. Ш а н с к и й, Очерки по русскому словообразованию, М., 1968, стр. 49.

нием предмета) и не может отразить всего многообразия значений, включаемых в аффикс при описанной выше постановке вопроса.

Естественной реакцией на такой подход является точка зрения, объявляющая всякое производное слово фразеологичным. Таким образом, «приращенное» в процессе словообразования значение, во-первых, выносится за пределы значений составляющих слово морфем. Во-вторых, само это значение рассматривается как абсолютно непредсказуемое⁵.

Своеобразным компромиссом между двумя названными подходами является подход, принятый В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым⁶. Эти авторы вообще не определяют значений аффиксов, подробно описывая семантические группы содержащих эти аффиксы слов. Стремление к компромиссу находим и в работе М. Я. Гловинской, которая пишет: «...возникает задача — для каждой словообразовательной морфемы найти оптимальное число значений (разрядка наша. — И. М.), так, чтобы, с одной стороны, были объяснены словообразовательные механизмы языка, а с другой — чтобы число значений аффиксов было относительно невелико»⁷. Конечно, стремление «найти оптимальное число значений» — верная стратегия при решении чисто технической задачи. Однако вряд ли это правильный подход при решении принципиальной проблемы. Прежде чем пытаться решить проблему принципиально, необходимо в явном виде уточнить некоторые вопросы семантических связей между производным и производящим.

Слово является семантически производным тогда и только тогда, когда производящее включается в толкование его значения⁸. Однако не всегда можно однозначно ответить на вопрос, как следует толковать значение производного слова⁹. Видимо, целесообразно считать слово семантически производным уже в том случае, если значение производящего может быть включено в толкование производного¹⁰. Однако и при этом доущенная большая группа слов, формально членяемых, выступает как семантически нечленяемая¹¹ (*председатель, секретарь, столбняк, валун, артист, плотник* и мн. др.), финалы приведенных слов имеют статус субморфов¹², что отражает асимметрию между формальной и содержательной структурой слова.

Известно, что существительные со значением лица могут быть образованы от существительных (*горбун*), прилагательных (*хитрец*), глаголов (*учитель*), а также от словосочетаний относительных прилагательных с существительными (*анонимные письма — анонимщик, буровой мастер — буровик*)¹³. В последнем случае формально в качестве производящей основы выступает с теми или иными модификациями морфологическая основа

⁵ См.: «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М. 1968, стр. 111—114.

⁶ См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970.

⁷ См.: М. Я. Г л о в и н с к а я, Морфемная членность слова в связи с его фразеологизацией, сб. «Актуальные проблемы русского словообразования», I, Самарканд, 1972, стр. 92.

⁸ См.: Г. О. В и к о к у р, Заметки по русскому словообразованию, в кн.: «Избр. работы по русскому языку», М., 1955, стр. 421.

⁹ См.: М. Я. Г л о в и н с к а я, указ. соч.

¹⁰ См.: И. С. У л у х а н о в, О принципах описания значений словообразовательно мотивированных слов, ИАН ОЛЯ, 1970, 1.

¹¹ См. о разных степенях членности в связи с производностью, в частности: Н. А. Я н к о - Т р и в и д к а я, Членность основы русского слова, ИАН ОЛЯ, 1967, 4.

¹² См.: В. Г. Ч у р г а н о в а, О предмете и понятиях фовоморфологии, ИАН ОЛЯ, 1967, 4.

¹³ См.: Д. Н. Ш м е л е в, О третьем измерении лексики, «Р. яз. в шк.», 1971, 2.

относительного прилагательного. Однако сама эта основа относительного прилагательного представляет собою результат синтаксической деривации соответствующих существительных и прилагательных¹⁴. Поэтому в настоящей статье производные существительные со значением лица, соотносимые со словосочетанием «относительное прилагательное + существительное», рассматриваются как семантически образованные не от соответствующих прилагательных, а от мотивирующих эти прилагательные существительных и глаголов. Такое решение представляется оправданным по следующим причинам. Во-первых, только таким образом может быть поставлена на практике задача синтеза значения слова на основе значений составляющих его морфов: в слове *буровик* нет никаких следов слова *мастер*, зато налицо морфемы, обозначающие лицо и характер действия, определяющего это лицо. Во-вторых, некоторые производные существительные со значением лица могут рассматриваться и как семантически мотивированные непосредственно соответствующими существительными и глаголами¹⁵. Например, *портовик* — *портовый работник* (образование от *портовый*) и *работник порта* (образование от *порт*); *отставник* — *отставной* (прилагательное) *военный* и *отставленный* (причастная форма глагола) *военный*; *рыбник* — *работник рыбной промышленности* и *специалист по рыбе*; *ленинградец* — *ленинградский житель* и *житель Ленинграда*. Разумеется, всюду речь идет о семантической мотивации. Вопрос о связи формальной мотивации с семантической не ставится, хотя очевидно, что формальная мотивация при множественности семантических может быть единственной. Например, названия лиц, семантически мотивированные собственными именами, формально образованы от относительных прилагательных, мотивированных соответствующими собственными именами, с усечением *-ск*: *эпикурец* «последователь Эпикура» образовано формально не от *Эпикур* (необъяснимо наращение *е*), но от *эпикурейский* с усечением *-ск* (ср. *гегельянский* — *гегельянец*, *бакинский* — *бакинец* и др.).

Отказ от рассмотрения словосочетаний относительных прилагательных с существительными в качестве основы для образования названий лиц требует включения в «приращенное» в процессе словообразования значение весьма индивидуальных и нерегулярных семантических элементов.

Нами рассмотрены те существительные со значением лица из «Обратного словаря русского языка», которые содержат суффиксом *-ист*, *-ун*, *-ник*, *-чик* (*щик*), *-тель*, *-ак*, *-ар*, *-ок*, *-ик*, *-ец* (10 суффиксов). С помощью именно этих суффиксов, как известно, образуется наибольшее количество существительных со значением лица. Привлечены не все существительные с этими суффиксами, а только те, которые включены в «Словарь русского языка» С. И. Ожегова. Такой объем выборки представляется достаточным для того, чтобы подтвердить предлагаемые выводы.

Существительные с суффиксом *-ист* имеют только значение лица. Характер отношения лица (значение суффикса) к предмету (значения производящей основы существительного) может быть различным; 1) лицо, которое занимается предметом (*спиннингист*, *авиаинженерист*), причем характер этих занятий также может различаться. Это могут быть просто занятия, как в приведенных выше примерах (немаркированный член), либо 2) занятия профессиональные (*органист*, *таксист*, *напортист*, *бульдозерист* и т. д.); 3) третий случай характеризует

¹⁴ См.: Е. Курлович, Деривация лексическая и синтаксическая, в его кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962.

¹⁵ См. о множественности словообразовательной мотивации, например: В. Лопатин, И. Улуханов, О принципах словообразовательного анализа и классификации морфов, «Р. яз. в нац. шк.», 1969, 5.

занятия как превышающие обычную норму: *службист* — тот, кто занимается службой с большим усердием, чем это обычно принято. Разумеется, нет непреходимых границ между тремя отмеченными «степенями занятий»: например, *мотоциклист* — лицо, занимающееся мотоциклом в 1 и 2 значениях и т. д.; 4) лицо, которое работает (или учится) в...: *штабист, правдист, гимназист, лицеист, чекист*; 5) лицо, которое принадлежит к... (включено в...): *активист, резервист*; 6) лицо, которое следует идеям, взглядам: *буддист, идеалист, материалист, троцкист*; 7) лицо, которое создает (делает): *очеркист, фельетонист, сценарист, каламбурист*. Нет четких границ между указанным значением и значением «профессионально занимается» (*массажист, рекламист*). Однако необходимо отметить, что если в 1) речь идет об объекте занятий, то в 7) — о результате занятий. Ср. невозможность интерпретации по типу 7) таких слов, как *тракторист, виолончелист*; 8) лицо, которое имеет (обладает): *рекордист, значкист, медалист*.

Существительные с суффиксом *-ун* в подавляющем большинстве имеют значение лица. Этот суффикс сочетается с основами глаголов и существительных. При этом лицо (суффикс *-ун*) может характеризовать следующее отношение к действию (производящий глагол): 1) лицо, которое просто производит действие: *лгун, шалун*; 2) лицо, которое умеет производить действие: *плясун, саистун*; 3) лицо, которое профессионально производит действие: *бегун, прыгун*; практически здесь представлены только наименования спортсменов; 4) лицо, которое любит производить действие, производит его чаще, больше, чем обычно принято: *крикун, говорун, хлопотун, хозотун*; 5) присоединяясь к существительным, суффикс *-ун* обозначает лицо, которое обладает предметом, названным производящей основой: *горбун*.

Принято выделять два омонимичных суффикса: *-ник*, со значением лица и *-ник₂*, со значением предмета; *-ник₁* присоединяется к основам существительных и глаголов, но не к основам прилагательных. Присоединяясь к глагольным основам, суффикс *-ник₁* может обозначать следующие отношения лица к действию: 1) лицо, которое просто производит действие: *баловник, изменник, кочевник*; 2) лицо, которое профессионально производит действие: *подрыжник*; 3) лицо, которое производит действие чаще, больше, чем обычно принято: *угодник*; 4) лицо, которое есть объект действия: *призывник, выпускник*. Впрочем последний пример может быть истолкован и как «включенный в выпуск», «принадлежащий выпуску».

Присоединяясь к именам существительным, суффикс *-ник₁* обозначает лицо, отношение которого к предмету, названному производящей основой, может быть следующим: 5) лицо, которое просто занимается предметом: *лыжник, ябедник, сплетник*; 6) лицо, которое профессионально занимается предметом: *рыбник, медник, кожник, глазник, огородник* и мн. др.; 7) лицо, которое занимается предметом больше, чем это обычно принято: *бабник, грибок, лошадиник* и т. д.; 8) лицо, которое работает (учится) в...: *школьник, колхозник, таможенник*; 9) лицо, которое принадлежит к... (включено в..., находится в..., пребывает в...): *одноклубник, острожник, таежник, пленник*. Возможно отнести и к 8) и к 9) слово *целинный*, нет четкой границы между 5) и 9) в слове *ятежник*, к 5), 8) и 9) можно отнести слово *полярник*; 10) лицо, которое производит (делает, создает): *песенник, бумажник, трикотажник*; 11) лицо, которое обладает (имеет): *льготник, первока테고жник, отпусник*. Возможны омони-

мические отношения между 1) и 6): *туберкулезник* «тот, кто имеет туберкулез» и «тот, кто профессионально занимается туберкулезом»¹⁶.

Существительные с суффиксом *-чик* (*-щик*) могут обозначать по преимуществу лицо. Присоединяясь к глагольным основам, указанный суффикс образует существительные, отношение которых к действию, обозначенному глаголом, может характеризоваться следующим образом: 1) лицо, которое просто производит действие: *потатчик*, *обманщик*, *погонщик*; 2) лицо, которое производит действие профессионально: *считчик*, *регулирующий* (в значении «упорядочивать, налаживать»), *формовщик*, *летчик*; 3) лицо, которое производит действие чаще, чем это принято: *спорщик*.

Присоединяясь к основам существительных, суффикс *-чик* (*-щик*) обозначает лицо, отношение которого к предмету, названному производящим словом, может характеризоваться следующим образом: 5) лицо, которое просто занимается предметом: *волокитчик*; 6) лицо, которое профессионально занимается предметом: *краснодеревщик*, *гранитчик*, *паркетчик* и т. д.; 7) лицо, которое занимается предметом больше, чем это обычно принято: *цитатчик*; 8) лицо, которое работает (учится) в ...: *газетчик*, *забойщик*, *тюремщик*, *банщик*, *гардеробщик*; 9) лицо, которое принадлежит к... (участвует в..., включено в...): *заговорщик*, *пикетчик*, *гонимый*; 10) лицо, которое создает (делает, производит): *фальшивомонетчик*, *докладчик*, *жалобчик*. Не всегда ясна граница между 10) и 5), 6), а также 1) и 2) в словах *разводчик*, *растратчик*, *налетчик*; 11) лицо, которое имеет (обладает): *защобчик*, *пайщик*, *трактирщик*, *подрядчик*.

Принято выделять два омонимичных суффикса: *-тель*₁ со значением лица и *-тель*₂ со значением предмета; *-тель*₁ обозначает лицо и может характеризовать его следующим отношением к действию: 1) лицо, которое просто производит действие: *обследователь*, *поджигатель*; 2) лицо, которое профессионально производит действие: *преподаватель*, *заместитель*, *исследователь*.

Суффикс *-ец* может присоединяться к основам существительных, прилагательных и глаголов, имея значение лица: 1) сочетается с прилагательными, суффикс *-ец* указывает на то, что лицо обладает данным признаком: *подлец*, *счастливый*, *ревнивец*; 2) сочетается с глаголами, указанный суффикс обозначает лицо, которое просто совершает данное действие: *страдалец*, *скиталец*, *дачевладелец*; 3) лицо, которое производит действие профессионально: *торговец*, *продавец*.

Сочетаясь с существительными, суффикс *-ец* образует существительные со значением лица, которое следующим образом относится к предмету, названному производящей основой: 4) лицо, которое профессионально занимается: *краснодеревец*; 5) лицо, которое работает в...: *охотничья*, *гостиница*; 6) лицо, которое находится в... (живет) в..., в а...: *ленинградец*, *кавказец*, *саратовец*; 7) лицо, которое следует идее м., взглядам: *ленинец*, *этикуреец*, *гегельянец*; 8) лицо, которое имеет: *троеженец*, *однофамилец*.

Суффикс *-ак*, как и другие следующие ниже суффиксы, употребляется значительно реже, чем суффиксы, указанные выше. Имена существительные со значением лица, образованные с помощью суффикса *-ак*, могут характеризоваться следующими семантическими отношениями между

¹⁶ Существительные *рыбник*, *кожник*, *глазник*, *бумажник*, *трикотажник* могут интерпретироваться и как мотивированные формально прилагательными *рыбный*, *кожный* и т. д.: тогда в этих существительных — суффикс *-ик*. Содержательно указанные производные существительные можно возводить к словосочетаниям относительных прилагательных с существительными.

производящей и производной основой. В образованиях от прилагательных: 1) лицо, которое обладает признаком: *добряк, пошлак, бедняк, толстяк*; 2) образование *левак* может быть интерпретировано как «лицо, имеющее «вагляды» или как «лицо, занимающееся ... работой»; 3) *горлак* имеет значение «лицо, профессионально занимающееся (горным) делом»; образования от существительных *морак, степняк, рыбак* характеризуют лицо соответственно по 4) месту деятельности, 5) месту пребывания и 6) объекту любительских или профессиональных занятий; 7) *вожак* называет лицо, совершающее действие (в одном из многих значений глагола).

Имена существительные с суффиксом *-арь*, обозначающие лиц, могут быть образованы от прилагательных, существительных и глаголов. При этом: 1) обозначение лица, мотивированное прилагательным, характеризуется наличием данного признака: *дикарь*; 2) обозначение лица, мотивированное глаголом, указывает на то, что действие совершается профессионально: *лекарь, пекарь, косарь*, 3) либо просто совершается: *буитарь*. Впрочем последний пример может быть истолкован и как «лицо, участвующее в...». Обозначение лица, мотивированное существительным, указывает либо на 4) объект занятий: *пушкарь, свилярь, псарь*, либо на 5) место работы: *библиотекарь, аптекарь*.

Обозначающие лиц существительные с суффиксом *-ок* характеризуются следующими семантическими отношениями производной и производящей основ. При отглагольном словообразовании это либо 1) лицо, просто совершающее действие: *едок, стрелок (бащеный)*, либо 2) лицо, которое умеет производить действие: *стрелок (хороший)*, либо 3) лицо, являющееся объектом действия: *выкормок, недомосок*. При образовании от имен существительных реализуется значение 4) лицо, обладающее признаком: *малолеток, семилеток* (только в сложных образованиях такого типа).

Имена существительные со значением лица могут быть образованы и с помощью суффикса *-ик*. В этом случае семантически отношения между производным и производящим могут характеризоваться следующим образом: 1) лицо, обладающее признаком: *передовик* (образование от прилагательного); 2) лицо, которое просто производит действие: *жулик*; 3) лицо, которое профессионально производит действие: *буровик*.

При словообразовании от существительных возникают следующие семантические связи: лицо, охарактеризованное по 4) предмету любительских (*алкоголик*) или 5) профессиональных занятий: *халмик, кадровик, мостовик*; 6) по месту работы: *биржевик, портовик*; 7) по принадлежности к коллективу: *академик*; 8) по местонахождению: *фронтвик, тыловик*; 9) по объекту создания: *шумовик, прогамик*. Впрочем 9) не всегда четко противопоставлено 5)¹⁷.

Все изложенное может быть сведено в таблицу (см. табл. 1).

Разумеется, предложенное построение страдает определенным схематизмом. Причина этого схематизма состоит в том, что изложенные соображения представляют собою попытку описать лишь наиболее общие закономерности. Эти закономерности нигде, пожалуй, не выделяются с большими трудностями, чем при анализе значений. Именно по этой причине в приведенных рассуждениях отсутствует анализ уникальных семан-

¹⁷ Существительные *буровик, кадровик, мостовик, биржевик, портовик, фронтвик, тыловик, шумовик* формально образованы от относительных прилагательных, от которых в этих образованиях сохранился суффикс прилагательного *-ов*. Семантически указанные существительные можно интерпретировать как образования от словосочетаний относительных прилагательных с существительными.

Таблица 1

Значения производных	Суффиксы									
	-ист	-ум	-ник	-чик (-щик)	-тель	-ец	-ак (-як)	-орь	-ок	-ек (-еши)
Лицо, которое обладает признаком						+	+	-		+
Лицо, которое просто производит действие		-	+	-	+	+		+	-	+
умеет профессионально		+	+	+	+	+		+	-	+
больше, чем обычно		+	-	-						
Лицо, которое является объектом действия									+	
Лицо, которое просто занимается предметом	+		+	+			+	+		-
профессионально	+		+	+		+	+	+		+
больше, чем обычно	+		+	+			+			+
Лицо, которое работает (учится) в...	+		+	+		+	+	+		-
Лицо, которое принадлежит к...	+		+	+						+
Лицо, которое находится в...			+			+	+			+
Лицо, которое следует идеям...	+					+	+			
Лицо, которое создаст (делает, производит)	+		+	+						+
Лицо, которое пишет	+	+	+	+		+			+	
Лицо, которое участвует...				+				+		

тических приращений, представленных в таких образованиях, как *снолач*, *декабрист*, *середняк*, *вратарь*, *оптовик*. Однако причины схематизма предложенного описания не исчерпываются указанным выше принципиальным соображением. Существуют и некоторые более частные причины. Эти причины сводятся к следующим положениям. Во-первых, предложенные определения характера семантических отношений между производным и производящим иногда выступают как слишком общие. Так, например, *рыбак*, *скрипач* и *свинарь* не просто профессионально занимаются рыбой, скрипкой или свиноводством, но соответственно ловят, играют и выращивают. Во-вторых, подчас неясно, какое из многих значений производящего слова следует включать в толкование значения производного слова. Ср. такие слова, как *подписчик*, *ответчик* и др. В-третьих, в толкование ряда производных слов, помимо уже отмеченных моментов, должны были бы быть включены еще и дополнительные сведения. Например, *регулирующий* — не просто тот, кто профессионально регулирует все, что угодно, но именно уличное движение; *писатель* — не просто тот, кто профессионально пишет вообще, но именно художественные произведения. Впрочем последний пример может быть сведен к случаю второму (*пишет* = *создает художественные произведения*).

Отмеченные упрощения схемы по сравнению с реальной языковой действительностью, однако, не отменяют целого ряда принципиальных положений, которые вытекают из предложенного анализа материала. Во-первых, приращенное в процессе словообразования значение оказывается

весьма ограниченным по своей сущности. Если не учитывать характер участия в том или ином действии или занятии, то таких приращенных значений для названий лиц оказывается около десяти.

Во-вторых, выбор из указанного числа приращенных значений происходит как результат взаимодействия между значениями производящей основы и суффикса. Например, личное имя собственное + суффикс *-ец* получает в качестве дополнительного значения — «последователь идей», имя существительное + суффикс *-ун* реализует дополнительное значение «имеет, обладает».

В-третьих, как можно видеть, выбор дополнительного значения определяется еще и социальными условиями функционирования языка. Именно эти условия позволяют, например, утверждать, что в слове *писатель* в русском языке в настоящее время не может быть реализовано такое значение, как «умеющий». Ведь писать в наше время умеют все, следовательно, этот признак не может быть характеристикой лица. Самый характер предмета, обозначаемого производящей основой, уже может в определенной степени предопределять те дополнительные значения, которые могут актуализироваться в производном. Например, отношения лица к колхозу могут быть лишь отношениями членства в коллективе или места работы. В слове *западник* могут быть реализованы четыре дополнительных значения: «занимается», «работает (учится)», «находится (живет)», «следует идеям».

В-четвертых, можно ясно видеть несостоятельность попыток свести все суффиксы, имеющие значение лица, к некоему инварианту¹⁶. В действительности все суффиксы, имеющие такое значение, различаются не только своей формой, своими синтагматическими свойствами, но и теми дополнительными значениями, которые каждый суффикс может или не может актуализировать. Это обстоятельство очень важно учитывать при анализе синтагматических свойств производящих основ и аффиксов, а также при анализе взаимодействий между образованиями с разными суффиксами (*атомник* — *атомщик*, *краснодеревщик* — *краснодеревец* и т. д.).

Приведенные наблюдения над приращенными в процессе деривации значениями ставят и еще одну важную проблему. Речь идет об отражении в языке того, что принято называть национальным сознанием. Пожалуй, именно в тех сторонах своего сознания, которые народ — носитель языка подчас не осознает, воспринимая их как абсолютно сами собою разумеющиеся, с наибольшей глубиной отражаются особенности этого сознания. Проведенный анализ фрагмента русской языковой действительности показывает, что невыражаемыми, очевидными для сознания носителей русского языка являются также понятия, как объект деятельности; место жизни и деятельности; коллектив, в котором человек живет и работает; конечный продукт деятельности; обладание определенными предметами (не только как частной собственностью); следование идеям. Таким образом, не впадая в вульгарный социологизм, можно утверждать, что все эти понятия группируются в первую очередь вокруг трудовой деятельности человека, вокруг его идейных убеждений, вокруг его интересов и увлечений, вокруг имеющихся у него предметов и характерных черт. Сравнение указанной особенности русского языка с аналогичными свойствами других языков, по-видимому, могло бы пролить новый свет на старую проблему национального своеобразия сознания разных народов, отражаемого в языке.

¹⁶ См.: З. Оливье-Риус, Морфемный анализ современного русского языка, Прага, 1957.

В. А. БУХВИНДЕР, Е. Д. РОЗАНОВ

О ЦЕЛОСТНОСТИ И СТРУКТУРЕ ТЕКСТА

Круг вопросов, связанных с содержательными и структурными свойствами текста, еще не получил достаточного освещения. Однако развитие новой отрасли языкознания, лингвистики текста (в дальнейшем — ЛТ), открывает перспективы успешного продвижения в этой области. Исследования текста как самостоятельного объекта анализа имеют теоретическое и прикладное значение. Первое состоит в том, что благодаря этим исследованиям достигается более полная обзоримость языка как сложной многоуровневой иерархической структуры, ибо обнаруживается надстраивающаяся на других языковых ярусах и «венчающая» их недостающая вершина — текст, в котором на самом высоком языковом уровне приходят во взаимодействие все низшие. Второе состоит в новых возможностях, открывающихся при разработке типологии текстов и способов их формализованного членения, что важно для рационализации текстового материала в интересах обучения языкам, автоматического реферирования, массовой коммуникации и других практических аспектов ЛТ, прогнозируемых пока лишь в самом общем плане.

Полученные ЛТ данные представляют собой большой интерес. Одним из ее направлений установлена особая интонационная организация текста, не идентичная интонационной организации отдельных предложений: последние как бы взаимно «настроены» на выражение текстового содержания и образуют благодаря этому в своей совокупности особый интонационный рисунок, способствующий оформлению структурного единства и смысловой законченности текста (работы Л. Г. Фридмана).

Второе направление изучает межфразовые связи (*Textverflechtung*), существенные для объединения фраз в логическое, смысловое и структурное целое. Как оказалось, эти связи реализуются за счет использования различных средств языка, в частности лексико-семантических и синтаксических, а также путем особой стилистической организации в тексте этих языковых средств выражения (работы И. Харитоновой и др.).

В рамках третьего направления (работы И. А. Фигуровского) предпринимаются попытки выделить в тексте его составные части (*Teiltexte*). Нахождение и описание структурных составляющих текста приближило бы нас к ответам на принципиальные вопросы, занимающие ЛТ, но сохраняющие пока гипотетический характер: является ли текст языковой единицей, обладающей двухсторонней (знаковой) природой; имеется ли в языке текстовой уровень, на котором функционируют эти единицы; существуют ли особые связи, служащие для объединения фраз в более крупные единства, а этих последних — в целый текст, и каковы особенности этих связей. Известны, наконец, лингвостатистические приемы исследования текста, однако большая часть работ в этой области охватывает сво-

им анализом либо лексическую, либо грамматическую сторону его структуры, или фиксирует формально выраженные комплексы звукового (графического) строя (работы Э. Ф. Скороходько, М. И. Балзы и др.), тем самым только частично затрагивая текст как самостоятельное языковое явление, обладающее особыми статистическими закономерностями.

Для успешного развития всех направлений ЛГ весьма полезным является дефиниция термина «текст», закрепляющая его существенные черты. Среди многообразия таких определений можно различить три основные группы: группу определений с лингвистической направленностью, например, имеющих теоретико-информационный характер (ср. определение Ф. Маларжа: «текст является промежуточным звеном процесса коммуникации»). Вторую группу составляют определения, трактующие текст как сумму, совокупность или множество фраз (*eine Menge von Sätzen*). Наиболее продуктивными представляются определения в третьей группе, рассматривающие текст с точки зрения его структурного и смыслового единства. Одна из наиболее содержательных характеристик текста, предпринятая с этих позиций, принадлежит М. Пфютце: «Я понимаю под текстом определенно организованную по цели и смыслу совокупность фраз или фразовых единств (элементов), между которыми имеются значимые отношения д/или функции, т. е. структурированное единство, представляющее в сознании в виде лингвистической единицы какое-либо комплексное явление действительности в его относительно законченной смысловой целостности»¹.

При своих несомненных достоинствах эта дефиниция оставляет в некоторых деталях простор для уточнений. Нечеткость здесь проявляется в возможности, оставленной для понимания текста как «совокупности фраз», что уводит нас от его понимания как структурного целого, состоящего прежде всего из «фразовых единств». За текстом в дефиниции М. Пфютце сохраняется лишь «относительно законченная» смысловая целостность, из-за чего в смысловом отношении он оказывается как бы эквивалентным фразе. Это заставляет предположить наличие и более сложных, чем текст, единиц, наделенных «вполне законченной» смысловой целостностью, но упоминаний о них мы нигде не находим. Ссылка на значимые структурные связи внутри текста не подкрепляется указанием на их специфические, чисто «текстовые» черты. Наконец, в дефиниции не выявлена позиция автора относительно того, возможны ли и существуют ли также однофразные тексты.

Мы полагаем, что фраза как явление синтаксического уровня не может быть единицей, определяющей собой специфику структурной организации текста, — организации, подчиняющейся «синтаксису» совершенно иного рода и более высокого порядка. Перспективной линией исследования текстовой структуры является поэтому поиск более сложных и крупных единств, которые собственно одни и могли бы послужить главными конститuentами текста — особого знакового явления языка — и вместе с ним представить комплекс реальных единиц, функционирующих на текстовом уровне языковой иерархии. Наличие или отсутствие фразовых единств (в дальнейшем — ФЕ) дает возможность судить о том, имеем ли мы дело с текстом, или же перед нами простая совокупность фраз, не получившая текстового оформления и не выступающая в виде законченного языкового явления текстового уровня.

Сказанное не исключает того, что могут быть тексты, состоящие лишь из одного ФЕ — достаточно сослаться на такие примеры, как краткие сти-

¹ M. P f ü t z e, Grundgedanken zu einer funktionalen Textlinguistik, «Textlinguistik», 1, Dresden, 1970, стр. 7.

хотворения (в том числе в прозе), басни, анекдоты, сообщения, корреспонденции, аннотация и пр. В свою очередь текст — ФЕ может содержать одну только фразу — это призывы, лозунги, договорки, крылатые слова. В отдельных случаях однофразный текст может быть ограничен в своем составе единственным словом: *Trevosa!*; *Willkommen!*; *Pasaremas!* Ограничение объема текста одним фразовым единством, одним предложением или одним словом не нарушает таких его свойств, как логическая цельность, экстралингвистическая направленность, структурная оформленность, смысловая законченность, а вместе с тем иногда способствует повышенной коммуникативной заостренности благодаря предельному «обнажению» мысли в лаконичной форме.

Независимо от количества и набора компонентов смысл текста всегда автономен, т. е. должен возникать в целостном виде при опоре только на данный текст. В отличие от этого смысл фразы сопряжен со смыслом других фраз, так же как и ФЕ связаны друг с другом по смыслу. Если ФЕ обладает автономным смыслом, то оно есть текст. Совокупность фраз, не выражающая автономного смысла, не образует текста. Предполагаемый текст должен выдержать испытание на «присоединение» — добавление к его началу или концу новых фраз. Завершенность и целостность текста делает такое присоединение невозможным. Точно так же не выдержит он испытания на «отъединение», ибо не может содержать фраз, ему не принадлежащих².

Неотъемлемым признаком текста является его связность. Не связных текстов не существует: потеря связности разрушает текст, если только это не искусственный стилистический прием. Связность текста выступает как результат взаимодействия нескольких факторов. Это, прежде всего, логика изложения, отражающая соотношенность явлений действительности и динамику их развития; это, далее, особая организация языковых средств — фонетических, лексико-семантических и грамматических, с учетом также их функционально-стилистической нагрузки; это коммуникативная направленность — соответствие мотивам, целям и условиям, приведшим к возникновению данного текста; это композиционная структура — последовательность и соразмерность частей, способствующие выявлению содержания; и, наконец, само содержание текста, его смысл. Все упомянутые факторы, гармонически сочетаясь в едином целом, обеспечивают связность текста.

Изучение различных связей в тексте позволяет судить о более или менее закономерном характере их функционирования и высказать предположение о наличии фразовой валентности. Теория валентности, рассматривающая сочетания элементов внутри лексических и грамматических единиц и этих единиц между собой³, получает в тексте новую точку

² Таким образом, текст обладает на своих концах нулевой валентностью. Особо нужно оговорить случаи «клинизации» или присоединения нескольких текстов друг к другу (ср. «Повесть о капитане Копейкине», вставные новеллы в «Дон-Кихоте» и др.). Во всех этих случаях, при образовании иерархии (сочинения, подчинении, соподчинении) текстов, тезис о автономности смысла целого текста сохраняет силу: входящие в данный текст вставные части связаны с остальными его частями и замыкаются в нем через его общий смысл или общую идею. Ср.: А. А. Леонов, Признаки связности и цельности текста. «Лингвистика текста. Материалы научной конференции», 1, М., 1974.

³ См.: О. И. Москальская, Устойчивые словосочетания с грамматической направленностью, ВЯ, 1961, 5; М. Д. Степанова, О «внешней» и «внутренней» валентности слова, «Лин. яз. в шк.», 1967, 3; G. Helbig, W. Schenkel, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Leipzig, 1969; L. Tesnière, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959, и др.

приложения. Сочетания фраз в тексте реализуются за счет валентностных связей на лексическом и грамматическом уровнях, но не сводятся к ним и представляют собой особую систему. Типичными для этой системы являются сочетания между собою не только смежных фраз, но и занимающих дистантные позиции. Каждая фраза может иметь и левые — регрессивные, и правые — прогрессивные связи. Наблюдается многоплановость и многослойность валентностных отношений между фразами. Многоплановость состоит в том, что связи реализуются за счет мобилизации различных языковых средств — фонетических, лексических, лексико-семантических и др. Многослойность проявляется в появлении на одном участке текста нескольких связей. Отсюда можно заключить и то, что количество связей в различных местах текста должно быть неодинаковым и возможны чередования «уплотненных» и «разреженных» участков текста.

Таким образом, особыми свойствами связей между фразами в тексте являются: контактность — дистантность; односторонность — двухсторонность; многоплановость — многослойность; уплотненность — разреженность. Как видим, здесь имеют значение: протяженность, направленность, глубина (то, что В. Г. Адмони называет «партитурным строением») и плотность. При этом благодаря глубине одни связи как бы перекрываются другими, что создает их избыточность и повышает надежность. Колебания же плотности, как можно предположить, образуют своего рода «волновую» структуру, совпадающую в общих чертах с последовательностью смены ФЕ. Волновой характер межфразовых связей — ключевой вопрос в гипотезе о структурной организации текста.

Обратимся теперь к анализу языковой и речевой природы текста. Если текст в обобщенном понимании этого термина следует рассматривать как особую единицу, обладающую набором специфических, постоянных, языковых черт, то разные конкретные тексты — это произведения речи, возникшие по системе разных языков, отражающие ту или иную область действительности и созданные в соответствии с различными коммуникативными заданиями. Будучи продуктом речемыслительной деятельности человека, текст должен быть охарактеризован не только с позиций чистой лингвистики, раскрывающей типичное в строении всех текстов, т. е. текста вообще. ЛТ вынуждена обращаться и к теории речевой деятельности, изучающей механизмы образования произведений речи, и к психологии, стремящейся раскрыть их внутреннюю, смысловую сторону. Поэтому ЛТ как синтетическая наука учитывает совместно лингвистические, экстралингвистические и психолингвистические реальности, и это дает ей возможность отметить в тексте такие его существенные черты, как: 1) отнесенность к внеязыковой действительности, 2) смысловая законченность, 3) смысловая многоплановость, 4) коммуникативная целенаправленность, 5) языковая, структурная и композиционная оформленность, а также 6) определенная жанровая принадлежность.

Разница между языковой и структурной оформленностью состоит в том, что первая зависит от набора языковых средств и их аранжировки, а вторая — явление, относящееся только к текстовому уровню, это особая, еще фактически не разработанная «грамматика» текста, ориентированная на новые языковые единицы — ФЕ, и новые языковые явления — межфразовые связи.

Разумеется, гипотеза о статусе этих единиц, о реальности и закономерном характере этих связей, о двухсторонней, знаковой природе текста и о наличии в языке венчающего его структуру текстового уровня нуждается в тщательной и равносильной проверке. Попытаемся привести некоторые доводы в пользу этой гипотезы, опирающиеся на анализ плана содержания и плана выражения текста.

*

Исходным для анализа содержательной стороны текста является различение понятий «значение» и «смысл», идущее от немецкого математика и логика Г. Фреге ⁴.

Значение отдельного слова само по себе не в состоянии выразить смысл даже самого краткого речевого сообщения, но и простая сумма словесных значений не может выполнить этой функции. Как стало ясно после появления работ Н. И. Жинкина, Н. М. Амосова, А. А. Леонтьева ⁵, переход на более высокий кодовый уровень при переработке речевой информации происходит лишь в том случае, если значения слов не просто суммируются, а интегрируются, образуя в рамках более или менее крупных речевых единств смысловое целое. Механизм кодовых переходов в плане содержания показан Н. М. Амосовым. Согласно его концепции, восприятие речи на перцептивном уровне происходит в коде звуковых колебаний, преобразуемых в слуховом анализаторе в потоки нервных импульсов и направляемых оттуда в кору головного мозга. Однако в действительности звуки при восприятии речи слиты в наших ощущениях в речевом потоке, а границы между его отрезками не совпадают в большинстве случаев с началами и концами слов, а часто — и словосочетаний. В результате действия интегрирующей и дифференцирующей функций коры в ней происходит членение звуковой цепи на звуковые отрезки, которые сравниваются с постоянными «моделями слов». Переход от кода звуков к коду слов завершается благодаря совпадению этих отрезков с моделями слов, заложённых прежде в долговременную память ⁶. В результате выделяется первичная семантическая информация — значения слов. Не следует, однако, забывать, что это происходит в условиях одновременного развертывания встречного процесса, служащего для уточнения выбора и локализации лексических значений в зависимости от способа группировки лексических единиц ⁷. Большую роль здесь играет взаимодействие двух функций, реализуемых в речевой деятельности за счет текущей работы оперативной памяти: смыслового удержания сказанного и смыслового упреждения высказываемого ⁸.

На основе сочетательных схем, определяющих во многом выбор, расположение и согласование слов в единицах речи, в процессе восприятия происходит прием фраз, и информация передается на более высокий «этаж». Повышение кода в данном случае обусловлено сравнением воспринимаемых отрезков речи с временными моделями фраз, хранящимися в долговременной памяти. Однако операция сличения в данных условиях качественно отличается от той, которая осуществляется на «этаже» словесного кода: память фиксирует лишь сравнительно небольшое количество «готовых» фраз, большинство же их заново формируется в каждом акте речи в зависимости от его целенаправленности, характера речевой интенции и ситуации, определяющей условия реализации. Поэтому на блок сли-

⁴ G. Frege, Vom Sinn und Bedeutung, «Zeitschrift für philosophische Kritik», 1892.

⁵ Н. И. Жинкин, Механизмы речи, М., 1958; его же, О кодовых переходах во внутренней речи, ВЯ, 1964, 6; его же, Психологические основы развития речи, в кн.: «В защиту живого слова», М., 1966; Н. М. Амосов, Моделирование мышления и психики, Киев, 1965; А. А. Леонтьев, Слово в речевой деятельности, М., 1965.

⁶ О механизмах сличения более подробно см.: М. С. Шехтер, Психологические проблемы узнавания, М., 1967.

⁷ G. A. Miller, Some preliminaries in psycholinguistics, «American psychologist», 20, 1, 1965.

⁸ Н. И. Жинкин, указ. соч.

чения долаются, в результате внутренней «репродукции с двигательного анализатора»⁹, по большей части не готовые фразы, а только слесмы их построения, необломимые для правилосообразной организации лексических единиц в структурно оформленные речевые единства и для выделения информации более высокого кодового уровня. Это — уровень «относительно законченного смысла», заключенного во фразе.

Дальнейший переход на высший этаж не мог бы состояться, если бы не имелась опора на какие-то новые элементы структурного характера, организующие отрезки «относительно законченного смысла» в более или менее законченные крупные «смысловые блоки». В качестве таких элементов выступают межфразовые лексико-семантические, стилистические и просодические связи, воздействующие в свою очередь и на грамматическую организацию сочетающихся фраз. Нужно отметить, однако, что грамматические средства связи имеют вторичный, производный характер и выявляются в сфере межфразовых отношений не непосредственно, с помощью специальных грамматических признаков, а опосредованно, через взаимную грамматическую «приспособленность» сочетающихся фраз. Поэтому вполне резонно указывается в ЛТ на отсутствие у текста грамматической маркированности, так как «грамматика языка исчерпывается пределами предложения»¹⁰. В этом можно увидеть еще одно подтверждение тому, что системность в языке проявляется не только на грамматическом, но и на других уровнях. Задача ЛТ состоит не в приписывании тексту несвойственной ему грамматической системы, а в выявлении и исследовании специфической текстовой структуры, преобразующей в новой сфере и с иными целями все остальные выразительные средства языка.

В плане содержания текста единицей, следующей за «относительно законченным смыслом» фразы, является «смысловый блок», обладающий большей смысловой законченностью, чем смысл фразы или линейной группы фраз, но все же ограниченный пределами ФЕ. Должно произойти слияние отдельных блоков, этих «островков» смысла, и их интеграция, завершающая образование сплошного «смыслового поля», чтобы это поле покрыло целый текст. Данной цели служат еще более дистантные, чем межфразовые, связи, выходящие за пределы ФЕ и реализующие сквозное движение смысла внутри текстового поля. Можно полагать, что эти связи обладают меньшей плотностью, чем те, которые активны внутри ФЕ, иначе границы между последними не проступали бы, а они сами слились бы в одно диффузное целое. Плотность связей в их многослойном переплетении должна поэтому обладать волнообразной изменчивостью, возрастающая по мере приближения к семантическому центру ФЕ и спадающая на его концах. Отмеченное свойство, разумеется, может реально проявляться лишь в виде самой общей тенденции и воплощаться в большом разнообразии конкретных вариантов.

Образование смыслового поля является предпосылкой понимания текста, но не замыкает процесс этажного перекодирования в плане содержания. Самая высокая программа, связанная не только с осмыслением, но и с творческой интерпретацией осмысленного (в ряде случаев — его критической переработкой, проникновением в подтекст и т. п.), направлена на формирование «кода идей», в котором информация содержится в наиболее абстрактном, компрессированном, экономном и мобильном виде. Как подчеркивает Н. М. Амосов и другие исследователи (например, П. К. Апохин, Н. А. Бернштейн), каждой психической программе более высокого уровня соответствует несколько низших подпрограмм, которые могут

⁹ Термин Н. И. Живкина.

¹⁰ Г. В. Колшанский. О смысловой структуре текста, «Лингвистика текста. Материалы научной конференции. МГПИИЯ им. М. Тореза», 1, 1974, стр. 140.

обеспечить ее формирование в различных вариантах их взаимно скоординированного сочетания. Одна и та же идея способна получить различное текстовое развитие. Один и тот же текст нередко допускает различное смысловое или образное истолкование. Создание текста, так же как и его понимание и идейно-смысловая интерпретация, представляет собой вероятностную «многоэтажную» двигательную программу, реализуемую в условиях многообразных и непрерывных кодовых переходов во внутренней и внешней речи. В случае кодирования ведущая тенденция состоит в понижении кодового уровня, а в случае декодирования — в его повышении.

Таким образом, содержание текста обнаруживает следующие компоненты: на лексическом уровне — значение; на фразовом уровне — относительно законченный смысл; на уровне ФЕ — смысловой блок; на уровне текста — смысловое поле и идейно-смысловое содержание.

*

Положения об особенностях организации содержательной стороны текста приобретают силу, если находят подтверждение в сфере плана выражения. Экспликация межфразовых связей требует разработки специальных формализованных приемов. Нужна методика установления границ между ФЕ в тексте.

До сих пор в ЛТ более всего внимания уделялось поискам того, что связывает элементы текста, и менее — того, что их разделяет. При ближайшем рассмотрении оказывается, что поиски связей и границ — две стороны одной проблемы. Если волновая структура текста действительно существует, то минимальные значения амплитуды колебаний плотности межфразовых связей и есть пограничные сигналы ФЕ.

Лучшим способом проверки высказанных положений был бы эксперимент, обеспечивающий экспликацию всех релевантных межфразовых связей. Из-за несовершенства методик, трудоемкости исследования мы ограничили свою задачу выявлением семантических связей, чтобы на этой основе составить предварительное суждение о некоторых особенностях текстовой структуры.

Семантические связи реализуются в тексте двояким образом: синтагматически, в виде конкретных соединений слов в линейной цепи, и парадигматически, в виде имплицитных дистантных связей лексических единиц, принадлежащих разным фразам и образующих семантические парадигматические ряды (в дальнейшем — СПР).

Поскольку СПР представляют межфразовые связи, мы считали их выделение первоочередной задачей. Известны различные возможности выделения СПР: на основе понятийной, предметной, тематической, грамматико-категориальной общности лексических единиц. СПР, выделяемые нами в тексте, — это ряды лексических единиц, у которых обнаруживается хотя бы один общий семантический признак.

Общность признаков устанавливалась по следующей методике: 1) определялись опорные слова в тексте, к которым были отнесены все встретившиеся в нем знаменательные слова (кроме имен собственных); 2) восстанавливалась семантическая структура каждого опорного слова. Для этого из толковых словарей немецкого языка¹¹ извлекался комплекс его значений; 3) сопоставлялись между собой семантические структуры опор-

¹¹ «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», Berlin, 1—1967, 2—1971, 3—1970; «Mackensen Deutsches Wörterbuch», Laupheim, 1955; «Wörter und Wendungen», Leipzig, 1962.

ных слов; 4) выделялись общие семантические признаки ¹² либо путем фиксации их непосредственного совпадения, либо с помощью эквивалентных семантических замен (компонентного анализа); 5) слова, обнаружившие хотя бы один общий семантический признак, выписывались отдельно и считались членами одного СПР.

Так, например, в составе одного СПР оказались, в числе других, слова *Zeit* «время», *früh* «рано», *heutig* «сегодняшний» благодаря их противопоставленности по семантическому признаку «течение событий». Эта связь устанавливалась нами опосредованно, путем последовательной эквивалентной замены семантических признаков противочленов.

В ходе эксперимента оказалось, что в экспериментальном тексте ¹³ обнаруживается 22 слова, относящихся к СПР «течение событий», и встречаются они в 12 предложениях текста. Если занумеровать по порядку все предложения текста, а также опорные слова в каждом предложении, то можно построить текстовую схему данного СПР.

Всего в тексте удалось выявить 14 СПР: *Ereignisablauf* «течение событий», *Erdboden* «суша», *wohnhaft* «проживающий», *Wasser* «вода», *Himmelsrichtung* «страны света», *Mensch* «человек», *Kultur* «культура», *vorhandensein* «находиться в палиции», *mitteilen* «сообщать», *alt* «старый», *hinweisen* «указывать», *bewegen* «двигать(ся)», *gehören* «принадлежать», *groß* «большой». Кроме того, в тексте обнаружено 9 рядов «чистых» лексико-семантических повторов, которые образуют следующие СПР: *Teil* «часть», *vermuten* «предполагать», *nachweisen* «доказывать», *ständig* «постоянный», *noch* «еще», *ebenfalls* «также», *doch* «однако», *nachweisbar* «доказательно», *entstehen* «возникать».

На втором этапе эксперимента мы исходили из предположения о том, что: 1) слова разных фраз, относящиеся к одному и тому же СПР, связывают эти фразы семантически; 2) сумма этих связей репрезентирует, с определенной точки зрения, семантическую структуру текста; 3) если будут установлены колебания плотности межфразовых связей, то точки ее наименьшего значения можно расценивать как пограничные сигналы ФЕ.

Мы наложили друг на друга полученные 23 СПР и подвергли их статистической обработке. С этой целью были вычислены три коэффициента.

Локальный коэффициент (K_L) служит для определения степени семантической связности между двумя любыми фразами текста. Его формула: $K_L = P/N$, где P — число семантических связей между словами двух фраз текста, N — число всех опорных слов этих двух фраз. Например, в тексте для 2 и 1-й фраз $K_L = 1/9 = 0,1$.

Коэффициент регрессивной связи (K_p) обеспечивает сегментацию текста на ФЕ и исчисляется по формуле: $K_p = K/M - 1$, где K — число семантических связей между словами сколь угодно длинной последовательности фраз, M — число фраз данной последовательности.

Так, например, для последовательности фраз № 3, 2 и 1 и при наличии между ними только одной семантической связи $K_p = 1/2 = 0,5$.

Если K_p каждым своим спадом сигнализирует о возможной границе ФЕ, то K_L помогает установить зависимость фразы от данного семантического центра, т. е. локализовать ее в пределах того или иного ФЕ.

Коэффициент семантической нагрузки (K_e) отражает удельный вес фразы в системе семантических связей текста и исчисляется по формуле: $K_e = L/N$, где L — число связей опорных слов данной фразы

¹² О семантических признаках см.: Д. Н. Ш м е л е в, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973.

¹³ I. K l i m a, Gesellschaft und Kultur des alten Mesopotamien, Prag, 1964, стр. 17—19.

с другими опорными словами текста, N — общее число опорных слов во фразах, семантически связанных с данной, включая и опорные слова этой фразы.

Например, для фразы № 5 текста «Meßgeräte» («Измерительные приборы») $K_c = 17/110 = 0,1$.

Проведем наблюдение над K_p и K_d в тексте «Месопотамия», подсчитав обе величины для каждой из фраз (см. табл. 1). Условимся, что с уменьшением K_p фразовое единство завершается и что фразы с меньшим K_p тяготеют к фразам с большим K_p . Проведем сегментацию фразовых единств текста «Месопотамия». Первое ФЕ заканчивается фразой № 3 ($K_p = 0,5$). № 1 и 3 зависимы от № 2, так как у него больший K_p (1,0). Второе ФЕ заканчивается № 6 (новый спад величины K_p до 0,8). № 4 и 6 непосредственно связаны с № 5, так как K_p у них меньше, чем у № 5, при равных K_d между всеми тремя фразами (0,1).

Следующая «ломка» роста K_p происходит на № 11 (8,6). Здесь заканчивается третье ФЕ, внутри которого устанавливаются следующие взаимоотношения: № 7 зависит непосредственно от № 10, у которого наибольший K_p (16,0) и не тяготеет к № 8 и 9, так как между ним и этими фразами K_d ниже, чем между ним и № 10 (соответственно 0,3; 0,2; а между № 7 и № 10—0,5). По той же причине № 8 связан более тесно с № 10, чем с № 9, а № 11 зависит от № 10.

Четвертое ФЕ начинается с № 12, а пятое будет состоять из № 15, 16 и 17, так как «ломка» роста K_p фиксируется на № 17 (4,2). В шестое ФЕ входит одна фраза — № 18.

Теперь сопоставим полученные формальным путем ФЕ с возможным логическим членением текста. Для этой цели мы предоставили возможность информанту, владеющему немецким языком, по прочтении расчленить текст на интуитивно улавливаемые законченные отрезки, исходя из его общего смысла. Сравнение результатов формального и интуитивно-логического членения текста «Месопотамия» показана в табл. 2.

Таблица 2

Сравнение двух способов членения текста «Месопотамия»

Способ членения	№№ фраз																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Интуитивно-логический			/			/				/				/			/	
Формальный			/			/				/				/			/	

Примечание: косая черта (/) — границы ФЕ.

Сопоставление данных, графически изображенных на схеме 1, позволило определить только одно расхождение результатов, полученных двумя разными способами, а именно, при определении границы между 3 и 4 ФЕ.

Проиллюстрируем работу K_c на тексте «Meßgeräte» «Измерительные приборы», дающую возможность восстановить семантическую иерархию фраз внутри каждого ФЕ и построить благодаря этому логический план текста (табл. 3).

Как видно из табл. 3, наивысшие K_c (0,7 и 0,5) вводят тему и подтему статьи. $K_c=0,3$ и 0,4 — разделы подтемы, 0,1 и 0,2 — детали. Имеющееся в № 23 отклонение от этой закономерности легко объяснимо. Предложение, вводящее подтему, имеет семантические связи только регрессивно, так как автор не описал самого деления приборов по качеству (предложение № 23 завершает явно не оконченную статью). Что касается отклонения K_c в № 8, то здесь этот факт объясняется тем, что предложение № 3, вводящее раздел подтемы, семантически подчиняет последовательность предложений № 3 — № 10, в которую входит и предложение № 8. Поэтому № 3 и 8 обнаруживают общие семантические множители — «принцип» и «измерение».

Это, казалось бы, не очень существенное обстоятельство наводит на мысль, что в сложном тексте аранжировке ФЕ присущ не чисто линейный, а структурный характер. В тексте могут возникать различного рода

Таблица 3

Семантическая иерархия фраз текста «Meßgeräte»

№№ предложений	K_c	Логический план текста	Смысловые отрезки
1	0,7	Назначение измерительных приборов	Тема статьи
2	0,5	Принципы подразделения приборов	Подтема
3	0,3	Один из принципов измерения: амплитуда	Раздел подтемы
4	0,1	Устройство стрелки показателя	Деталь
5	0,1	Типы движения стрелки	Деталь
6	0,1	Способ движения шкалы	Деталь
7	0,2	Записывающее устройство стрелки	Деталь
8 (1)	0,1	Другой измерительный принцип	Раздел подтемы
9	0,2	Действие и противодействие	Деталь
10	0,2	Противодействие в цифровых величинах	Деталь
11	0,3	Счетные измерительные приборы	Раздел подтемы
12	0,1	Назначение счетчиков	Деталь
13	0,2	Назначение счетного барабана	Деталь
14	0,4	Цифровые измерительные приборы	Раздел подтемы
15	0,1	Значение пишущих приборов	Деталь
16	0,2	Способ фиксации записи	Деталь
17	0,1	Возможность обработки перфокарт	Деталь
18	0,4	Членение приборов по единицам измерения	Раздел подтемы
19	0,1	Перечень приборов по единицам измерения	Деталь
20	0,3	Членение приборов по способу действия	Раздел подтемы
21	0,2	Перечень способов действия приборов	Деталь
22	0,1	Перечень приборов по способу действия	Деталь
23 (1)	0,2	Членение приборов по качеству действия	Раздел подтемы

сцепления ФЕ, образующие более сложные, комплексные фразовые единства (в дальнейшем — КФЕ). Как внутри ФЕ одна из фраз представляет семантический пик, доминирующий над остальными, точно так же одно из ФЕ может стать семантической вершиной, подчиняющей себе ряд других ФЕ, чтобы объединить их в КФЕ. Все эти пики и вершины могут быть исчислены в каждом тексте и представлены графически, репрезентируя с той или иной степенью приближенности многоярусную структурно-семантическую иерархию данного текста.

Напомним, что величины семантических связей между фразами исчислялись нами с помощью локального коэффициента K_L . Попробуем теперь использовать K_L для исчисления величин, характеризующих семантические связи между ФЕ текста «Месопотамия». Оказывается, что: между 2 и 1 ФЕ $K_L = 9/64 = 0,1$; между 3 и 2 ФЕ $K_L = 92/134 = 0,6$; между 4 и 3 ФЕ $K_L = 189/142 = 1,3$; между 5 и 4 ФЕ $K_L = 59/80 = 0,7$; между 6 и 5 ФЕ $K_L = 21/46 = 0,5$.

Как и прежде, при определении семантической соотнесенности фраз, примем, что ФЕ с меньшим значением K_L тяготеет в своих связях к семантической вершине, к ФЕ с большим значением K_L . Тогда окажется, что 1 ФЕ тяготеет к 2; 3 и 5 — к 4; 6 — относительно автономно. Из этого следует, что 1 и 2 ФЕ образуют I КФЕ; 3, 4 и 5 ФЕ образуют II КФЕ, 6 ФЕ образует III КФЕ. На основании членения на ФЕ и КФЕ возникает следующий компрессированный логический план текста:

I КФЕ — Место возникновения Месопотамии

1 ФЕ Роль рек Тигр и Евфрат в развитии Месопотамии

2 ФЕ Место возникновения древних цивилизаций

II КФЕ — История возникновения Месопотамии

3 ФЕ История Двуречья по версии геологов

4 ФЕ Необходимость проверки этой версии

5 ФЕ Возможные гипотезы

III КФЕ — Требуются дальнейшие изыскания.

6 ФЕ

*

В заключение сделаем краткие выводы. Результаты эксперимента не противоречат высказанным в данной статье положениям. Они подтверждают целесообразность использования K_L , K_P , K_C для анализа текстовой структуры, свидетельствуют о возможности формализованного членения текста и составления его логического плана. Были выявлены колебания плотности семантических связей в тексте. Эти связи обнаруживают волновую структуру, совпадающую в общих чертах с последовательностью смены фразовых единств. В текстах более или менее сложного характера фразовые единства выступают не в простой линейной последовательности, а группируются вокруг семантически более значимых фразовых единств, образуя комплексные фразовые единства.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Mesopotamien

№ 1) Ägypten wurde im Altertum (1) als ein Geschenk (2) des Nils betrachtet (3). № 2) Es (1) wäre indessen nicht ganz (2) richtig (3), wenn wir (4) sagten (5), daß Mesopotamien ebenfalls (6) ein Geschenk (7) von Euftrat und Tigris war. № 3) Doch (1) verdankt (2) dieses (3) Land (4) den beiden (5) Strömen (6) zweifellos (7) einen beträchtlichen (8) Teil (9) seines (10) wirtschaftlichen (11) Wohlstandes und kulturellen (12) Aufschwungs (13). № 4) Es (1) ist nicht ohne Bedeutung (2), daß gerade (3) jene (4) Gebiete (5), wo (6) sich eine der ältesten (7) Zivilisationen (8) der Menschheit (9) entwickelte (10), geologisch (11) verhältnismäßig (12) jung (13) sind. № 5) Diese (1) Zi-

vilisationen (2) entstanden (3) in der Zeit (4), wo (5) in nördlichen (6) Gebieten (7) Mesopotamien die Existenz des Menschen (8) schon (9) viele (10) Jahrtausende (11—12) früher (13) nachweisbar (14) ist. № 6) Der Süden (1) lockte (2) jedoch nicht zu ständigen (3) Besiedlung (4), bevor der Mensch (5) das Stadium (6) des Nahrungssammlers (7—8) überwunden (9) und sich zum Nahrungsproduzenten (10—11) entwickelt (12) hatte. № 7) Heute (1) gibt es (2) eine gemeinsame (3) Mündung (4) von Euphrat und Tigris in den Persischen Golf (5). № 8) Die Archäologen (1) sind der Ansicht (2), daß eine Reihe (3) von alten (4) Städten (5), deren (5-a) Trümmer (6) gegenwärtig (7) weit (8) vom Rande (9) des Persischen Golfs (10) entdeckt (11) wurden, sich ursprünglich (12) an dessen (13) Küste (14) befanden (15). № 9) Sie (1) vermuten (2) deshalb (3), daß das Meer (4) in frühgeschichtlicher (5—6) Zeit (7) noch (8) viel (9) weiter (10) in das heutige (11) Binnenland (12—13) eingedrungen (14) war und daß früher (15) beide (16) Ströme (17), die (18) auch mehrmals (19—20) ihr (21) Flußbett (22—23) geändert (24) hatten, eigene (25) Mündungen (26) in den Persischen Golf (27) hatten. № 10) Durch das Geröll (1) nämlich (2), das (3) beide (4) Ströme (5) und ihre (6) Nebenflüsse (7—8) in großen (9) Mengen (10) aus den Bergen (11) mit sich führten (12), sollten — nach archäologischer (13) Auffassung (14) — am unterem (15) Lauf (16) dieser (17) Ströme (18) und im Persischen Golf (19) große (20) Ablagerungen (21) entstanden (22) sein, so daß sich die Küste (23) des Persischen Golfs (24) immer (25) weiter (26) nach Süden (27) verschob (28). № 11) Zuletzt (1) haben jedoch die Geologen (2) eine gegensätzliche (3) Meinung (4) ausgesprochen (5): sie (6) vermuten (7), daß sich das Meer (8) früher (9) noch (10) weiter (11) nach Südosten (12—13) erstreckt (14) habe, und später (15) sein (16) Wasserspiegel (17—18) allmählig (19) stieg (20). № 12) Durch Luftaufnahmen (1—2) vom heutigen (3) nördlichen (4) Teil (5) des Persischen Golfes (6) hoffen (7) die Geologen (8) die Spuren (9) alter (10) Siedlungen (11) nachzuweisen (12), die (13) sich jetzt (14) unter seiner (15) Wasserfläche (16—17) befinden (18). № 13) Nach dieser (1) Auffassung (2) haben die Flüsse (3) das mitgeschleppte (4) Geröll (5) und die Schlammassen (6—7) schon (8) unterwegs (9) abgelagert (10), bevor sie (11) zur Küste (12) gelangten (13). № 14) Dabei (1) entsteht (2) wohl (3) die Frage (4), warum (5) die Moräste (6—7) und Binnenseen (8—9) im südlichen (10) Teil (11) Babiloniens durch diese (12) Schlammassen (13—14) nicht ebenfalls (15) zugeschwemmt (16) wurden. № 15) Dieser (1) Umstand (2) wird dann (3) durch ein ständiges (4) Sinken (5) des Bodens (6) erklärt (7), das (8) sich mit der Ablagerung (9) der Schlammassen (10—11) von beiden (12) Flüssen (13) ungefähr (14) die Waage (15) hielt (16). № 16) Diese (1) neue (2) geologische (3) Auffassung (4) von Südbabylonien muß indessen (5) zukünftig (6) von den Archäologen (7) noch (8) eingehend (9) geprüft (10) werden. № 17) Bis jetzt (1) behaupten (2) sie (3), daß sich südlich (4) von Eridi keine Siedlungen (5) mehr (6) befunden (7) hatten. № 18) Doch (1) erst (2) die weitere (3) Grabungen (4), die (5) viel (6) tiefer (7) in den Boden (8) eindringen (9) müssen, könnten darüber (10) eine klare (11) Entscheidung (12) bringen (13).

Meßgeräte

№ 1) Um die Erscheinungen (1) in der Natur (2) oder die technische (3) Vorgänge (4) erfassen (5) zu können, bedient sich (6) der Mensch (7) verschiedener (8) Meßgeräte (9—10), da er (11) mit seinen (12) Sinnesorganen (13—14) nicht in der Lage (15) ist, Meßwerte (16—17) wie Temperaturen (18), elektrische (19) Spannungen (20), Gaskonzentrationen (21—22), zu ermitteln (23). № 2) Die Meßgeräte (1—2) können nach dem Meßprinzip (3—4), der Meßgröße (5—6), der Wirkungsweise (7—8) und Güte (9) eingeteilt (10)

werden. № 3) Ein häufig (1) angewendetes (2) Meßprinzip (3—4) ist die Ausschlagmethode (5—6); der Meßwert (7—8) wird durch den Ausschlag (9) eines Zeigers (10) gegen eine Skale (11) angezeigt (12). № 4) Es (1) ist dabei (2) gleichgültig (3—4), ob der Zeiger (5) gegenständlich (6) ist oder beispielsweise (7—8) durch einen Lichtstrahl (9—10) gebildet (11) wird. № 5) Der Zeiger (1) kann sich entweder um einen bestimmten (2) Winkel (3) drehen (4) oder geradlinig (5—6) hin (7) und herbewegen (8). № 6) Die Bewegung (1) kann ebenfalls (2) von der Skale (3) hinter einem feststehendem (4—5) Zeiger (6) oder einer Marke (7) erfolgen (8). № 7) Ebenso (1) kann der Zeiger (2) an der Spitze (3) auch eine Einrichtung (4) tragen (5), die (6) den Meßwert (7—8) auf einen Papierstreifen (9—10) überträgt (11), das (12), Meßergebnis (13—14) also aufzeichnet (15). № 8) Ein anderes (1) wichtiges (2) Meßprinzip (3—4) ist die Kompensationsmethode (5—6). № 9) Die Wirkung (1) auf das Meßgerät (2—3) wird durch eine Gegenwirkung (4—5) gleicher (6) Art (7) aufgehoben (8). № 10) Die zahlenmäßig (1—2) bekannte (3) Größe (4) der Gegenwirkung (5—6) ist der Meßwert (7—8). № 11) Neben den anzeigenden (1) und schreibenden (2) Meßgeräten (3—4) sind noch zählende (5) Meßgeräte (6—7) bekannt (8): Elektrizitäts-(9), Gas-(10), Flüssigkeitszähler (11—12). № 12) Diese Zähler (1) zeigen (2) keinen Momentanwert (3—4) an, sondern sie zählen (5) die verbrauchte (6) Strommenge (7—8), Gasmenge (9—10) oder Flüssigkeitsmenge (11—12) oder die zurückgelegten (13—14) Kilometer (15). № 13) Der Meßwert (1—2) wird in den meisten (3) Fällen (4) in Form (5) von Ziffern (6) mit Hilfe (7) von Zahlenrollen (8—9) angezeigt (10). № 14) Die am weitesten (1) entwickelten (2) Meßgeräten (3—4) sind die digitalen (5) Meßgeräte (6—7), bei denen (8) ein Momentanwert (9—10) nicht durch einen Zeiger (11) auf einer Skale (12), sondern bei denen (8a) der Meßwert (13—14) auf einem Ziffernfeld (15—16) angezeigt (17) wird. № 15) Schreibende (1) Meßgeräte (2—3) sind bereits (4) ein gutes (5) Hilfsmittel (6—7) zur Meßwertverarbeitung (8—9—10), jedoch ist die Auswertung (11) von Registrierstreifen (12—13) zeitraubend (14—15) und zumeist (16) mit Fehlern (17) behaftet (18). № 16) Bei Digitalmeßgeräten (1—2—3) kann der Meßwert (4—5) neben (6) der Anzeige (7) als Ziffer (8) gedruckt (9) oder in Karten (10) eingelocht (11) werden. № 17) Diese (1) Lochkarten (2—3) können in handelsüblichen (4—5) Büromaschinen (6—7) verarbeitet (8) werden. № 18) Bei der Einteilung (1) nach der Meßgröße (2—3) entspricht (4) jeder (4a) Gruppe (5) von Meßgrößen (6—7) auch eine Gruppe (8) von Meßgeräten (9—10). № 19) Danach (1) werden unterschieden (2): Temperaturmeßgeräte (3—4—5), Druckmeßgeräte (6—7—8), Differenzdruckmeßgeräte (9—10—11—12), Mengemeßgeräte (13—14—15), Analysenmeßgeräte (16—17—18). № 20) Nach ihrer Wirkungsweise (1—2) unterscheidet (3) man (4) zwischen mechanischen (5), optischen (6), pneumatischen (7), elektrischen (8) Meßgeräten (9—10) usw., beziehungsweise (11) zwischen Kombinationen (12) von mechanisch-(13) optischen (14), pneumatisch-(15) elektrischen (16) Meßgeräten (17—18) usw. № 21) Für die einzelnen (1) Meßaufgaben (2—3) gibt es (4) in den meisten (5) Fällen (6) Meßgeräte (7—8) mit unterschiedlicher (9) Wirkungsweise (10—11), № 22) So gibt es (1) beispielsweise (2—3) mechanische (4), elektrische (5) und optische (6) Temperaturmeßgeräte (7—8—9). № 23) Schließlich (1) werden die Meßgeräte (2—3) auch oft (4) nach ihrer (5) Güte (6) in bestimmte (7) Klassen (8) eingeteilt (9), die (10) sich durch unterschiedliche (11) Fehlergrenzen (12—13) voneinander (14) unterscheiden (15).

противоречие представляет собой исходный пункт адъективации причастий, которая зависит от борьбы двух компонентов плана содержания (действия и свойства)³; 2) наличие «... таких, казалось бы несоединимых частнограмматических значений, как время и падеж...». Аффиксе *-ый (-ий)* «... служит для выражения грамматических значений рода, числа и падежа и сближает причастие с прилагательным»⁴; 3) употребление причастий (как и прилагательных) в одиночной препозиции.

Рассмотрим наиболее общие элементы семантики прямых номинативных значений СП и способы их формального выражения.

1. Мыслительная категория «признака» и сема «признак» в прямом номинативном значении СП. «Понятию субстанции, выражаемому в языке существительным, противопоставит другая, не менее отвлеченная логическая категория — признак, по-равному выражаемая в языке такими частями речи, как прилагательное, глагол (и его формы — причастие и деепричастие) и наречие»⁵. На основе противопоставления мыслительных категорий «субстанция — признак»⁶ глаголы (в том числе их причастные формы) и прилагательные объединяются в один семиологический класс слов. Одна и та же абстрактная сема⁷ «признак», которая соотносится с общей мыслительной категорией и определяется ею, составляет наиболее абстрактный элемент сигнификативного содержания знакового значения и причастий и прилагательных.

Свое формальное (морфологическое) выражение сема «признак» находит у причастий и прилагательных прежде всего в окончаниях, грамматических формах относительных грамматических категорий рода, числа и падежа. Существующее мнение о том, что эти грамматические формы лишены «подлинного смыслового содержания», не обладают «обобщенным значением»⁸, требует, как нам кажется, уточнения; по своему функциональному назначению (в теории языковых семантических функций — по своим «структурным функциям»⁹) они представляют мыслительную категорию «признак» в виде атрибутивных (определительных) отношений признака и субстанции.

2. Особенности прямого номинативного значения СП с денотативно-сигнификативной точки зрения и сема «состояние объекта действия в результате действия» как элемент этого значения. СП в системе всех других грамматических форм глагола входит в единую глагольную лексему, относящуюся к номинативным знакам языка, знаковые значения которых имеют специфические «денотативную и сигнификативную ценности»¹⁰. Сравним значения СП и прилагательных в следующих случаях: «Он стал делать кое-какие заметки на сюжет будущей пьесы. Ему чудилось раскры-

³ А. И. Бахарев, указ. соч., стр. 11.

⁴ Там же.

⁵ А. А. Уфимцева, Типы словесных знаков, М., 1974, стр. 92—93.

⁶ Термин «признак» приобрел в лингвистических работах разные значения. Его употребляют: а) для обозначения мыслительно-логической категории, в противоположность термину «субстанция»; б) как синоним термину «качество», «свойство» (когда речь идет о семантической специфике прилагательного как части речи); в) как синоним термина «показатель». Употребление этого термина в значении б) часто не помогает четкому разграничению разрыв по содержанию семантических категорий (свойственных, например, классу прилагательных). В данной работе этот термин употребляется только в значении а) и в).

⁷ Под «семой» мы понимаем элемент смысла слова (куда могут относиться и лексические, и грамматические элементы смысла разной степени абстрагированности).

⁸ В. Г. Адиони, Статус обобщенно-грамматического значения в системе языка, ВЯ, 1975, 1, стр. 44—45.

⁹ А. В. Бондарко, Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике, сб. «Универсалии и типологические исследования», М., 1974, стр. 61—63.

¹⁰ А. А. Уфимцева, указ. соч., стр. 22.

тою окном с веткой белых цветущих вишен, влетающих из сада в комнату...» (К. Станиславский, А. П. Чехов в Московском Художественном театре); «Я пошла на этот огонек. Там я увидела Анну Ивановну, жену Суворина, сидевшую в одиночестве, с *распущенными* волосами» (М. П. Чехова, Из далекого прошлого); «На суде так и решено было, что я *обманутый* муж и что я убил, защищая свою поруганную честь» (Л. Толстой, Крейцерово соната). Ср. прилагательные: *большое окно, густые волосы, хороший муж*.

Сигнификативную сущность прямого номинативного значения СП (т. е. тот смысл, который это значение вызывает в нашем сознании) определяют три общие семантические категории: субъект действия — действие в его результативном осмыслении — объект действия. СП называет существующий в реальной действительности (денотативная отнесенность значения СП) признак, который можно определить как «состояние объекта действия в результате действия субъекта»: *раскрыть окно — раскрытое окно, распустить волосы — распущенные волосы, обмануть мужа — обманутый муж* и т. д. Прилагательные называют признак другого рода — «качество, внутреннее свойство предмета»¹¹: *большое окно, густые волосы, хороший муж* и т. д.

Сема «состояние объекта действия в результате действия субъекта» закрепляется в сознании носителей языка как понятие об определенной семантической зависимости знаков, определенном типе смысловых отношений между субъектом и объектом действия. Когда мы встречаем изолированные СП, например, *забытый, брошенный, перенесенный, утраченный* и т. п., в нашем сознании возникает (а также требует уточнения) представление об объекте действия (что именно забыто, брошено, перенесено, утрачено) и во вторую — о субъекте действия (кто забыл, бросил, перенес, утратил и т. п.). Эта семантическая зависимость знаков определяется тем, что причастие (СП) сохраняет одну из важнейших особенностей знакового значения глагола — относительный характер его семантики: без ориентации на объект действия и субъект действия выражаемое причастием понятие является неполным, незаконченным. Это понятие имеет, соответственно, особый способ языкового выражения — минимальную лексическую синтагму, реализующую одну из схем глагольных смысловых отношений: действие, направленное на объект — состояние объекта в результате этого действия¹². Та же относительность семантики (а также обязательность минимальной лексической синтагмы) свойственна и сигнификативной сущности знакового значения прилагательных, однако в языковом сознании носителей языка закрепился качественно иной тип смысловых отношений: качество — предмет.

Важно отметить, что знаковые значения СП и прилагательных, объединяясь в один класс значений семьи «признак», относятся к разным классам значений на уровне своей денотативной отнесенности и сигнификативного содержания (семей «качество — свойство» у прилагательных и семей «состояние объекта действия в результате действия субъекта» у причастий). Термины «признак», с одной стороны, и «качество», «состояние», с другой стороны, отражают разные стороны сигнификативного содержания значений СП и прилагательного: соответствующие семы соотносены

¹¹ Ср.: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, 3, М., 1968, стр. 7.

¹² В. И. Борковский и П. С. Кузнецов так определяли понятийную сущность значений СП: «...указать на действие в его результате в качестве состояния..., действие, имевшее место в прошлом, но в своем законченном виде в качестве состояния существующее в настоящем» («Историческая грамматика русского языка», М., 1963, стр. 344).

с разными по степени абстракции и понятийной направленности мыслительными категориями.

Каковы же способы «формального» выражения в языке семы «состояние объекта действия в результате действия»? Какие грамматические и лексико-грамматические категории с ней соотносятся?

В минимальной синтагме имена-объекты действия являются обязательными¹³ членами, раскрывающими денотативно-сигнификативную сущность знакового значения СП (ср. *раскрытое окно, зонтик, книга* и т. д., *освещенное пространство, комната, стол, улица* и т. д., *распущенные волосы, обманутый муж, жена, ребенок, учитель* и т. д.; *забытый зонтик, книга, сумка* и т. д.). Их количество и семантика определяют сочетаемость СП в прямом номинативном значении. Эта сочетаемость в синтагматическом ряду, та же, что и у всех других глагольных форм одной лексемы, круг существительных, с которыми согласуется СП, определяет глагольную лексему (и это существенный признак, отличающий СП от прилагательных). Существительные, с которыми согласуется СП, являются «семантическими объектами действия»¹⁴, ср. *обмануть, обманет, обманул бы* и т. д. *мужа, жену, бабушку, сына* и т. д., *обманутый (обманут) муж, жена, бабушка, сын* и т. д. СП сохраняет тип глагольного семантического управления (тип лексической связи, существующей между переходной лексемой и другой лексемой, выступающей в качестве объекта действия переходного глагола)¹⁵.

В минимальной синтагме «СП + существительное-объект действия» реализуется также и категория семантической переходности, «... приобретающая статус лексико-семантического признака, которым содержательно характеризуется управляющая лексема»¹⁶. СП как форма глагола, находящаяся в системных отношениях с другими грамматическими формами той же глагольной лексемы (в зависимости от целей конкретного высказывания происходит выбор одной из форм глагола) сохраняет в своей семантике значение переходности (значение управляющей лексемы). Разного рода обстоятельственные, уточняющие действие лексемы, которые могут быть введены в минимальную синтагму, распространяя ее, также присущи всем формам глагольной лексемы, например: «Первое Дашино письмо было длинное, веселое, второе — коротенькое, со скрытой меж строками тревогой» (Г. Пиколаева, *Битва в пути*); «А Чечевичный — что же, Чече-

¹³ Имена-субъекты действия не являются обязательными членами минимальной синтагмы. Они могут не называться, но мыслятся в самом обобщенном, абстрагированном виде.

¹⁴ Выделение и признание существования в языке «семантических объектов действия» (у СП «семантический объект действия» может быть легко трансформирован в грамматическое подлежащее пассивной конструкции либо в грамматическое дополнение активной конструкции) наряду с «грамматическими объектами действия», а также «семантической переходности» глагола наряду с «грамматической переходностью» (см., например, работы В. Н. Сидорова и И. С. Ильинской, А. А. Уфимцевой, А. М. Мухина) позволяет описать семантическую природу «прямого номинативного значения» СП более последовательно.

¹⁵ О понимании «семантического управления» как лексической связи между переходной лексемой и лексемой-дополнением см.: А. М. Мухин, *Управление как лексическая связь (в разграничении лексического и синтаксического уровней языка)*, «Научная конференция и вопросы описания лексико-семантической системы языка (Тезисы докладов)», ч. II, М., 1971; е го же, *О словосочетаниях (фразах) и методах их изучения (на материале современного русского языка)*, сб. «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974; на наличие у причастий глагольного управления указывал еще А. М. Пешковски й (см. «Русский синтаксис в научном освещении», 4-е изд., М., 1934, стр. 132).

¹⁶ А. М. Мухин, *О словосочетаниях (фразах)...*, стр. 62; А. А. Уфимцева, указ. соч. Существует и иная точка зрения на природу переходности — непереходности (см.: А. В. Бондарко, *К теории поля в грамматике — залог и залоговость*, ВЯ, 1972, 3).

вичный и к этому готов! Вынимает из кожаной папки *специально на этот случай припасенные* бумаги» (Л. Кабо, В трудном походе). Ср.: *скрыть тревогу между строк, припасты бумаги специально на этот случай.*

Все названные категориальные признаки не имеют морфологических способов выражения в форме СП, присущи ей как члену глагольной парадигмы и выражаются лексико-семантическим и отчасти синтаксическим способом (глагольное управление, переходность, «обстоятельствоное пространство» и др.).

Морфологически выражен в причастной форме залог (значение отношения действия к его субъекту и объекту); при этом СП является членом оппозиции «актив — пассив», составляющей центр поля залоговости, а также морфологической основой пассива. «Залоговая принадлежность этих образований (т. е. СП. — И. С.) может быть определена чисто морфологически, в отвлечении от конкретного лексического наполнения, от словообразовательного разряда, от синтаксической конструкции»¹⁷.

Существующая в литературе о причастиях точка зрения о том, что в одиночной препозиции (т. е. минимальной синтагме) залоговое значение у СП «затушевывается», «ослабевает», кажется неубедительной; разные виды и способы обобщений и абстракций свойственны разным уровням языковой системы, и залоговое значение СП в этой конструкции представляет собой один из способов языкового выражения значения пассива: субъект действия не назван, но мыслится в обобщенном виде¹⁸, объект действия (носитель глагольного признака) назван — это существительное, с которым согласуется СП и которое легко трансформируется в грамматическое дополнение (в вин. падеже) при инфинитиве и предикативных формах того же глагола. Ср.: *обмануть, обманувший* (актив) — *обманутый* (пассив); *осветить, осветивший* (актив) — *освещенный* (пассив) и т. д. Значение страдательности как бы фокусируется в своем наиболее обобщенном виде в семантике основы СП. Минимальная синтагма СП воплощает одну из семантико-синтаксических форм пассива: *обманутый муж, освещенное пространство, распущенные волосы* и др.

В языковом сознании существует регулярная соотносительность минимальных синтагм «СП + существительное-объект действия» с краткими (предикативными) формами СП, употребленными в определительных придаточных предложениях: *раскрытое окно = окно, которое было раскрыто; забытый зонтик = зонтик, который был забыт; брошенный муж = муж, который был брошен; освещенное пространство = пространство, которое было освещено; утраченные иллюзии = иллюзии, которые были утрачены; взволнованный человек = человек, который был взволнован (чем-то); вооруженный рабочий = рабочий, который был вооружен* и т. д. Правая и левая части представляют собой синонимичные знаки-синтагмы; на «словарном» уровне правая часть может служить толкованием левой, подчеркивая некоторый смысл, заключенный в ней, а именно — скрытую предикативность и перфектность, которыми эти минимальные синтагмы всегда обладают (*покинутое место* — это место, которое было покинуто кем-то; *забытый зонтик* — это зонтик, который был забыт и т. д.) Синтаксическая форма правой части — придаточное определительное предложение — отражает атрибутивные отношения СП и существительного — объекта действия в минимальной синтагме (в левой части). Скрытые предикативность и перфектность, свойственные минимальной синтагме «СП + существительное-объект действия», скрытая перфектность как свойство изолированного СП на словарном уровне (*утраченный* — то, что было ут-

¹⁷ А. В. Бондарко, указ. соч., стр. 28.

¹⁸ Там же, стр. 29; В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 344.

рачено: утраченные надежды) существенным образом отличают СП от прилагательных.

Итак, второй общий элемент семантики прямого номинативного значения СП — сема «состояние объекта действия в результате действия» непосредственно связана с категориями залога, переходности, объектности, глагольного управления, «скрытой предикативностью» в минимальной синтагме, «скрытой перфектностью»¹⁹. Наиболее «грамматичной» оказывается в СП категория залога. Категории «переходности», «объектности», «глагольного управления» выражены в СП лексико-семантическим способом (с точки зрения теории поля, в грамматике СП находится как бы на «периферии» поля этих языковых категорий, если учитывать степень грамматичности их выражения).

Какие выводы можно сделать в связи с выделением в сигнификативном содержании значения СП семы «признак», с одной стороны, и семы «состояние объекта действия в результате действия»²⁰, с другой? Сема «качество, свойство» (но не сема «признак») составляет семантическую специфику прилагательного как части речи. Сема «состояние...» составляет одну из черт семантической специфики глагола как части речи (в его причастных формах). В этой связи по-иному, в отличие от традиционного способа, можно интерпретировать сущность грамматических форм рода, числа и падежа у причастий и прилагательных. Традиционное утверждение о том, что причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного, требует уточнения. Ведь грамматические формы рода, числа и падежа являются средством передачи признака субстанции (либо ее «состояния...», либо ее «качества, свойства») в форме атрибутивных (определятельных) отношений. Они не являются принадлежностью только класса прилагательных, но в равной мере принадлежат глаголу в его причастных формах. По-видимому, здесь можно говорить о своеобразной функциональной полисемии этих грамматических форм (в одном случае они реализуют в атрибутивных, определятельных, отношениях сему «состояние...», в других — сему «качество, внутреннее свойство»).

Атрибутивность грамматических форм рода, числа, падежа согласуется с семантикой прилагательного как части речи, которая связана с определительными (качество, свойство), а не субъектно-объектными, как у СП, отношениями. «... В зависимости категорий рода прилагательных от тех существительных, с которыми они согласуются, находит дополнительное избыточное выражение семантика прилагательных как части речи...»²¹. Семантика СП не находит такого же избыточного выражения в атрибутивности грамматических форм рода, числа, падежа. «Избыточность» — «неизбыточность» этих грамматических форм у прилагательных и причастий является, таким образом, одним из признаков, которые выражают грамматическую полисемию этих форм.

Следствием отнесения грамматических форм рода, числа и падежа только к классу прилагательных, а затем механического перенесения этих свойств прилагательных на класс причастий, следствием ориентации только на понятийно-логическую категорию признака являются опреде-

¹⁹ Грамматические категории СП — относительность времени, характер приставочных образований, категория залога (в иной интерпретации), категория вида — рассмотрены в кн. Л. П. К а л а к у н о й «Адъективация причастий в современном русском литературном языке» (М., 1974), посвященной грамматическим причинам этого процесса.

²⁰ У других форм причастия, например, действительных настоящего и прошедшего времени, также можно выделить сему «признак», с одной стороны, и сему «состояние субъекта действия», с другой.

²¹ А. В. Б о н д а р к о, Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике, сб. «Универсалии и типологические исследования», стр. 63.

ления семантики причастий, даваемые во многих грамматиках современного русского языка: «Причастие... обозначает действие, приписываемое лицу или предмету как признак, как их свойство...»²²; «Подобно прилагательному, причастие обозначает признак предмета...»²³; «Причастие называется неспрягаемая форма глагола..., которая обозначает признак предмета...»²⁴; «Причастие — это название глагольного признака, осложненного представлением о пассивном признаке, т. е. представлением о свойстве и качестве...»²⁵. Наиболее удачным кажется определение причастия, данное в «Грамматике современного русского литературного языка» (1970): «Причастием называется форма глагола, обозначающая как атрибутивное состояние... тот процесс, который назван инфинитивом этого глагола»²⁶ (разрядка всюду наша. — И. С.).

Очевидно, те же причины лежат в основе отнесения причастий к классу прилагательных: «... так как причастие есть прежде всего прилагательное, то оно разделяет все свойства прилагательных»²⁷; «Причастия являются по существу прилагательными, образованными от глагола..., хотя синтаксически и причастия и инфинитивы сохраняют много общего с глаголом»²⁸; «... причастие обозначает процессуальное качество предмета, а не качественное действие, поскольку в русском языке морфологические показатели имеют решающее значение при классификации слов по частям речи...», причастие — «процессуальная разновидность прилагательного»²⁹.

По-видимому, тождество в формальном выражении и обобщенном значении (соотнесенность с общей понятийно-логической категорией «признак») грамматических форм рода, числа и падежа у причастий и прилагательных не может быть достаточным основанием для отнесения причастия к классу прилагательных. Нет оснований также для выводов о том, что причастие занимает «неустойчивое положение в системе частей речи» (А. И. Бахарев) или о том, что «... прилагательность, адъективность — постоянный атрибут причастия, а глагольность — не постоянный, она может быть выражена у причастия в той или иной степени, но никогда в той, в какой она присуща глаголу»³⁰. Причастия не являются ни самостоятельной частью речи, ни промежуточным классом слов (между глаголом и прилагательным), ни процессуальным прилагательным. СП — одна из глагольных словоформ, имеющая в своем прямом номинативном значении постоянные глагольные семы (как грамматические, так и лексико-семантические — как правило, она сохраняет количество и тип значений единой глагольной лексики, их иерархическую зависимость), объединяющие эту словоформу с другими словоформами того же глагола. Противоречие, которое усматривается многими исследователями между атрибутивной

²² «Грамматика русского языка», I, М., 1952, стр. 506.

²³ «Современный русский язык», под ред. Д. Э. Розенталя, М., 1971, стр. 332.

²⁴ Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина, В. В. Цапункина и др., Современный русский язык, М., 1964, стр. 239.

²⁵ А. А. Шамагов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 470.

²⁶ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 418; О разных точках зрения на грамматическую природу причастий см.: Е. А. Иванникова, О так называемом процессе адъективации причастий, сб. «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974; Т. П. Ломтев, Очерки по историческому синтаксису русского языка, М., 1957; В. В. Виноградов, Русский язык, М., 1947.

²⁷ А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 82.

²⁸ О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 96.

²⁹ Е. А. Иванникова, указ. соч., стр. 298, 301.

³⁰ Там же, стр. 300.

формой (аффиксами *-ый, -ий*) и грамматическими категориями залога, переходности, времени, вида и т. д., между «действием как процессом, движением и признаком как устойчивой величиной» (А. И. Бахарев), очевидно, не существует, а именно это противоречие считается одним из главных условий семантической деривации причастий.

Свойства глагола, одной из центральных категорий в языке, столь многоплановы, что они делают возможным (и необходимым) наличие в системе глагола и атрибутивных форм. Нет оснований для выводов о том, что в причастии происходит «борьба» между «несоединимыми», «чуждыми» друг другу понятиями и языковыми категориями. Язык выработал экономный способ обозначения особых, существующих в реальной действительности и в языковом сознании признаков предметов — объектов действия.

3. СП в составе атрибутивной синтаксической конструкции «СП + существительное» (одиночная препозиция) в высказывании. Принадлежность СП к глаголам подтверждают также и те их категориальные свойства, наличие которых обусловлено упреждением СП в составе высказывания (категориальные свойства СП на уровне речи).

Атрибутивная конструкция (далее — АК) «СП + существительное» представляет собой микроконтекст (реализующий все категориальные признаки СП), а также элементарную структуру — элемент высказывания — «... самостоятельный, и в самом себе достаточный языковой знак, имеющий свою собственную форму и свое собственное значение»³¹. АК — универсальная синтаксическая схема, которая складывается из атрибута (он может быть выражен разными классами слов: прилагательным, местоимением, причастием, числительным) и существительного, связанных отношениями синтаксического согласования. Наиболее абстрактное значение, присущее АК независимо от свойств компонентов, — атрибутивность (ср. значение предикативности как наиболее абстрактное свойство структурной схемы — предложения). Это самое общее грамматическое значение (значение того абстрактного образца, по которому строятся конкретные АК) накладывается на значения иного качества (уже не собственно грамматические, зависящие от компонентов схемы и их отношений, от лексической семантики слов, заполняющих эти позиции)³².

АК, имея свои компоненты «СП + существительное-объект действия», помимо собственно грамматического значения «определятельности» (единственный признак, объединяющий в один тип вышеназванные АК и АК, имеющие в своем составе прилагательные), имеет также общее значение: «состояние объекта (в иной терминологии — «целевой субстанции»³³) глагольного действия в результате этого действия». Ср.: *Я увидела Анну Ивановну, сидевшую в одиночестве, с распущенными волосами; Катя переступила через эту границу и вошла в освещенное пространство*. Эта значимая сторона АК формируется на основе языковых свойств ее составляющих (в частности, отражая природу прямого номинативного значения причастия). Словосочетание «СП + существительное» характеризуется повышенной смысловой нагруженностью, оно, будучи употребленным в определенном контексте или ситуации, содержит некоторый смысл имплицитно: *с распущенными волосами* — с волосами, которые (она — Анна Ивановна) распустила по плечам; *освещенное пространство* — пространство, которое было освещено (чем-то, в тексте — Луной). Этот тип

³¹ Н. Ю. Шведова, Место семантики в описательной грамматике (синтаксис), в кн.: «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974, стр. 107.

³² Там же, стр. 108, 109.

³³ Я. Качала, Субстанциальные и несубстанциальные характеристики глагола, в кн.: «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974.

сочетаний является экономным средством передачи «микросмысла» (говорящий не стремится детализировать ситуацию, которая и так ясна или не важна в акте коммуникации; однако сочетание может дорабатываться, уточняться, конкретизироваться — с *распущенными по плечам волосами* и т. д.).

С точки зрения элементарных структур, составляющих предложение, АК представляет собой самостоятельную структуру, которая позволяет говорить о дополнительном ядре высказывания, выражающем особый смысл — сообщение — в свернутом виде³⁴. В предложении АК играет роль неактуализованной пропозиции, которая всегда может быть актуализована в предложении (в виде полного причастного оборота, определительного придаточного предложения и т. д.) — в отличие от АК с прилагательными³⁵. Осознанию АК как дополнительного ядра высказывания способствует и значение «скрытой предикативности»³⁶ и значение «перфектности»³⁷ (состояние — результат совершенного в прошлом действия — отнесено ко времени сказуемого, которое может быть и прошедшим и будущим)³⁸.

Таким образом, семантика (общее значение) конструкции «СП + существительное» определяется (в отличие от общего грамматического значения самой схемы) свойствами СП. Эта значимая сторона АК «СП + существительное» указывает на ее способность быть одним из средств выражения не только определительных, но и субъектно-объектных отношений (отношений действия, объекта действия и наиболее абстрагированного субъекта).

Одной из существенных черт, принципиально отличающих этот тип АК от АК «прилагательное + существительное», является свойство дейктивности³⁹, непосредственно связанное с особенностями семантики АК «СП + существительное» и проявляющееся в конкретном речевом высказывании. Это свойство, или «сема» дейктивности, выступает как бы в двух разновидностях.

Во-первых, АК «СП + существительное» представляет собой сокращенную номинацию ситуации, описанной в предыдущем контексте, т. е. соотносит данное конкретное высказывание с предыдущим контекстом. Ср.: «Пусть сами выбирают, кто им больше нравится... — Это чтобы ты уехал из района с аттестацией *забаллотированного* секретаря» (Правда, 15 VIII 1966); «Мне казалось, что в добрых внимательных глазах его осталось что-то от *перенесенных* страданий» (Коротков, Всегда в памяти); Петька встал на ноги, потер *шибленный* затылок» (В. Белов, Кануны). Предыдущий контекст может быть разной степени широты — от содержания

³⁴ Именно этим объясняется тот факт, что можно сказать *сидела с распущенными волосами*, но нельзя сказать *сидела с густыми волосами*.

³⁵ Об условиях замены причастных оборотов, а также некоторых одиночных проприативных причастий придаточными определительными предложениями см.: Н. М. Медведев, Об условиях утраты определительных придаточных предложений, соотносительных с причастными оборотами, в кн.: «Нормы современного русского литературного словоупотребления», Л., 1966.

³⁶ На «скрытую предикативность» причастных форм обращали внимание многие исследователи. См., например: А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, в кн.: «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку (ученик о частях речи)», М., 1952, стр. 84; Н. М. Медведев, указ. соч., и др.

³⁷ В. И. Бороковский, П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 260; см. также: А. В. Бовдарко, Грамматическая категория и контекст, раздел «Темпоральность»; П. С. Поспелов, О выражении перфектности в русском глаголе (Доклад на Выноградских чтениях, 10 янв. 1975, МГУ), и др.

³⁸ См. об относительности времени СП: Л. П. Калакуцкая, указ. соч.

³⁹ Этим свойством обладает лексически ограниченный круг прилагательных в отличие от СП, у которых дейктивность лексически не ограничена.

главы, отрезка до предшествующей фразы. АК может быть также «ключевой единицей», предваряющей изложение событий, делающей обязательным раскрытие сокращенной номинации, заключенной в АК, в последующем контексте. Ср.: «Вошла *взволнованная* Маша. — Что случилось? — Отец приехал!» (из материалов для радиовещания); «Федор пришел поздно, с *забитой* рукой. — Где это ты? — Да на стройке на стружку упал» (там же). Таким образом, АК является одним из языковых синтаксических средств, связывающих в смысловом отношении части текста (самых разных объемов).

Во-вторых, АК может соотносить конкретное высказывание с ситуацией, которая находится за пределами текста, однако ясна говорящему и слушающему. При этом степень важности этой ситуации, с точки зрения говорящего, для акта коммуникации может быть разной, часто минимальной. Говорящему важно подчеркнуть лишь результат — состояние объекта действия. В этом случае значение дейктичности находится на периферии смыслового содержания АК. Ср.: «Передо мной *раскрытая* книга. И что же я знаю, читаю?...» (Ю. Олеша, Я смотрю в прошлое); «Он стоит на фоне балконной двери, черный, как тень, на тонких *расставленных* ногах» (Ю. Олеша, Человеческий материал); «Для очень многих, особенно для представителей искусства... и для руководителей всевозможных *организованных* групп, культура играет огромную роль в формировании эстетического вкуса...».

АК «СП + существительное», выполняя дейктическую функцию, является одним из элементов функционально-семантического поля субъективной ориентации. Этот синтаксический знак выступает как одно из средств субъективного указания на пространственное и временное соположение лиц, предметов, событий в конкретном акте речи. Степень дейктичности АК зависит от субъективной ориентации говорящего, от оценки им важности содержащейся в АК информации, желания повторить, подчеркнуть элементы уже известного смысла, от соотносительности АК только с внеконтекстной ситуацией или, наоборот, с предыдущим или последующим контекстом. Вид дейктичности зависит, по-видимому, и от специфики лексической семантики СП (например, СП *остановленный, принесенный, кулennyй* и т. п. не могут в одиночной препозиции соотноситься с внеконтекстной ситуацией).

Итак, АК «СП + существительное» выполняет в речи две функции — номинативную (обозначение состояния объекта в результате действия)⁴⁰ и дейктическую (контекстная и ситуативная прикрепленность высказывания), являясь «полудейктическим» синтаксическим знаком. Эта двойная функциональная нагрузка, двойная информативность⁴¹ АК, концентрация смысла описываемой или известной говорящему ситуации создают большую экспрессивную насыщенность АК, делая эту конструкцию одним из средств экспрессивной выразительности речи, распространенным преимущественно в языке художественной литературы⁴².

«Сему» дейктичности, а также экспрессивную выразительность приобретает в речи в составе АК и само СП; как виртуальный языковой знак СП этой «семе» не имеет. Отсутствие «семе» дейктичности у СП на уровне речи может быть одним из показателей степени семантических сдвигов в его

⁴⁰ Проблема синтаксической семантики разрабатывается многими исследователями (Н. Ю. Шведовой, Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гаком, Е. В. Падучевой, Ч. Филмором и др.).

⁴¹ Исследование проблемы информативности языковых единиц см.: И. Р. Г а л ь п е р к и н, Информативность единиц языка, М., 1974.

⁴² С этой точки зрения АК могут быть исследованы как особые средства выразительности языка писателя. Ср., например, прозу К. Симонова, В. Богомолова, насыщенную конструкциями АК «СП + существительное».

прямом номинативном значении. Ср., например: «Товарищ Коротков здесь?» — В дверях стоял *вооруженный* красногвардеец. Он сказал, что...» (Коротков, Всегда в памяти) — здесь произошел семантический сдвиг в прямом номинативном значении СП *вооруженный* в сторону «адъективации» (ср. еще *вооруженное нападение, вооруженное восстание*).

Наличие двойной информативности, экспрессивной насыщенности прямого номинативного значения СП делает возможным его индивидуально-авторское употребление в языке художественной литературы. В художественном контексте СП выступает в роли символа (термин, введенный В. В. Виноградовым для обозначения свойств лексических значений слов, определенных художественным контекстом, и противопоставленный термину «лексема»⁴³), выполняя эстетическую функцию: «Значение может быть необязательным, даже неожиданным по поводу данной реалии, но незаменимо как выражение модального качества мысли, целесообразно для передачи психической среды сообщаемого логического содержания»⁴⁴. Ср.: «Она впервые задала себе этот вопрос. Охватила взглядом *разоренное* застолье, недоожденных „жар-птиц“, все свое унижение и ответила: „люблю...“» (Г. Николаева, Битва в пути); «Белые, *оборванные* тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» (А. С. Пушкин, Путешествие в Арзрум). С этой точки зрения кажутся неоправданными привлекаемые некоторыми исследователями для иллюстраций семантических изменений СП в системе языка примеры типа: *растроганный порыв, рассерженный гудок*⁴⁵ и др.

АК «СП + существительное» играет роль дифференцирующего признака при разграничении разных лексических значений СП. Прямое номинативное значение СП (в отличие от прилагательных) может, как правило, реализоваться в разных синтаксических моделях: полном причастном обороте, с уточнениями, обстоятельными словами, в одиночной препозиции, в постпозиции, как обособленный член предложения. Иногда в этом значении происходят существенные семантические сдвиги, образующие новые лексические значения. Тогда, как правило, одиночная препозиция (как и постпозиция) закрепляется за этим новым значением в системе языка, причем в речевом высказывании дейктической «семь» у таких значений нет. Прямое номинативное значение СП становится конструктивно обусловленным в том смысле, что вне конструкции с уточняющими словами или вне полного причастного оборота его употребление в речи становится невозможным. Ср. разные значения СП *воспитанный*: «Он гордился своим *воспитанным* дядей, который без салфетки не может позавтракать» (В. Панова, Сережа) и «... волнение... охватило всех нас... при встрече с писателем, имя которого мы, *воспитанные* Вл. И. Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением» (О. Л. Книппер-Чехова, О А. П. Чехове). В этом смысле для прилагательных сама модель — одиночная препозиция — такой роли не играет.

*

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что само по себе употребление СП в одиночной препозиции в речевом высказывании не может рассматриваться как основное условие семантических изменений СП, в частности его адъективации. Этому препятствует не только семантика АК

⁴³ В. В. Виноградов, О поэзии Анны Ахматовой, Л., 1925.

⁴⁴ Б. А. Ларин, Эстетика слова и язык писателя, Л., 1974, стр. 33.

⁴⁵ А. И. Бахарев, указ. соч., стр. 9.

«СП + существительное», присущая ей на уровне языка, но и функциональная значимость АК на уровне речи.

Очевидно, причины семантической деривации СП, в том числе и адъективации, кроются не только в их формальном сходстве с прилагательными (тождество структурных функций грамматических форм рода, числа и падежа; общий тип модели АК). Эти причины следует искать в различных свойствах СП, которыми они обладают как члены глагольной лексики: 1) в особенностях семантики глагола с точки зрения его денотативно-сигнификативных свойств⁴⁶; 2) в особенностях грамматических свойств СП как формы глагола⁴⁷; 3) в особенностях прагматических и дейктических свойств СП. Особую роль в семантической деривации СП может играть художественный контекст, когда лексическое значение — «символ» перестает им быть, входя в систему языка в качестве нового лексического значения.

⁴⁶ См.: И. К. Сазонова. Семантический фактор в формировании вторичного лексического значения слова, ВЯ, 1971, 6.

⁴⁷ См.: Л. П. Калакуцкая, указ. соч.

С. М. ТОЛСТАЯ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ СОГЛАСНЫХ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Анализ консонантных чередований обнаруживает по крайней мере две систематических закономерности: 1) каждый согласный чередуется не со всяким другим согласным, а лишь с одним или несколькими определенными согласными (например, *r* чередуется только с *r'*, *g* — только с *ž*, *m* — либо с *m'*, либо с *m'l'*); 2) в каждой словоизменительной парадигме или словообразовательном типе, имеющем чередование, чередованию подвержен не один какой-нибудь согласный, а, как правило, целый ряд согласных, выступающих в исходе соответствующих основ, т. е. парадигма или словообразовательный тип характеризуются обычно определенным альтернативным рядом (например, в парадигме настоящего времени глаголов на *-ить* чередуются не только *m' — ml'*; *кормит — кормлю*, но и *w' — wl'*, *p' — pl'*, *b' — bl'*, *t' — č*, *d' — ž*, *s' — š*, *z' — ž*).

Уже давно было отмечено, что все регулярные консонантные чередования в русском языке, если их рассматривать не просто как коррелятивные пары согласных, а как замену одного согласного другим в определенных морфологических условиях с учетом направления чередований, сводятся к двум механизмам: смягчения (палатализации) и отвердения (диспалатализации). Сразу же следует подчеркнуть, что эти понятия, заимствованные из исторической фонетики, в морфологии применяются условно, поскольку к палатализации, например, относят как замену парного твердого согласного на мягкий (например, *r → r'*), так и замену твердого согласного на твердый (например, *g → ž*) и даже мягкого на твердый (например, *d' → ž*), и, наоборот, к диспалатализации — такие различные с фонетической точки зрения замены, как *l' → l* (мягкий на твердый), *č → t'* (мягкий на мягкий), *ž → z'* (твердый на мягкий), *ž → g* (твердый на твердый). Тем не менее сохранение этих терминов оправдано не только и не столько ассоциацией с лежащими в основе этих чередований историческими процессами, сколько тем, что каждое из таких чередований может входить в один альтернативный ряд с такими согласными, для которых оппозиция по палатальности актуальна и на современном фонологическом уровне (например, *r — r'*, *l — l'*, *n — n'*), что и позволяет объединить весь ряд признаков палатальности — непалатальности, придав ему в данном случае морфонологический смысл.

Исследователи русской морфологии различают, кроме того, так называемое непереходное и переходное смягчение и соответственно отвердение (диспалатализацию)². При этом непереходным смягчением называют чередование типа *t → t'*, *s → s'*, когда парный твердый согласный замещается соответствующим мягким, а переходным — чередование типа *t' → č*, *g → ž*, когда альтернанты не связаны отношением палатальности. Аналогично понимается непереходная и переходная диспалатализация.

²Впервые это понятие в строгом морфонологическом смысле употребил Р. О. Якобсон (со ссылкой на русскую традицию) в своем описании русского спряжения: R. O. Jakobson, Russian conjugation, «Words», IV, 3, 1948. В том же смысле, но с некоторыми модификациями оно было позже использовано М. Халле (О правилах русского спряжения, «American contributions to the V international congress of slavists», The Hague, 1964) и Д. Уортом (Морфология нулевой аффиксации в русском словообразовании, ВЯ, 1972, 6).

В зависимости от того, какому типу (каким типам) смягчения подвергается каждый согласный, стоящий в исходе основы, согласные русского языка распадаются на следующие четыре класса: I — согласные, не подверженные смягчению, II — согласные, подверженные только непременному смягчению, III — согласные, подверженные только переходному смягчению, IV — согласные, подверженные и непременному, и переходному смягчению (см. табл. 1).

Таблица 1

Классификация согласных по типам смягчения

Класс	Исходная ступень	Степень непремен. смягч.	Степень перех. смягч.
I	л' р' л' л' з' с' з'		
II	г л п	г' л' п'	
III	т' ш' ф' р' б' т' д' с' з' к г х с		тл' шл' фл' рл' бл' ч (ч') ж (жд, жд') з з (с) ж с з
IV	т ш ф р б т д с з	т' ш' ф' р' б' т' д' с' з'	тл' шл' фл' рл' бл' ч ж з

Примечание:

1. В таблице не учтены согласные \bar{s} и \bar{z} как результат палатализации s' , sk и zd' , zg , поскольку их следует на морфологическом уровне трактовать как бифонемные сочетания \bar{s} и \bar{z} .

2. Альтернанты \bar{s} и \bar{z} , \bar{z} д', заключенные в скобки, функционально тождественны соответствующим альтернантам \check{s} и \check{z} , ибо они выступают в одних и тех же альтернативных рядах и различаются лишь тензическим распределением. Ср.: $t' - \check{s} = t' - \bar{s}$ (заметить — заметить, заметить — заметить = возвратить — возвратить), $d' - \check{z} = d' - \bar{z}$ д' (снарядить — снаряжать = убедить — убеждать), $d' - \bar{z}$ д' = $d' - \bar{z}$ д' (бродить — бродение = ходить — хождение). Что касается чередования $k - c$, то оно встречается в таких альтернативных рядах, где другие основы того же типа либо не имеют чередования, либо имеют чередование $k - \check{s}$. Ср.: воскликнуть — восклицать, бражнить — бражиться = жалнуть — жалкать, мелькать — мелькать = фыркнуть — фыркать и фырчать, крикнуть — кричать.

Строго говоря, различие переходного и непременного смягчения существенно только для согласных IV класса, т. е. для твердых губных и переднеязычных: $t - t'$ (возьму — возьмешь), $t - tl'$ (дремать — дремлю, дремлешь, Рим — римлянин), $w - w'$ (зову — зовешь), $w - wl'$ (торговать — торговая, дешевый — дешевле, Киев — киевлянин), $f - f'$ (графа — графить), $f - fl'$ (Иосиф — иосифлянин), $p - p'$ (спать —

спит), *p* — *p'* (капать — капля, слать — сплю, трепать — треплю), *b* — *b'* (гребу — гребет), *b* — *bl'* (гребу — гребля, поколебать — поколеблю, поколеблешь), *t* — *t'* (мету — метешь), *t* — *č* (крутой — круче, хохотать — хохочу, хохочет), *d* — *d'* (веду — ведешь), *d* — *ž* (пропаду — пропажа, город — горожанин, худой — хуже), *s* — *s'* (несу — несешь), *s* — *š* (несу — ноша, писать — пишу, пишешь), *z* — *z'* (веду — веешь), *z* — *ž* (вязать — вяжу, вяжешь). Для всех остальных согласных достаточно было бы говорить просто о смягчении — тот факт, что для согласных II класса это будет означать непереходное смягчение, для согласных III класса — переходное, а для I класса смягчение будет нулевым (т. е. согласные останутся без изменения), можно считать незначимым, поскольку общее указание о наличии или отсутствии смягчения однозначно определит вид чередования для всех согласных этих классов. В таком случае следовало бы выделить: 1) согласные, не подверженные смягчению (I класс), 2) согласные, не различающие переходного и непереходного смягчения (II и III классы) и 3) согласные, различающие эти два вида смягчения (IV класс). Или, что то же самое: 1) согласные, имеющие всего одну — исходную (или нулевую) ступень чередования, 2) согласные, имеющие две ступени чередования (исходную и ступень смягчения) и 3) согласные, имеющие три ступени (исходную, ступень непереходного и переходного смягчения).

Однако такой подход, хотя он и был бы вполне оправдан с формальной точки зрения, оказывается неприемлемым, когда речь идет о функциональной морфологической интерпретации русских консонантных чередований, которые носят не индивидуальный, а системный характер, т. е. являются приметой целых альтернативных рядов, включающих в принципе любые консонантные исходы. Если альтернативный ряд содержит чередования собственно переходного или собственно непереходного типа (согласные IV класса) наряду с чередованиями, для которых это различение не существенно (II и III класс), то очевидно, что морфологическая характеристика такого альтернативного ряда определяется типом чередования согласных IV класса, для которых различение переходного и непереходного смягчения релевантно. Это значит, что чередования согласных II класса, формально квалифицируемые как непереходные, и чередования согласных III класса, формально квалифицируемые как переходные, могут быть функционально истолкованы и как переходные, и как непереходные в зависимости от их совместности/несовместности с собственно переходными и непереходными чередованиями согласных IV класса в составе одного альтернативного ряда.

Так, чередования согласных II класса *r* — *r'*, *l* — *l'*, *n* — *n'*, формально относящиеся к непереходному типу, на функциональном морфологическом уровне могут интерпретироваться и как непереходные, если они входят в альтернативный ряд, содержащий собственно непереходные чередования (*r* — *r'*, *l* — *l'*, *n* — *n'* = *w* — *w'*, *t* — *t'* и т. д., ср. беру — берешь, толкну — толкнешь = зову — зовешь, мету — метешь), и как переходные — в составе альтернативных рядов, содержащих чередования собственно переходного типа (*r* — *r'*, *l* — *l'*, *n* — *n'* = *m* — *ml'*, *s* — *š* и т. д., ср. пороть — порю, порет, колоть — колю, колет, гнать — гоню, гонит = дремать — дремлю, дремлет, писать — пишу, пишет и т. д.). Точно так же чередования заднеязычных с шипящими *k* — *č*, *g* — *ž*, *x* — *š*, которые формально принадлежат к переходному типу, в функциональном отношении могут быть как переходными (скакать — скачу, скачешь = дремать — дремлю, дремлешь, вязать — вяжу, вяжешь, и т. д.), так и непереходными (печу — печешь = гребу — гребешь, несу — несешь). В подобных случаях можно говорить о формальной нейтрализации функционального противопоставления переходного и непереходного смягчения

(для $r - r'$, $l - l'$, $n - n'$ в пользу формально непереходного типа, а для $k - \check{z}$, $g - \check{z}$, $x - \check{s}$ — в пользу формально переходного типа) или об омонимичных чередованиях: переходное чередование $r - r'$, $k - \check{z}$ и т. д. и непереходное чередование $r - r'$, $k - \check{z}$ и т. д.

Нужно, однако, сказать, что серия заднеязычных морфем образует совершенно особый фрагмент морфонологической системы русского языка, подобно тому, как совершенно по-особому ведут себя заднеязычные в фонологической системе². Прежде всего, морфонологическая характеристика заднеязычных не может не зависеть от трактовки мягких $k'g'x'$ — недостаточность фонологической самостоятельности не позволяет считать их морфемами русского языка, хотя они выступают в некоторых альтернативных рядах параллельно с другими, полноценными морфемами, ср. *веду — веда, несу — неси = неку — неки, берегу — береги или мама — мамин, папа — папин = тетка — теткин, Ольга — Ольгин* и т. п. В подобных случаях приходится признавать отсутствие чередований в заднеязычной серии и трактовать $k'g'x'$ вместе с $k g x$ как единицы нулевой степени чередования.

Кроме того, в отличие от других согласных, пенеулевые альтернанты заднеязычных могут выступать на всех трех ступенях смягчения. В альтернативных рядах, где согласные IV класса не претерпевают смягчения, заднеязычные могут выступать и в своем исходном виде, и в виде шипящих. Например, *пух — пуховый = дом — домовый, икать — икота = зевать — зевота; но: пух — пушок = ком — комок, прыгаю — прыжок = скребу — скребок, сниму — снимок*.

Точно так же в альтернативных рядах, где представлены результаты непереходного смягчения согласных IV класса, заднеязычные могут иметь и не иметь смягчения: *мох — мшиный = овес — овсяный, пеку — печешь = гребу — гребешь, всякий — всячина = слабый — слабина*, но: *помогу — помоги = вежу — вежи, гребу — гребь, танк — танкист, штанга — штангист = штаб — штабист, велосипед — велосипедист*. Таким образом, если следовать предложенному критерию квалификации чередований, т. е. сопоставлению их с чередованиями согласных IV класса, то для заднеязычных придется признать наличие большего числа ступеней, а именно: нулевой ступени 1 ($k g x$) и нулевой ступени 2 ($\check{z} \check{z} \check{s}$), ступени непереходного смягчения 1 ($k g x$, точнее $k'g'x'$) и ступени непереходного смягчения 2 ($\check{z} \check{z} \check{s}$), и, наконец, ступени переходного смягчения ($\check{z} \check{z} \check{s}$). Следует, однако, заметить, что эти отклонения в поведении заднеязычных в обоих случаях могут иметь специальные дополнительные объяснения: наличие чередования в альтернативных рядах, где другие согласные выступают на нулевой ступени, может быть объяснено как следствие соседства морфемы k в суффиксе (*клок + ок → клочок*, при двух исключениях: *мяжок, легок*); отсутствие же смягчения в альтернативных рядах с непереходным смягчением твердых губных и переднеязычных всегда связано с наличием смягченных вариантов $k'g'x'$ (*бабушка — бабушкин, неку — неки, штанга — штангист*). Если же отвлечься от этих случаев, то морфонологическая характеристика заднеязычных на функциональном уровне совпадает с характеристикой класса $r l n$.

Теперь попытаемся определить функциональный тип чередований парных мягких согласных, принадлежащих вместе с заднеязычными к III классу, для которого характерно формально переходное смягчение ($m' - m''$, $w' - w''$, $s' - \check{s}$ и т. д.). В отглагольных существительных жен.

² См. морфонологический анализ заднеязычных в работе Н. А. Еськовой «О некоторых морфонологических явлениях современного русского языка (На материале образований с суффиксом *-ец* от географических названий с основой на заднеязычные согласные)», сб. «Топонимастика и транскрипция», М., 1964.

рода на *-а* с нулевым суффиксом мягкие губные и переднеязычные глагольных основ чередуются аналогично твердым согласным, испытывающим в этих дериватах переходное смягчение (*купить — купля, ловить — ловля, встретить — встреча, студить — стужа, носить — ноша = капать — капля, торговать — торговля, пропасть — пропажа, прясть — пряжа* и т. д.), т. е. в данном случае такие чередования выступают как функционально переходные. Однако можно привести другой альтернативный ряд, образуемый, например, отглагольными производными жен. рода с нулевым окончанием, где интересующие нас согласные III класса в исходе производящих глагольных основ не подвергаются смягчению, тогда как соседние с ними в данном альтернативном ряду твердые глагольные основы претерпевают непереходное смягчение: *прорубить — прорубь, молить — моля, (из)морозить — изморозь, смешать — смесь, ходить — (ино)ходь, городить — (из)городь = записать — запись, мазать — мазь, исповедать — исповедь* и т. п. Следовательно, у данных согласных не различаются исходная ступень и ступень непереходного смягчения (нейтрализация в пользу исходной ступени), тогда как ступени непереходного и переходного смягчения различаются и функционально, и формально.

И, наконец, согласные I класса, не допускающие никаких модификаций, функционально могут быть подвержены обоим типам смягчения: ср. *дарить — дарю, веселить — веселю, помнить — помню, сушить — сушу, дружить — дружу, лечить — лечу, трещать — трещу, визжать — визжу = кормить — кормлю, купить — куплю, крутить — кручу* и т. д. (переходное смягчение), и, с другой стороны, *фонарь — фонарик, наль — нолик, луч — лучик* и т. д. = *дом — домик, столб — столбик, сад — садик, пес — песик* и т. д. (непереходное смягчение).

Таким образом, все согласные русского языка в принципе могут иметь все три ступени чередования: исходную ступень, ступень непереходного смягчения, ступень переходного смягчения, ибо каждый из них может совмещаться в одном альтернативном ряду с согласными IV класса. Различия же между ними определяются тем, сколько ступеней и какие именно различаются формально и соответственно — сколько ступеней и какие нейтрализуются в плане выражения (см. табл. 2). Согласные 1 функционального класса имеют единый вид на всех трех ступенях чередования; согласные 2 класса различают исходную ступень и не различают формально ступени непереходного и переходного смягчения; согласные 3 класса не различают исходной ступени и ступени непереходного смягчения и имеют особую форму выражения для переходного смягчения. И, наконец, согласные 4 класса различают все три ступени чередования, т. е. имеют для каждой из них особое выражение. Можно сказать, что таблица отражает парадигматику консонантных чередований в русском языке, их основные типы, которые реализуются во множестве конкретных альтернативных рядов, характеризующих словоизменительную и деривационную систему русского языка.

Приведенное в табл. 2 распределение консонантных альтернатив по ступеням чередования оказывается действительным для значительного числа наиболее регулярных, т. е. охватывающих многочисленные группы морфем, альтернативных рядов русского языка и позволяет описать их весьма экономным способом — указанием на характерную для каждого из них ступень чередования, избавляя от необходимости описывать поведение каждой отдельной группы консонантных исходов. Вместе с тем, для такой морфологической системы, как русская, это распределение не имеет абсолютной силы и достаточно часто нарушается, ибо альтернативные ряды могут включать одновременно звенья с несовпадающим распределением ступеней (ср. *воз — возок, князь — князек, смеш — смешок,*

Таблица 2

Функциональная морфологическая классификация

Формальный класс	Исходная степень	Степень перех. смягч.	Степень перех. смягч.	Функциональный класс
I		j' r' l' n' ʒ ʒ' ʒ''		1
II	r l n k g x c		r' l' n' ʒ ʒ' ʒ''	2
III		m' w' f' p' b' t' d' s' z'	ml' wl' fl' pl' bl' ʒ ʒ' ʒ''	3
IV	m w f p b t d s z	m' w' f' p' b' t' d' s' z'	ml' wl' fl' pl' bl' ʒ ʒ' ʒ''	4

голубь — голубок). Из этого следует, что морфологическая система русского языка не является строго упорядоченной, а чередования не всегда носят абсолютно регулярный характер, т. е. не являются абсолютно обязательными для всех морфов в определенной морфологической позиции.

В принципе эта особенность морфологической системы русского языка хорошо известна, однако до сих пор по существу не ставился вопрос о степени ее нерегулярности, если не считать, во-первых, случайных указаний на те или иные частные отклонения в отдельных типах чередований и, во-вторых, общих представлений о том, что таких отклонений больше в системе деривации, чем в словоизменении. По-видимому, здесь следовало бы прежде всего определить общие условия, при которых морфологическую систему можно было бы считать регулярной. Очевидно, что самым первым и вместе с тем самым слабым должно быть условие, определяющее пове-

дение морфов с одинаковыми консонантными исходами в одних и тех же позициях: они должны иметь один и тот же тип чередования, т. е. завершающие их морфемы должны выступать на одной и той же ступени чередования. Например, все основы с исходом *-t'* должны иметь один и тот же вид в любом альтернативном ряду. Если это условие не соблюдается, то, по всей вероятности, вообще нельзя говорить о системе чередований. В русском языке в абсолютном большинстве случаев морфы с одинаковым консонантным исходом имеют тождественные изменения в одних и тех же морфологических условиях. Можно, однако, указать отдельные случаи нарушения этого правила, причем эти нарушения могут быть двух принципиально различных типов. При одном типе нетождественности морфы с одинаковым консонантным исходом имеют различные результаты чередования, но эти различные результаты относятся к одной и той же ступени чередования и являются как бы вариантными альтернантами. Например, глагольные основы *крутить* и *сократить* имеют различный вид в одном и том же альтернативном ряду: *крутить* — *кручу* — *крутишь* и *сократить* — *сокращу* — *сократишь*, но альтернанты *с* и *з'* относятся к одной и той же ступени чередования исходного *-t'*. При другом типе тождественные исходные согласные претерпевают смягчение различных ступеней, ср. *локоть* — *локоток*, но *зять* — *зятёк*; *простой* — *простак*, но *пустой* — *пустяк*; *Варшава* — *варшавянин*, но *Киев* — *киевлянин*.

Следующее, более сильное условие: в любой морфологической позиции все согласные одного морфологического класса должны выступать на одной и той же ступени чередования. То есть, если основы с исходом на *-t* имеют в данной позиции вид *-ti'*, то и основы на *-p*, *-b*, *-f*, *-w*, *-t*, *-d*, *-s*, *-z* должны иметь соответственно вид *-pi'*, *-bi'*, *-fi'*, *-wi'* и т. д. В принципе система консонантных чередований в русском языке удовлетворяет этому условию однородности изменения согласных, принадлежащих одному и тому же классу, и здесь трудно найти такие исключения, которые противопоставляли бы разные согласные в пределах одного морфологического класса. Понятно, что речь может идти только об исключениях, поскольку сами морфологические классы согласных выделяются по признаку общности их морфологического поведения. Примечательно тот факт, что если такие отклонения от поведения целого класса и обнаруживаются в той или иной морфологической позиции, то они могут касаться и морфов с одним и тем же консонантным исходом и, следовательно, могут быть истолкованы как нарушения первого условия.

И, наконец, самое сильное условие: в любой морфологической позиции все согласные всех классов должны иметь одну и ту же ступень чередования.

Очевидно, что эти три условия связаны таким образом, что каждое последующее предполагает соблюдение предыдущих. Поэтому система чередований, удовлетворяющая последнему правилу, может быть признана наиболее строго организованной, или регулярной. Можно сказать, что исследователи русской морфологии имплицитно исходят именно из такой полностью упорядоченной системы. Действительно, русская морфологическая система, будучи продуктом некогда регулярных фонетических изменений (фонетических заковов), отличается высокой степенью регулярности. Но она не является в этом отношении однородной. В ней есть фрагменты более регулярные и менее регулярные. В целом абсолютно регулярный характер (в указанном выше смысле) носят морфологические правила именного и глагольного словоизменения, тогда как в области словообразования можно указать немало позиций, где условия регулярности не выполняются. Это зависит и от меньшей регулярности словообразовательных моделей по сравнению со словоизменительными, и от способа

их интерпретации, т. е. избираемого исследователем направления деривации. Например, при образовании уменьшительных существительных с суффиксом *-ок* согласные IV класса выступают на нулевой ступени чередования: *воз* — *возок*, *колос* — *колосок*, *гриб* — *грибок* и т. д., тогда как мягкие губные и переднеязычные (III класс) могут иметь в этой позиции отвердение: *голубь* — *голубок*, *желудь* — *желудок*, *локоть* — *локоток*, однако у тех же основ может отсутствовать отвердение: *князь* — *князек*, *гусь* — *гусек*, *зять* — *зятек*. В случаях, когда один деривационный тип имеет разного рода чередования в пределах одних и тех же основ (ср. *простой* — *простак*, но *пустой* — *пустяк*), исследователь вынужден расчленить его на два различных альтернативных ряда, т. е. исходить из двух омонимичных суффиксов: *-ak₁* (несмягчающий) и *-ak₂* (смягчающий)³. Разумеется, такое решение оправдано лишь тогда, когда примеры одного и другого рода не единичны, т. е. не могут быть истолкованы как простые исключения из одного регулярного типа.

Таким образом, схема распределения консонантных чередований по ступеням может быть принята для русского языка как некоторая система отсчета, по отношению к которой могут быть описаны все реально существующие в русском языке альтернативные ряды в словоизменении и словообразовании. Могут быть выделены морфологические позиции (и соответствующие им альтернативные ряды), для которых характерно непереходное смягчение, и позиции, для которых характерно переходное смягчение, так же как и позиции, в которых альтернанты выступают на нулевой ступени чередования. И, наконец, особую категорию составят альтернативные ряды, включающие звенья с различным распределением по ступеням чередования.

2. До сих пор речь шла только о чередованиях, относящихся к типу палатализации, или смягчения. В принципе все виды консонантных чередований могут быть подведены под механизм смягчения при условии, что будет избрано соответствующее направление чередования. Однако реально выбор направления чередований диктуется не принципом удобства описания каждого отдельного чередования (соответствующим в большинстве случаев историческим отношениям между альтернантами), а структурой парадигм и деривационных рядов, каждый из которых может включать звенья с различным распределением ступеней. Отсюда вытекает необходимость понятия диспалатализации, или отвердения. Так, словообразовательные отношения между видовыми глагольными приставочными парами типа *схватить* — *схватывать* заставляют считать исходной бессуффиксальную форму совершенного вида, но тогда окажется, что этот ряд включает, с одной стороны, пары, связанные отношением палатализации (*уплатить* — *уплачивать*, *спросить* — *спрашивать*, *заморозить* — *замораживать*, *придавить* — *придавливать*, *выгладить* — *выглаживать*), а с другой — пары, связанные отношением диспалатализации, при одинаковых консонантных исходах непроизводных членов (*проглотить* — *проглатывать*, *сбросить* — *сбрасывать*, *надломить* — *надламывать*, *подглядеть* — *подглядывать*). Даже если признать морфологически различными суффиксы *-iva₁-*, требующий смягчения исходной глагольной основы, и *-iva₂-*, требующий отвердения исходной глагольной основы, потребность в понятии диспалатализации остается. Диспалатализация характерна для некоторых достаточно регулярных словообразовательных типов, в особенности для разного рода отглагольных существительных (где, как правило, направление деривации не вызывает сомнений): *укорять* — *укор*, *пода-*

³ Такой подход принят, например, в книге В. Г. Чургановой «Очерк русской морфологии». М., 1973.

рить — *подарок*, *поселить* — *поселок*, *осадить* — *осадок*, *обрубить* — *обрубок*, *слепить* — *слепок*, *услужить* — *услуга*, *разлучить* — *разлука* и т. п.

Механизм диспалатализации, естественно, зеркален рассмотренному выше механизму смягчения, однако его описание сопряжено с некоторыми дополнительными трудностями, связанными с тем, что, во-первых, диспалатализация вообще носит менее регулярный характер, а, во-вторых, на нулевой, исходной ступени здесь выступает немало омонимичных морфем, которые имеют различные диспалатализованные альтернанты (например, $\xi_1 \rightarrow x$, $\xi_2 \rightarrow s' \rightarrow s$; $\xi_1 \rightarrow k$, $\xi_2 \rightarrow c$, $\xi_3 \rightarrow l' \rightarrow l$ и т. п.). Таким образом на нулевой ступени могут выступать следующие единицы: 1) согласные, формально не подверженные диспалатализации: *r l n t m w f p b t d s z k g x j*; 2) согласные, имеющие только формально непереходную ступень диспалатализации: *r'(r)*, *l'(l)*, *n'(n)*, *m'(m)*, *w'(w)*, *f'(f)*, *p'(p)*, *b'(b)*, *t'(t)*, *d'(d)*, *z'(z)*; 3) согласные, имеющие только формально переходную ступень диспалатализации: $\xi_1(k)$, $\xi_1(g)$, $\xi_1(x)$, $\xi_2(c)$, $c(k)$; 4) морфемы, имеющие две различных ступени формально переходного смягчения: *m'(m', m)*, *p'(p', p)*, *b'(b', b)*, *w'(w', w)*, *l'(l', l)*, $\xi_2(s', s)$, $\xi_2(z', z)$, $\xi_3(d', d)$, $\xi_3(l', l)$. Эта схема, представляющая собой зеркальную проекцию отношений палатализации, в действительности в русском языке реализуется в весьма неполном виде, причем, очевидно, не все лакуны можно объяснить простой случайностью, т. е. лексической незасвидетельствованностью. В частности, нельзя никак счесть случайным отсутствие примеров диспалатализации сложных морфем *m'*, *p'*, *b'*, *w'*, *l'*: в видовых парах типа *ущемить* — *ущемлять*, *удивить* — *удивлять* всегда предпочтительнее избрать направление от основы совершенного вида к основе несовершенного, т. е. *m' \rightarrow m'*, а прочие глагольные и именны основы, включающие альтернанты этого типа, обычно бывают завершающими в деривационной цепочке и не дают производных. Видимо, так же следует объяснять отсутствие остальных чередований в этой группе морфем: $\xi_2 \rightarrow s$, s' , $\xi_2 \rightarrow z$, z' , $\xi_3(\xi d) \rightarrow d'$, d' , $\xi_3 \rightarrow t$, t' (такие пары, как *примечать* — *примета*, *наградить* — *награда*, *заражать* — *зараза*, очевидно, следует считать связанными не непосредственно, а через соответствующие глагольные основы совершенного вида: *приметить*, *наградить*, *заразить*). Наоборот, значительной продуктивностью отличаются диспалатализации типа $\xi_1 \rightarrow k$, $\xi_1 \rightarrow g$, $\xi_1 \rightarrow x$, $c \rightarrow k$. В частности, они регулярны в производных глаголах совершенного вида с суффиксом *-ни*: *кричать* — *крикнуть*, *дрожать* — *дрогнуть*, *бышать* — *дыкнуть*, *бряцать* — *брякнуть*, а также в отглагольных существительных: *соскочить* — *соскок*, *утешить* — *утеха*, *услужить* — *услуга*. В тех же категориях регулярно подвергаются диспалатализации и морфемы второй группы, т. е. парные мягкие согласные, испытывающие непереходное отверждение: *ковырять* — *ковырнуть*, *укорить* — *укор*, *поклониться* — *поклон*, *посолить* — *посол*, *ухмыляться* — *ухмылка* (но перед видо-вым суффиксом *-ни* отверждение *l'* не происходит: *ухмыляться* — *ухмыльнуться*), *разгромить* — *разгром*, *скрепить* — *скрепка*, *обрубить* — *обрубок*, *добавить* — *добавок*, *сидеть* — *непоседа*, *осадить* — *осадок*, *приметить* — *примета*, *свистеть* — *свисток*, *хрустеть* — *хрустнуть*, *покосить* — *покос*, *погрузить* — *погрузка*, *заразить* — *зараза* и т. п. Можно указать на подобные примеры из области отсубстантивного образования имен: *рысь* — *рысак*, *клеть* — *клетушка*, *ель* — *еловый*, *корень* — *коренастый* и т. п.

Если же говорить о функциональных отношениях согласных в чередованиях типа диспалатализации, подобно тому как выше рассматривались функциональные отношения при палатализации, то придется признать, что в случае диспалатализации эти отношения значительно менее отчетливы и ожидают еще обстоятельного изучения.

Анализ парадигматики в системе согласных морфем русского языка приводит к выводу, что эта система состоит из 47 единиц, из которых шесть морфем вообще не вступают в морфологические корреляции с другими морфемами ($f\check{s}_0, \check{z}_0, \check{c}_0, \check{s}', \check{z}', \check{c}'$; причем $\check{s}_0, \check{z}_0, \check{c}_0$ с нулевым индексом и $\check{s}', \check{z}', \check{c}'$ обозначают морфологически «непроизводные» консонанты, представленные, например, в таких основах, как каша, нож, меч, вещь, дрожжи). Согласные rln

Таблица 3

Морфологические классы согласных в русском языке

Класс	Палатализация		Диспалатализация		Состав класса
	неперех. ступень	перех. ступень	неперех. ступень	перех. ступень	
I	—	—	—	—	$f\check{s}_0, \check{z}_0, \check{c}_0$ \check{s}', \check{z}'
II	+	—	—	—	rln
III	—	—	+	—	$r'l'n'$
IV	—	+	—	—	$k g x$
V	—	+	—	+	c
VI	+	+	—	—	$m w f p b$ $i d s z$
VII	—	+	+	—	$m'w'f'p'$ $b't'd's'z'$
VIII	—	—	—	+	$\check{s}_1, \check{z}_1, \check{c}_1, \check{s}_2$ $\check{z}_2, \check{c}_2, \check{z}_3, \check{c}_3$ $ml'wl'fl'pl'bl'$ $pl'bl'$

могут подвергаться только непереходной палатализации и коррелируют с $r'l'n'$, которые могут подвергаться только диспалатализации непереходного типа. Серия заднеязычных $k g x$ может претерпевать только переходное смягчение, коррелируя в этом случае с $\check{s}_1, \check{z}_1, \check{c}_1$. Особый разряд составляет консонант c , подверженный как палатализации (корреляция с \check{c}), так и диспалатализации (корреляция с k) переходного типа. Губные и переднеязычные твердые согласные $m w f p b t d s z$ могут быть подвержены обоим видам смягчения и не подвержены диспалатализации. Они коррелируют с серией мягких губных и переднеязычных $m'w'f'p'b't'd's'z'$, которые в свою очередь допускают переходное смягчение (коррелируют с $ml'wl'fl'pl'bl'$, $\check{c}_3, \check{z}_3, \check{s}_3, \check{z}_2$) и непереходную диспалатализацию (коррелируют с $m w f p b t d s z$). И, наконец, серия $\check{c}_1, \check{s}_1, \check{z}_1, \check{s}_2, \check{z}_2, \check{c}_2, ml'wl'fl'pl'bl', \check{c}_3, \check{z}_3$ может быть подвержена только переходной диспалатализации (см. табл. 3).

А. И. МОИСЕЕВ

ТИПОЛОГИЯ СЛогов В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

(Преимущественно на материале односложных словоформ)

При характеристике слогов обычно указываются различные их типы: закрытые и открытые¹, полные и усеченные, начальные и конечные, восходящие и нисходящие и т. п. Но все это пока дается разрозненно, без какого-либо объединяющего начала.

Общий критерий (или критерия) типологии слов можно найти, по-видимому, только исходя из самой лингвистической, языковой природы слога. Слог как языковая единица стоит между словом и звуком речи: слоги выделяются из слов и состоят из звуков: *пе-ре-ход*. Материальное равенство слога и слова (*сад*), слога и звука речи (*о-а-вис*) выявляет частные случаи и не меняет существа общего соотношения слогов со словами и звуками. В соответствии с этим как общая характеристика слогов, так и их типология должны включать в себя отношение слога к слову и к звуку: слоговое строение слов, слогораздел в слове, типы слогов по их месту в слове и т. п., с одной стороны; звуковое строение слогов, равновидность звуков по их отношению к слогу, типы слогов по их звуковому строению и т. п., с другой.

Типы слогов по их месту в слове могут быть названы позиционными типами (слогов); типы слогов по их звуковому строению должны быть названы в целом структурными типами. Они, в свою очередь, разнообразны, но все зависят от согласных в составе слога: от наличия или отсутствия согласных в конце слога — закрытые и открытые слоги (1), от их наличия или отсутствия в начале слога — прикрытые и неприкрытые слоги (2), от наличия — отсутствия согласных в начале и конце слога в целом — слоги полные и усеченные, со своими равновидностями (3), от количества согласных в слове (этим определяется длина слога) — длинностные типы слогов (4), от количества и расположения согласных в слове — дистрибутивные, собственно структурные типы слогов (5), от соотношения звуков по степени звучности, сонорности (здесь учитываются и гласные) — сонорностные типы слогов (6). Диалектика слога состоит, следовательно, в том, что ос-

¹ Литература вопроса обширна, назову лишь основные работы: Р. И. Аванесов, О слогоразделе и строении слога в русском языке, ВЯ, 1954, 6; Л. В. Бондарко, Структура слога и характеристика фонем, ВЯ, 1967, 1; Е. Курялович, Вопросы теории слога, в кн.: Е. Курялович, Очерки по лингвистике, М., 1962; Е. Д. Панфилов, Фонологические слоги классической латыни, ч. 1. Односложные словоформы, Л., 1973; В. Н. Топоров, Материалы для дистрибуции графем в письменной форме русского языка, в кн.: «Структурная типология языков», М., 1966; Г. П. Торсуев, Строение слога и аллофоны в английском языке (в сопоставлении с русским), М., 1975; А. Л. Трахтеров, Основные вопросы теории слога и его определение, ВЯ, 1956, 6; Н. И. Федорова, К вопросу сочетаемости согласных в современном русском языке, «Вестник МГУ», Филология, 1969, 1.

нову и сущность слога составляют слоговые (слоγοобразующие), гласные звуки, а разнообразие слогов определяется неслоговыми, согласными звуками; гласные — структурная константа слога (гласный, притом один, в русском слоге, в полном стиле произношения, обязателен), а согласные — его переменная (согласные могут быть в слоге, но могут и не быть, а количество их в слоге может быть различным). Сущность — в константе, разнообразие — в переменной.

Типы слогов, обозначенные в приведенном их перечне № 1, 2, 3, могут быть объединены в одну группу — типы слогов по характеру начала и конца.

Общую типологию слогов в современном русском литературном языке и ее состав можно представить поэтому в следующем виде: 1) типы слогов по началу и концу, 2) длинностные типы слогов, 3) дистрибутивные, собственно структурные типы слогов, 4) акустические (сонорностные) типы слогов, 5) позиционные типы слогов.

1. Типы слогов по началу и концу. Начало и конец слога составляют согласные, стоящие перед и после слоγοобразующего, гласного звука (в пре- и постпозиции к нему): Cg (*ты*), $гC$ (*он*), $CгC$ (*сон*) и т. п. В зависимости от количества пре- и постпозитивных согласных в слоге различаются легкие (один согласный) и тяжелые (два и более согласных) начала и концы, а также нулевые (без согласных) *сон*, *столб*, *о-на* и т. п.

Для издавна принятой классификации слогов по началу и концу слога (открытые — закрытые, прикрытые — неприкрытые) различие легких и тяжелых концов и начал несущественно (нерелевантно); существенно лишь различие материально выраженных и нулевых начал и концов². Поэтому в общих формулах конкретных типов слогов по их концу или началу тяжелые начала и концы будут отмечаться лишь как безразличные для самой типологии варианты соответствующих типов (символ согласного при этом будет указываться в скобках; в скобках же будут указываться начальные согласные при характеристике слогов по концу и конечные согласные — при характеристике слогов по началу).

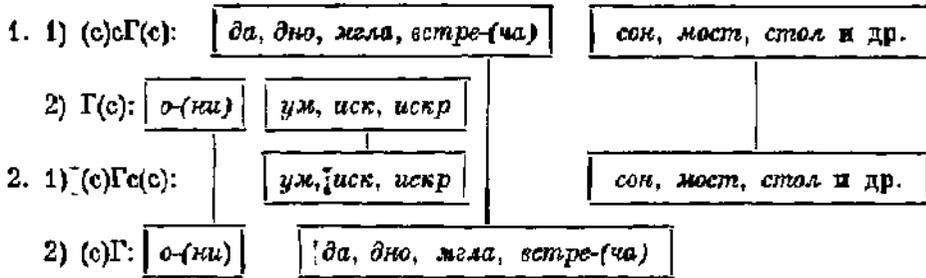
Типы слогов по началу: 1) прикрытые слоги — с согласным в начале: $(с)г(с)$: *ты*, *два*, *мгла*, *встреча*, *сон*, *стол*, *мост*, *столб* и др.; 2) неприкрытые — без согласного в начале (с нулевым началом) — $г(с)$: *о-а-(зис)*, *он*, *иск*, *искр* (других разновидностей этого типа не обнаружено).

Типы слогов по концу: 1) закрытые слоги — с согласным в конце — $(с)гс(с)$: *он*, *иск*, *искр*, *сон*, *мост*, *стол*, *столб* и др.; 2) открытые — без согласного в конце (с нулевым концом) — $(с)г$: *о-а-(зис)*, *да*, *два*, *мгла*, *встре-(ча)* (других разновидностей этого типа не обнаружено).

Так как классификации слогов по началу и концу охватывают, каждая, все слоги, то в типах второй классификации оказываются в целом те же самые разновидности слогов, что и в типах первой классификации, лишь в перегруженном виде, поэтому их составы соответствующим образом пересекаются: закрытые слоги, например, в одной своей части являются вместе с тем и прикрытыми (*дом*, *мост*, *стол*, *столб* и т. п.), а в другой части — неприкрытыми (*он*, *иск*, *искр*), и наоборот; при этом состав 2-го типа в обеих типологиях (открытые слоги и неприкрытые слоги) ограничен (в приведенных иллюстрациях он в обоих случаях исчерпан).

Пересечение составов рассмотренных типологий можно показать на следующей таблице:

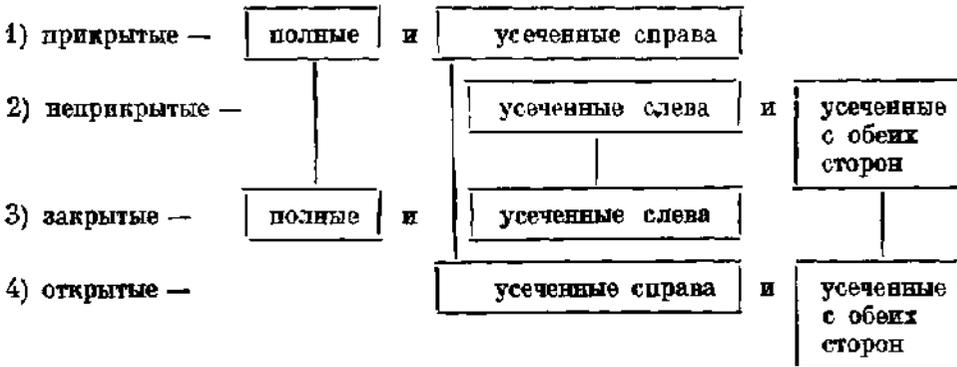
² Различие легких и тяжелых концов и начал существенно для дистрибутивных типов слогов; оно проявляется также в степени их распространенности в конкретных словах и употребительности в речи.



Типы слогов по началу и концу одновременно о: 1) полные слоги (прикрытые и закрытые) — (с)сГс(с): сон, мост, стол, страх и др., 2) усеченные справа (прикрытые и открытые) — (с)сГ: да, дно, мгла, встре-(ча), 3) усеченные слева (закрытые неприкрытые) — Гс(с): ум, иск, искр, 4) усеченные справа и слева (открытые неприкрытые) Г: о-а-(зис).

Наибольшее количество разновидностей имеет 1-й тип (полные слоги) — более 10 (в учебном материале — 12, см. далее); во 2-м типе четыре разновидности, в 3-м — три, в 4-м — одна.

Типы слогов двух предыдущих классификаций (только по концу и только по началу) и пересечение их составов можно охарактеризовать теперь с привлечением терминов данной классификации:



2. Типы слогов по длине (длинностные типы). Длина слогов измеряется количеством звуков и определяется количеством согласных в слове (гласный звук в слове, в типичных случаях, обязателен) по формуле: $D_{слг} = n$ (согл.) + 1 (гл.). Эмпирически выявлены слоги длиной в семь звуков, с шестью согласными: *всплеск*, *убранства*, а также, вероятно, *братства* [брадстѣ] и т. п. Но количество согласных в слове (6) ограничено, видимо, не само по себе, а в результате какого-то другого ограничения. Таким ограничением является, по-видимому, количество согласных подряд, в пре- или постпозиции к гласному. Само это ограничение, однако, определяется пока также чисто эмпирически: не обнаружено слогов с более чем четырьмя согласными подряд, см. приведенные уже примеры: *всплеск*, *убранства*, а также: *встречь*, *встре-ча*, *всплес-ки*, *взблес-ки*; в словоформе *агентства* (пять согласных букв подряд в составе одного слога) можно видеть упрощение группы согласных ([аг'внц'тѣ]) — см. словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение», М., 1959). Если указанное ограничение выявлено верно (обозначим его через n'), то оно дает возможность максимальную длину слогов определить уже теоретически: $\max D_{слг} = 2n' + 1$

+ 1; при $n' = 4$ $\max D_{CT} = 2.4 + 1 = 9$. Таким образом, 9 звуков — теоретически возможная максимальная длина слогов в русском языке. В соответствии с этим можно говорить о 9 длинностных типах слогов: от 1 звука (Г) до 9 (ссссГсссс). Фактически реализовано (по эмпирическим данным) лишь 7 типов из 9 (они будут приведены далее — в структурной типологии слогов); не реализованы максимально длинные (с максимально или «предмаксимально» тяжелыми началами и концами) 9- и 8-звучовые слоги: ссссГсссс, сссГсссс, сссГссс.

3. Собственно структурные (дистрибутивные) типы слогов. Описанный ранее предел $n' = 4$ — максимально возможное количество согласных в составе слога подряд, в пре- или постпозиции к слогаобразующему, гласному звуку — позволяет теоретически определить не только максимально возможную длину слога и связанное с этим количество длинностных типов слогов, но и структурные, дистрибутивные типы слогов, их общее количество и конкретный характер. Дистрибутивные типы слогов создаются количеством согласных в слоге и их расположением по отношению к гласному: сГ, Гс, сГс, ссГ, гсс, например, разные дистрибутивные типы слогов.

Общее количество (множество — М) структурных типов слогов (СТС) определяется формулой: $M_{CTC} = (n' + 1)^2$. Если верно, что $n' = 4$, то $M_{CTC} = (4 + 1)^2 = 5^2 = 25$, т. е. в современном русском языке возможны 25 структурных типов слогов.

По длинностным типам структурные типы слогов распределяются следующим образом (номера по порядку одновременно указывают и на длину соответствующих слогов):

1) Г	—1 тип
2) сГ, Гс	—2 —»—
3) ссГ, сГс, Гсс	—3 —»—
4) сссГ, ссГс, сГсс, Гссс	—4 —»—
5) ссссГ, сссГс, ссГсс, сГссс, Гсссс	—5 —»—
6) ссссГс, сссГсс, ссГссс, сГсссс	—4 —»—
7) ссссГсс, сссГссс, ссГсссс	—3 —»—
8) ссссГссс, сссГсссс	—2 —»—
9) ссссГсссс	—1 —»—

Всего 25 типов

Из 25 теоретически возможных структурных типов слогов реализовано, преимущественно в составе односложных слов, лишь 20:

- 1) Г: А! О! Э! А-у! о-а-(зис), о-(на), э-(хо) и т. п.
- 2) сГ: ты, да, мы, ра-бо-та, пе-ре-ра-бо-та-ли и т. п.
- 3) Гс: он, ум, ус, ил, (а)-ул, ар-(ба) и т. п.
- 4) ссГ: сто, три, два, сна, спи, бра, бра-(во) и т. п.
- 5) сГс: сон, дом, рож, рам-(ка), пар-(та) и т. п.
- 6) Гсс: иск, уст, ость, акт, алыт и т. п.
- 7) сссГ: жгла, вста-(вать) и т. п.
- 8) ссГс: стол, стой, стон, стул, стой-(ко), стар-(ший) и т. п.
- 9) сГсс: жост, месть, весть, честь, (ра)-дость и т. п.
- 10) Гссс: искр, астр и т. п.
- 11) ссссГ: встре-(ча), вспле-(ски) и т. п.
- 12) сссГс: страх, страж, стран-(ный) и т. п.
- 13) ссГсс: столб, спорт, (на)-спорт, (у)-красть и т. п.
- 14) сГссс: пункт, перст, текст, фильтр и т. п.
- 15) ссссГс: взгляд, встреч и т. п.
- 16) ссссГсс: страсть, жлист, всколзь и т. п.

- 17) ссГссс: *спектр, сфинкс* и т. п.
 18) сГсссс: *монстр, (свиде)-тельств* и т. п.
 19) ссссГсс: *всплеск, взблеск* и т. п.
 20) ссГсссс: *братств* и т. п.

Типы Гсссс, сссГссс, ссссГссс, сссГсссс, ссссГсссс (5 типов) не реализованы или не выявлены, — это, помимо отмеченных уже ранее (в связи с длинностными типами слогов) максимально и «предмаксимально» длинных 8- и 9-звучковых слогов (с максимально и «предмаксимально» тяжелыми началами и концами), 7-звучковые слоги с «предмаксимально» тяжелыми началами и концами одновременно (сссГссс) и слоги с максимально тяжелым концом и нулевым началом Гсссс (их можно назвать максимально неуравновешенными слева); в односложных словах не реализованы

Рис. 1: нижний ряд цифр — количество звуков в слоге (длина слога). Цифры на перпендикулярах графика — количество возможных СТС в слогах соответствующей длины; двойная линия — количество реализованных СТС

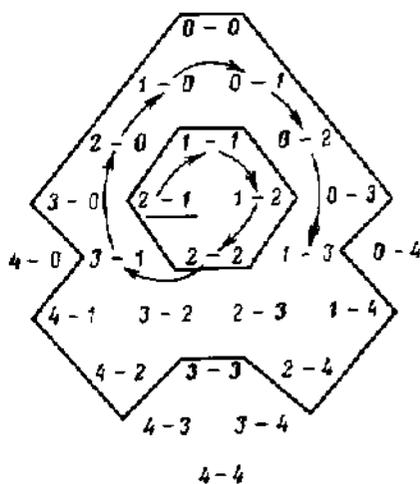
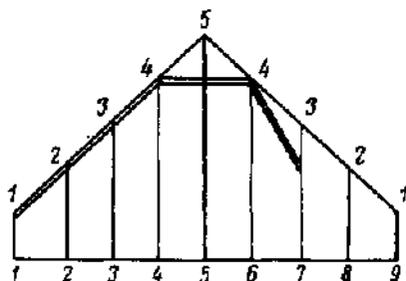


Рис. 2

и слоги с максимально тяжелыми началами и нулевыми концами (максимально неуравновешенные справа): ссссГ, — в неодносложных словах такие типы слогов отмечены: *встре-ча, встре-ча-ми*, а также *вспле-ски* (возможно и такое слоговоеделение) и т. п.

Распределение структурных типов слогов по их длинностным типам и пределы реализации структурных типов можно показать на графике (см. рис. 1).

Структурные типы слогов различаются не только реализованностью — нереализованностью, но и степенью реализованности или продуктивностью. Это можно показать на материале односложных слов (словоформ).

На основе 4-томного «Словаря русского языка» (М., 1957—1961) отмечено около 3150 односложных словоформ. Они распределялись по 19 структурным типам; распределение неравномерное, но не беспорядочное. Наибольшей продуктивностью обладают слоги типа ссГс (*стол* и под. — более 1000 словоформ), далее идут слова-слоги типа сГс (*дом* и под.), сГсс (*мост* и под.), ссГсс (*столб* и под.). Первые 10 типов, охватывающие около 98% словоформ, располагаются в следующем порядке:

- 1) ссГс — 1003 словоформы (31,8%): *стол, груз, смех, спаз* и под.
- 2) сГс — 960 — " — (30,5%): *дом, соль, шел, сер* и под.
- 3) сГсс — 457 — " — (14,8%): *мост, серп, мысль* и под.
- 4) ссГсс — 177 — " — (5,7%): *столб, пласт, трость* и под.
- 5) сссГс — 170 — " — (5,4%): *страх, страж, штрих* и под.

6) ссГ — 120	— " —	(3,8%): <i>дно, три, спи, где</i> и под.
7) сГ — 71	— " —	(2,3%): <i>на, ты, да</i> и под.
8) Гс — 47	— " —	(1,5%): <i>ум</i> и под.
9) Гсс — 31	— " —	(1%): <i>альт, иск, арф</i> и под.
10) сссГ — 30	— " —	(1%): <i>текст, пункт, центр</i> и под.

3066

97,8%

Интересно «место» этих типов и их «пространственное» соотношение: наиболее распространенный тип находится «в центре», остальные располагаются вокруг него. Наглядно это показано на рис. 2 (типы слогов обозначаются комбинацией знака тире, представляющего гласный звук, и цифровых индексов от 0 до 4 перед или/и после тире, представляющих количество согласных слога в пре- и постпозиции к гласному; реализованные слоги очерчены внешней рамкой, четыре наиболее продуктивных типа — внутренней рамкой, самый распространенный тип — подчеркнут, следующие за ним типы последовательно соединены стрелками).

Если «идти» по стрелкам от наиболее продуктивного типа к последующим по убывающей продуктивности (2—1, 1—1, 1—2, 2—2, 3—1, 2—0, 1—0, 0—1, 0—2, 1—3), то «путь» пойдет по спирали от центра к периферии. Во всем этом проявляется какая-то сильно действующая закономерность, сущность которой еще предстоит определить.

4. Акустические (сонорностные) типы слогов. Здесь выделяются следующие типы слогов (нумеруются только основные): 1) ровные слоги (усеченные с обеих сторон, состоящие только из гласных звуков): *ā-там, õ-зимь, ÿ-гла, ŷ-хо, ē-хо, õ-ā-зис* и т. п.; 2) восходящие слоги (прикрытые открытые, в основном с легкими началами; тяжелые начала — только двусогласные и только с последовательностью «шумный + сонорный»): *да, ты, три, ёны, ра-бо-та-ли, ёно-ви-де-ни-я* и т. п.; 3) нисходящие слоги (закрытые наприкрытые, прежде всего с легкими концами; тяжелые концы — только двусогласные и только с последовательностью «сонорный + шумный»): *оа, иа, уа, аа, иа! эа! ар-ба, арф, ОРС, альт, па-ук* и т. п.; 4) восходяще-нисходящие слоги (полные, закрытые и прикрытые, главным образом с легкими концами и началами; тяжелые концы и начала только двусогласные и только с последовательностями «шумный + сонорный» в начале и «сонорный + шумный» в конце): *дом, сон, брак, смять, слить, съел, фраз, жарш, фарс, колб, март, порт, бинт, винт, зонт, транс, фланг, шланг.*

Слоги с тяжелыми началами и концами имеют обычно более сложный акустический рисунок: ровно-восходящий (*сто*), нисходяще-ровный (*иск*), нисходяще-восходящий (*жгла*), восходяще-нисходяще-ровный (*воск*), восходяще-нисходяще-восходящий (*вобл*) и другие.

5. Позиционные типы слогов. Позиционных типов слогов (по их месту в составе слова) не более трех: начальный слог слова, конечный слог и среданные слоги: *ра-бо-та-ли.*

Срединные слоги факультативны: в слове их может и не быть (двусложные и односложные слова: *сад, гора*); слог односложных слов является начальным и конечным одновременно, так как он имеет признаки того и другого типа слогов: как начальный он может быть нисходяще-восходящим, а как конечный — восходяще-нисходяще-восходящим ср.: *жгла* и *жгла-стый, ритм* и *ту-ризм.*

Практически, например при изучении слогоделения, приходится иметь дело главным образом с двучленным противопоставлением позиционных типов слогов: начальный слог — неначальные слоги, в их числе и конечный; конечный слог — неконечные слоги, в их числе и начальный.

Неконечные слоги преимущественно открытые, а «закрываются» главным образом только сонорными (особенно не на стыке морфем); конечные слоги часто бывают закрытыми и закрываются любым согласным: *пе-ре-де-ль-ватъ*, *пе-ре-тер-петь*, *пе-ре-ход*; конечные слоги могут быть также ломаными: *пла-не-ризм*, *вар-ва-ризм*.

Неначальные слоги обычно прикрытые, но прикрываются преимущественно легким началом (тяжелое начало может быть только ровное или восходящее); начальные слоги могут прикрываться тяжелым и нисходящим началом (слог может быть ломаным): *рва-ные*, *лэсти-ви-е*, *ртут-ный*.

Срединные слоги большей частью прикрытые и открытые, восходящие (или ровно-восходящие): *ин-тер-на-ци-о-на-лизм*. Все это, однако, относится уже не к типологии слогов, а к слоговому строению слов. Этот вопрос, а также встречаемость слов разного слогового строения в текстах — предмет особый.

В. А. ВИНОГРАДОВ, И. ХЕРМС

Д. ВЕСТЕРМАН И РАЗВИТИЕ АФРИКАНИСТИКИ

(К 100-летию со дня рождения)

В июне исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося немецкого африканиста Дидриха Вестермана (1875—1956). Начав свой путь в африканистике с простого миссионера (1901—1903), он стал профессором Берлинского университета, членом Прусской АН, заведующим отделением Африки Немецкого исследовательского института зарубежных стран. В 1926—1939 гг. Д. Вестерман — один из двух директоров только что созданного Международного института африканских языков и культур в Лондоне, редактор и член редколлегии журналов «Africa» (Лондон), «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen» (Берлин) и ряда других, редактируемых в разные годы с 1909 по 1956 гг. Будучи одним из ведущих авторитетов мировой африканистики XX в., Д. Вестерман живо и глубоко интересовался не только языками, но и историей, культурой, этнографией народов Африки, — в этих областях его вклад также весьма ощутим¹. Однако в историю науки Д. Вестерман вошел прежде всего как африканист-языковед, и именно этой стороне его многогранной научной деятельности посвящается эта статья.

За свою более чем полувековую творческую жизнь Вестерман опубликовал свыше 200 работ, среди которых значительное число составляют солидные монографии — описательные грамматики, словари, исследования общего характера. Неоднократно бывая в Африке и после окончания миссионерской деятельности, Вестерман собирал богатый и порой уникальный материал в условиях полевой работы; знание им многочисленных языков Африки было непосредственным и глубоким, что, конечно, придавало его лингвистическим штудиям характер фундаментальных и авторитетных исследований. Не случайно лишь немногие из африканистов решались на столь трудную задачу, как общая генетическая классификация африканских языков, и среди них почетное место принадлежит Вестерману².

В трудах Вестермана отразилась его ищущая творческая натура: по мере расширения и углубления его практического знания африканских языков менялись и его взгляды на характер их генетических взаимоотношений, их типологической принадлежности; многие из своих общих выводов и построений Вестерман называл предварительными, несмотря на

¹ Достаточно сослаться на такие его труды, как: «The Shilluk people, their language and folklore», Berlin — Philadelphia, 1912; «Die Kpelle», Göttingen — Leipzig, 1921; «The African to-day and tomorrow», 3 ed., London, 1949; «Geschichte Afrikas. Staatenbildungen südlich der Sahara», Köln, 1952.

² Ср. следующее высказывание А. Клингенхебена в его рецензии на книгу Д. Вестермана «Die westlichen Sudansprachen»: «Несомненно, никто не владеет обширным материалом основательнее и потому для разработки данной темы не является более подготовленным, чем именно Вестерман» («Orientalistische Literaturzeitung», 30, 1927, стр. 1016).

то, что приходил он к ним после десятилетий упорного, кропотливого исследования. Самокритичность, умение признать ошибочность своих прежних взглядов — эта замечательная черта нередко бывает чужда признанным мэтрам науки, но Вестерман до конца жизни оставался честным и принципиальным ученым. Когда появились первые работы Дж. Гринберга по классификации африканских языков (1949—1950), во многом опровергающие систему Вестермана, почетный патриарх африканистики приветствовал их как новое свежее слово в науке и без всяких оговорок отметил неудовлетворительность всех до сих пор существовавших классификаций (включая, разумеется, и его собственную)³.

Формирование Д. Вестермана как ученого происходило в годы интенсивной германской колонизации Африки, начавшейся в 1884 г., и активной миссионерской деятельности. Практические задачи требовали подготовки квалифицированных кадров для работы в колониях, что стимулировало изучение и преподавание основных языков Африки в светских и церковных учебных заведениях Германии. В области научной африканистики Германия в этот период занимала ведущее место; наиболее значительные достижения в этой области были связаны с именем К. Мейнхофа — признанного лидера мировой африканистики. Усилиями К. Мейнхофа, продолжившего исследования первых компаративистов по языкам банту (и прежде всего У. Блика), была создана сравнительно-историческая бантуистика, базирующаяся на младограмматических принципах индоевропейского языкознания⁴. Кроме того, к 1900 г. накопилось значительное число научных и практических грамматик и словарей по многим языкам Африки, авторами которых в большинстве случаев были немецкие и английские миссионеры.

Д. Вестерман, получивший лингвистическое воспитание в рамках немецкой африканистической школы К. Мейнхофа, стал его убежденным последователем и соратником. Гораздо позднее он придет к пересмотру основной концепции своего учителя, отказавшись от ее ключевой идеи, известной под названием «хамитской теории»⁵. Сферой своих специальных интересов Вестерман избрал так называемые суданские языки — лингвистическое море, раскинувшееся на огромном пространстве от Сенегала до верховьев Нила. Необходимость заняться исследованием этих языков объяснялась не только их малой изученностью по сравнению с языками банту, но и тем обстоятельством, что в стройной системе Мейнхофа суданские языки (точнее — суданский языковой тип) были одним из трех нитов, на которых покоилось все языковое разнообразие африканского континента: хамитские, суданские, банту. Цель исследования определялась исходной гипотезой, согласно которой каждому из этих чистых языковых типов соответствует единый праязык. Реконструкция прабанту в общих чертах была намечена Мейнхофом, и на долю Вестермана выпало доказательство родства всех суданских языков с последующей реконструкцией прасуданского.

Первое решение поставленной перед ним задачи Вестерман дал в 1911 г. в книге «Суданские языки»⁶. Исследование строилось на материале хорошо

³ D. Westermann, African linguistic classification, «Africa», 1952, 22,3 (русск. перев.: Д. Вестерман, Лингвистическая классификация африканских языков, сб. «Африканское языкознание», М., 1963, стр. 332).

⁴ C. Meinhof, Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, Berlin, 1899; его же, Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen, Berlin, 1906.

⁵ Подробнее об истории и критике этой теории см.: Д. А. Ольдерогге, Хамитская проблема в африканистике, «Советская этнография», 1949, 3; его же, Современное состояние и проблемы изучения языков Африки, ВЯ, 1961, 4; его же, Последействие, сб. «Африканское языкознание», М., 1963.

⁶ D. Westermann, Die Sudansprachen, Hamburg, 1911.

известных автору западносуданских языков — тви, эве, йоруба, га, афик и нескольких восточносуданских — динка, нуба, кунама. По вполне понятной причине в анализ не включен язык фула (фульбе), хотя к этому времени Вестерман хорошо его знал и был автором учебника фула, вышедшего в 1909 г.; этот язык был главным козырем сторонников хамитской теории, считавших его хамитским по строю и лучше других сохранившим прахамитские черты. В полном соответствии с теорией и методом Мейнхофа Вестерман стремился увидеть родство всех названных языков на основании наличия в них определенных общих черт в звуковой и грамматической структуре, лишь подкрепляемых строгими компаративными данными, которых, однако, явно не хватало для бесспорного вывода о происхождении исследуемых языков из одного источника. Тем не менее, Вестерман предпринял попытку реконструировать некоторые фрагменты прасуданского языка, сознавая при этом шаткость предложенных реконструкций, которые плохо согласовывались с данными восточносуданских языков.

Чувство неудовлетворенности результатами этого исследования не позволило Вестерману считать его завершенным, и он продолжает собирать новый материал, расширяя круг изучаемых языков в поисках новых и более убедительных подтверждений (или опровержений) своей гипотезы, но по-прежнему оставаясь на позициях мейнхофской теории. Итогом этих поисков явился фундаментальный труд, которому предшествовала серия статей на ту же тему и который впервые продемонстрировал непрочность трехчленного построения Мейнхофа — «Западносуданские языки и их связи с банту»⁷. Эта книга, не утратившая своего значения до наших дней, стала после работ Мейнхофа наиболее значительным вкладом в развитие мировой африканистики.

Наблюдения Вестермана над генетическими связями суданских языков привели его к следующим выводам: 1) суданские языки не образуют столь же очевидного единства, как языки банту; 2) сравнение реконструированных корней в прасуданском и прабанту указывает на несомненное древнейшее родство между языками банту и суданскими⁸. Это было открытие, сулящее новые перспективы в исследовании и классификации языков Африки. Содержащаяся в книге классификация западносуданских языков на долгие годы стала наиболее популярной и по существу единственной, признанной большинством исследователей. Она включала шесть групп: I — ква, II — Бенуэ-Кросс, III — остаточные языки Того (Togotsprachen), IV — гур, V — западноатлантические, VI — манде (мандинго). К группе ква Вестерман предположительно отнес язык иджо, к группе гур — сонгаи. Позднейшие исследования подтвердили правоту ученого в случае с языком иджо; что касается сонгаи, то в своей последней классификации Вестерман выделяет его как самостоятельную группу диалектов⁹.

В этой книге Вестерман остается верным своему методу, примененному им в «Суданских языках», и подробному исследованию шести групп западносуданских языков предпослан краткий очерк структурных черт, общих для всех рассматриваемых языков. Типологизм в определении языковых семей и групп, фигурирующих как единицы генетической классификации, — вообще характерная особенность школы Мейнхофа, на

⁷ D. Westermann, Die westlichen Sudansprachen und ihre Beziehungen zum Bantu, Berlin, 1927.

⁸ Там же, стр. 5, 119.

⁹ D. Westermann, M. A. Bryan, Languages of West Africa, Oxford, 1952 («Handbook of African languages», pt. II), стр. 46.

которую как на серьезный методологический недостаток много лет спустя указал Дж. Гринберг в рецензии на только что упомянутый труд Д. Вестермана и М. Брайен¹⁰. Определению языка суданского типа была посвящена специальная работа Вестермана¹¹, где он перечисляет такие признаки, как односложность корня, наличие тонов, отсутствие грамматического рода и глагольного спряжения, характерный порядок подлежащего, сказуемого и дополнения, структура генитивной конструкции «обладатель + обладаемое» и т. д. Но как бы ни важны были эти признаки для понимания структуры указанных языков, они сами по себе не могут отграничить суданские языки как генетически единую семью. Неудача, постигшая Н. С. Трубецкого и его попытке переформулировать единство индоевропейских языков в типологических терминах¹², лишней раз доказывает необходимость строгого сравнительно-исторического обоснования всякой генетической гипотезы и невозможность подмены его критериями иного плана.

В книге «Западносуданские языки» по-прежнему не упоминается язык фула, и это, пожалуй, было единственным подтверждением того, что Вестерман все еще верит в неизбежность теории Мейнхофа. Однако в эти же и последующие несколько лет появилось много исследований языка фула, среди которых прежде всего следует назвать работы А. Клингенхебена, доказавшие несомненную близость этого языка к другим западносуданским языкам с именными классами (в частности, волоф и серер). Когда книга Вестермана была уже в наборе, он выступил с рецензией на одну из первых работ А. Клингенхебена («Die Präfix-Klassen des Ful», 1924), содержащую критику грамматической интерпретации фула, данную Вестерманом. В своей рецензии Вестерман признает справедливость критики и обоснованность отнесения фула к группе западносуданских языков¹³, и с 1935 г. язык фула стал определяться Вестерманом как суданский. Исследования И. Лукаса¹⁴ убедили Вестермана в ошибочности квалификации языка хауса как хамитского, что нашло отражение в книге «Этнография Африки» (где Вестерману принадлежит раздел «Язык и образование»): здесь хауса включается уже в группу, названную Вестерманом «хауса-котоко»¹⁵; этот классификационный термин долгое время оставался наиболее употребительным.

В «Этнографии Африки» дается общая классификация африканских языков, в которой уже нет никаких следов хамитской теории: язык фула занял подобающее ему место среди бантоидных языков с именными классами, восточносуданские выделены в особую семью нилотских языков, готтентотские и бушменские объединены в рамках более крупной классификационной единицы, названной «койсанские языки» (после Мейнхофа готтентотские языки принято было считать хамитскими). В целом Вестерман различает три крупных языковых объединения: I. Койсанские языки, II. Негрские языки, III. Хамито-семитские языки. Эта система послужила основой для последующих классификаций Д. А. Ольдерогге

¹⁰ См.: «Language», 30, 3, 1954, стр. 306. Ряд других недостатков, присущих книге Вестермана, отмечен А. Такером (А. Н. Такер, Филология и Африка, сб. «Африканское языковедение», М., 1963, стр. 350).

¹¹ D. Westermann, Charakter und Einteilung der Sudansprachen, «Africa», 8, 2, 1935.

¹² Н. С. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1.

¹³ См.: «Orientalistische Literaturzeitung», 1926, 29, стр. 536—538.

¹⁴ I. Lukas, Zentralsudanische Studien, Hamburg, 1937.

¹⁵ H. Baumann, R. Thurnwald, D. Westermann, Völkerkunde von Afrika, Essen, 1940, стр. 393.

и Дж. Гринберга¹⁶, каждая из которых в разной степени видоизменяет классификацию Вестермана.

В настоящее время особенно широкое распространение получила классификация Гринберга. Благодаря исследованиям Вестермана, доказавшим близость всех западносуданских языков и их связи с языками банту, оказалось возможным сделать дальнейший шаг в установлении генетических отношений между языками Африки. Этот шаг сделан Гринбергом, объединившим языки банту, бантоидные и западносуданские в семью нигер-конго, которая вместе с кордофанскими составила макросемью конго-кордофанских языков. Второе макрообъединение — нило-сахарские языки, среди которых отдельную семью образует сонгаи, а пилотские языки на правах подгруппы входят в семью пари-нильских языков (восточносуданская группа). Койсанская макросемья включает, кроме койсанских языков Вестермана, сандаве и хадза (хатса), а вместо традиционной семито-хамитской семьи выделяется макросемья афро-азиатских языков, в которой на уровне семей различаются семитские языки, египетский, берберские, кушитские и чадские, — таким образом, термин «хамитские» как скомпрометированный хамитской теорией предлагается полностью изъять из употребления¹⁷. Классификация Дж. Гринберга в свою очередь служит основой для дальнейших уточнений и гипотез¹⁸, и можно воочию убедиться, что дело, начатое Вестерманом, не только не предано забвению, но продолжает определять содержание и направление историко-лингвистических изысканий в современной африканистике.

Наряду с разработкой классификационных проблем, которыми Вестерман занимался на протяжении всей жизни и все-таки считал свои результаты предварительными, он уделял много внимания описательной африканистике, поскольку изучение конкретных языков создавало базу для генетических построений, не говоря уже о необходимости заполнять пробелы в знаниях об африканских языках. С первых лет своего знакомства с Африкой в роли миссионера Вестерман начал собирать материал для словаря языка эве, который вышел в 1905—1906 гг. и, несмотря на научную молодость составителя, являет собой образец полноты и тщательности, а год спустя Вестерман публикует грамматику этого языка¹⁹. Исследования по языку эве создали Вестерману имя, выдвинув его в число наиболее серьезных и обещающих африканистов того времени. Все работы такого рода, вышедшие из-под пера Вестермана, отличает доскональность описания и великолепное знание материала, что проявилось, например, в описании им глагольных конструкций эве.

К этому языку Вестерман обращался неоднократно, исследуя его на всех уровнях от фонетики до синтаксиса. Кроме того, им описаны — как монографически, так и в виде статей — языки логба, нама, фула, хауса, шиллук, нуэр, кпелле, гола, ибо, эдо, нупе и мн. др. Для работ Вестермана характерно стремление охватить все стороны языковой системы, пока-

¹⁶ См.: Д. А. Ольдерогге, Языки и письменность народов Африки, «Африка. Энциклопедический справочник», М., 1963; J. Greenberg, The languages of Africa, IJAL, 29, 1, 1963.

¹⁷ Неудовлетворенность этим термином побудила африканистов разных стран искать новые: так появился термин «паранилотские» вместо «нило-хамитские», предложенный английскими учеными (А. Такер, М. Брайен), «афро-азиатские» вместо «семито-хамитские», предложенный И. М. Дьяковым (в английской африканистической литературе их иногда называют «эритрейские», пользуясь старым термином Л. Рейнша).

¹⁸ Ср., например: С. F. and F. M. Voegelin, Languages of the world: African fascicle one, «Anthropological linguistics», 6, 5, 1964.

¹⁹ D. Westermann, Wörterbuch der Ewe-Sprache, I. Tl.: Ewe-Deutsch, Berlin, 1905; II. Tl.: Deutsch-Ewe, Berlin, 1906; е г о ж е, Grammatik der Ewe-Sprache, Berlin, 1907.

зять отражение в каждом из языков того языкового типа, который определяет особенности их структуры. Поэтому, например, описывая язык эве и другие языки группы ква, Вестерман особое внимание уделяет синтаксису, который при отсутствии развитой морфологии становится основным организующим средством в построении высказывания. Вестерман принадлежит к тем лингвистам, на чьи описания можно положиться полностью, а в ряде случаев именно его труды являются единственными, заслуживающими доверия.

Было бы неправильным думать, что Вестерман при изучении конкретных языков ограничивался исключительно описательными целями. Выше уже говорилось, что его всегда интересовали структурные закономерности, свойственные группам родственных и неродственных языков. Особенно значителен вклад Вестермана в теорию языков с именными классами. Он называл их «*Klassensprachen*», избегая терминов «бантоидные» и «полубанту», поскольку многие из них оказываются типологически и генетически более близкими к языкам ква и мандинго, чем к банту²⁰. Язык с именными классами определяется им как язык, «в котором существительные с помощью звуковых средств, префиксов или суффиксов, разделяются на множество групп и в котором определенной группе со значением единственного числа соответствует определенная группа со значением множественного числа»²¹.

В этом определении отсутствует ссыла на понятийную сторону именной классификации, и это не случайно: для Вестермана именной класс — прежде всего грамматическая категория, и именно под таким углом зрения он исследует весь комплекс взаимосвязанных проблем грамматического описания суданских языков. Однако в этом определении отсутствует и другой признак, впоследствии признанный многими африканистами едва ли не основным признаком *Klassensprachen*: наличие в языке последовательной системы классного согласования в атрибутивных и предикативных синтагмах (ведущую роль этого признака отмечал еще У. Блик)²². Вестерман, впрочем, вовсе не сбрасывал со счета синтаксический способ выражения классных различий; указывая, что «языками, обладающими подлинными именными классами, являются языки банту»²³ (разрядка наша. — В. В., Н. Х.), он тем самым противопоставлял их суданским и отмечал среди ряда черт, различающих бантускую и суданскую именные классификации, также отсутствие в суданских языках полной и строгой системы согласования. И все-таки морфологический критерий определения именного класса оставался для Вестермана важнейшим, о чем свидетельствует, в частности, одна из его более поздних работ, которая только что цитировалась.

В этой работе, изобилующей примерами из многих языков и тонкими наблюдениями, проблема именного класса рассматривается на фоне развития и выражения в суданских языках категории числа, в результате чего морфологические показатели классов получают историко-типологическое освещение в одном ряду с другими способами выражения множест-

²⁰ Ср.: D. Westermann, *Die westlichen Sudansprachen...*, стр. 7.

²¹ D. Westermann, *Nominalklassen in westafrikanischen Klassensprachen und in Bantusprachen*, «*Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen*», 38, 1935, стр. 2.

²² Ср.: А. Клигенхейбен, К возникновению типов языков с именными классами в Африке, «*Африканское языковедение*», М., 1963, стр. 51; M. Guthrie, *Comparative Bantu*, pt. I, London, 1961, стр. 13.

²³ D. Westermann, *Pluralbildung und Nominalklassen in einigen afrikanischen Sprachen*, ADAW, I, 1945—1946 (русс. перев.: Д. Вестерман, Множественное число и именные классы в некоторых африканских языках, «*Африканское языковедение*», М., 1963, стр. 69).

венности (удвоение, употребление некоторых существительных со значением множественности или собирательности, личного местоимения 3-го лица мн. числа, а также фонологические способы — долготное и тоновое варьирование корня и т. п.). Из этого не следует, что с функциональной, а тем более глоттогонической, точки зрения именной класс не имеет самостоятельной значимости. Вестерман признавал, что в своих истоках именная классификация отражает процесс аналитического познания человеком окружающего мира и что «в той или иной форме это явление существует в каждом языке»²⁴. Важно, однако, иметь в виду, что качественное шкалирование может по-разному соотноситься с количественным. В одних языках обязательны и те, и другие различия, но качественные (родовые) противопоставления совместимы лишь с ед. числом, а во мн. числе они нейтрализуются (так обстоит дело в родовых индоевропейских языках). В других языках системы качественных и количественных различий настолько переплетены, что множественность получает не только обязательное, но и единообразное выражение в зависимости от количества и характера качественных противопоставлений в ед. числе. Так обстоит дело в языках банту, где все существительные, для которых релевантна счетность, имеют соотношенные пары классов, реализующие количественные различия (разумеется, необходимо при этом различать такие случаи, как, например, ганда *elyato* «каное» — *amaato* «много каное», где *ama* — выражает лишь количественное противопоставление, и *amazzi* «вода», где тот же префикс реализует качественную классификацию вне противопоставлений по числу). «В таких языках с именными классами, как банту, завершивших свое развитие, — пишет Вестерман, — структура языка определяется системой классов, поэтому при создавшейся схеме образование множественного числа во всех случаях становится как будто неизбежным»²⁵.

Иная картина наблюдается в суданских языках, в грамматической категорематике которых мн. число занимает более скромное место, будучи не всегда выражаемым морфологически, если лексический контекст позволяет понять, что речь идет о множестве предметов²⁶, например, аве *aii sugbo* «много деревень», где существительное *aii* имеет форму ед. числа. Это, естественно, не могло способствовать развитию именной классификации до того уровня, какого она достигла в языках банту. Поэтому наличие некоторого разнообразия именных префиксов в ед. числе при отсутствии непременных парных им префиксов мн. числа (как это имеет место, например, в языках группы ква) трактуется Вестерманом лишь как предпосылка к развитию именных классов. Такая интерпретация полностью согласуется с глоттогонической гипотезой, высказанной им в данной работе: ссылаясь на данные этнографии (труды Г. Баумана), Вестерман полагает, что суданские «классные» языки и языки банту соотносятся с так называемой древненигритской культурой, тогда как языки ква восходят к западноатлантической культуре, и потому элементы классной организации имен в этих языках должны объясняться влиянием на них исконных суданских *Klassensprachen*, распространенных ныне севернее зоны тропического леса²⁷ (языки гур, западноатлантические, древние языки Того).

²⁴ Там же, стр. 70.

²⁵ Там же, стр. 56.

²⁶ Ср.: D. Westermann, Die Kpelle-Sprache in Liberia, Berlin, 1924, стр. 10. Такой «морфологический эллипсис» известен и другим языкам за пределами Африки, например, в венгерском: *könyv* «книга» — *könyvek* «книги» — *íz könyv*, *sok könyv* «десять книг, много книг».

²⁷ Д. Вестерман, Множественное число и именные классы, стр. 74, 92. Примечательно, что этой гипотезой Вестерман опровергает высказанное им тремя

В подтверждение этой гипотезы Вестерман приводит также данные, касающиеся общих структурных закономерностей суданских языков в области строения генитивных конструкций (типа *дом отца*) и форм мн. числа существительных: по его мнению, препозиции генитива соответствует в языке суффиксальный способ образования множественности, постпозиции — префиксальный²⁸. Поскольку в языках ква генитив стоит на первом месте, суффиксальное положение показателя множественности естественно и отражает древнее состояние, по сравнению с чем появление классовых префиксов, среди которых есть и показатели числа, должно рассматриваться как более поздняя инновация, не диктуемая строем языка, а потому, вероятнее всего, представляющая собой суперстратное явление. Это интересное наблюдение Вестермана, сформулированное им в виде типологической импликации, заслуживает серьезного обсуждения, независимо от того, как мы относимся сейчас к глоттогонической подоплеке его многоязыковых сопоставлений. В связи с этим можно напомнить об одной универсалии Дж. Гринберга, согласно которой в языках с предложениями генитива находится в постпозиции, а в языках с послелогом — в препозиции²⁹. Как известно, предлоги типологически соотносятся с наличием в языке префиксации, послелог — с наличием суффиксации, и этот факт открывает возможность корреляции между указанной универсалией Гринберга и импликацией Вестермана.

Конечно, Вестерман не решил и не мог решить всех проблем, возникающих при описании языков с именными классами. Однако ему удалось обнаружить глубинные взаимозависимости именных категорий, а выдвигание в центр внимания морфологического критерия «классности» позволило наметить широкий типологический диапазон языков, различающихся степенью развитости категории класса (рудиментарная — зачаточная — развитая). Он убедительно показал также важность нестандартного и многообразного выражения мн. числа как одной из предпосылок к созданию в языке подлинной системы именных классов. Примечательно, что в процессе многолетнего изучения языков с именными классами Вестерман все дальше отходил от хамитской теории Мейнхофа, и в 1946 г. он высказался по этому поводу вполне категорично и недвусмысленно: «Нет никакого реального основания говорить об участии хамитских или нилотских языков (не имеющих никаких грамматических классов) в возникновении системы классов банту»³⁰.

Еще одно достоинство Вестермана как лингвиста заслуживает упоминания: он был не только тонким грамматистом и опытным лексикографом, но обладал также великолепной фонетической подготовкой. Знание фонетики он, как и его учитель Мейнхоф, считал необходимым условием успешной работы с африканскими языками независимо от того, в какой области лингвистики специализируется исследователь-африканист. В его трудах фонетическому описанию всегда уделялось большое внимание, и нередко он оказывался первым, кто давал точную характеристику звуковых особенностей тех или иных языков. Так, в одной из своих ранних книг, посвященной языку хауса³¹, Вестерман впервые точно описал смычногор-

годами ранее положение о рудиментарном характере именной классификации в языках ква, имевших прежде развитую систему классов (D. Westermann, *Der Wortbau des Ewe*, APAW, 1943, 9; русск. перев.: Д. Вестерман, *Словообразование в языке эве*, «Африканское языковедение», М., 1963, стр. 132).

²⁸ Там же, стр. 66.

²⁹ Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов, сб. «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 120.

³⁰ Д. Вестерман, Множественное число и именные классы..., стр. 93.

³¹ D. Westermann, *Die Sprache der Hausa in Zentralafrika*, Berlin, 1911.

танные согласные, что было отмечено А. Клингенхебеном в рецензии на эту работу³². Он был также одним из первых, кто установил значение тонов в хауса.

Вестерману не чужды были и такие непопулярные в то время исследования, как выяснение звукового и тонового символизма на материале особого разряда квалификативных слов, известных в современных грамматиках африканских языков под названием идеофонов (Вестерман называл их звукоподражаниями, хотя вкладывал в этот термин иной — не традиционный — смысл: звуковой комплекс, представляющий собой непосредственную звуковую реакцию говорящего на полученное смысловое впечатление)³³. Может быть, не все семантические ассоциации, найденные Вестерманом для звуков и тонов, кажутся в равной мере убедительными, но это описание структуры и значения идеофонов заложило основу для последующих широких исследований в этой области (в частности, работ У. Самарина)³⁴.

Но самым значительным вкладом в изучение фонетики африканских языков является практическое руководство, написанное Вестерманом в соавторстве с известной африканисткой И. Уорд³⁵. Эта книга получила высокую оценку специалистов, среди которых можно назвать и главу английской фонологической школы Д. Джоунза³⁶. Фонетическое описание авторов строит на теории фонем (в ее английском варианте), причем фонологический принцип распространяется и на просодический уровень (между прочим, здесь Вестерман впервые ввел в африканистику термин «тонома»).

Занятия фонетикой вплотную подвели Вестермана к важной практической проблеме — разработке научной транскрипции и практических алфавитов для языков Африки. В 1927 г. в Лондоне было издано руководство «*Practical orthography of African languages*», содержащее систему звуковых и тоновых обозначений, которая была разработана Вестерманом при участии Д. Джоунза и А. Л. Джеймса. Через три года вышло второе, расширенное и переработанное издание, содержащее в качестве приложения тексты на 22 африканских языках; тогда же книжка была издана на немецком и французском языках. Сам Вестерман так определил назначение этого руководства: оно «стремится предложить единообразное, простое и легко читаемое написание текстов на африканских языках и разработать общие принципы создания практических алфавитов для отдельных языков»³⁷. Алфавит Вестермана базируется на системе транскрипции МФА, причем соотношение знака и звука подчиняется фонематическому принципу; Вестерман предпочитал использовать строчные латинские литеры для обозначения сегментных единиц, а диакритиками обозначались назализация и тоны. Благодаря глубокому фонетическому знанию многих африканских языков, Вестерман сумел составить удобную систему, пригодную как для научных, так и для практических целей³⁸.

³² См.: «*Zeitschrift für Kolonialsprachen*», 1, 1910—1911, стр. 316.

³³ D. Westermann, *Laut, Ton und Sinn in westafrikanischen Sudansprachen*, «*Festschrift Meinhofs, Glückstadt — Hamburg, 1927*» (русск. перев.: Д. Вестерман, *Звук, тон и значение в западноафриканских суданских языках*, «*Африканское языковедение*», М., 1963).

³⁴ Обзор проблематики и библиографию по идеофонам см.: Б. В. Журковски и И. Идефоны: сопоставительный анализ (на материале некоторых языков Африки и Евразии), М., 1968 (пока не издано).

³⁵ D. Westermann, I. Ward, *Practical phonetics for students of African languages*, Oxford, 1933.

³⁶ См. его рецензию: BSOS, 7, pt. 4, 1933—1935, стр. 1020.

³⁷ См.: «*Orientalistische Literaturzeitung*», 31, 1928, стр. 310.

³⁸ В недавно вышедшей работе А. Такера дается обзор различных систем тонообозначений для языков Африки и отмечается, что система Вестермана пользуется

Алфавит Вестермана, известный также под названием «Africa», был введен в некоторых английских колониях, и первым испытательным полигоном стал Золотой Берег (ныне Гана), где этот алфавит был применен к языкам акан (с главными диалектами тви и фанти), га и эве; затем получили письменность на новом алфавите некоторые языки Нигерии (хауса, ибо, эфик, йоруба) и Сьерра-Леоне (менде, темне, сосо, коно, лимба)³⁹. В 1928 г. правительство Судана пригласило Вестермана принять участие в конференции, посвященной вопросам письменности и орфографии: в соответствии с тогдашней правительственной политикой, предполагалось стимулировать развитие языков Южного Судана (динка, нуэр, шилдук, бари, лотухо, мору, занде) на базе собственной письменности, отличной от арабской. При содействии А. Такера алфавит Вестермана был принят и использован для издания описательных грамматик, словарей и учебных пособий по этим языкам. Правда, после получения Суданом независимости все языки вновь были переведены на арабскую графику. В настоящее время алфавит «Africa» господствует в Гане, Сьерра-Леоне, Северной Нигерии, Уганде, в некоторых областях республики Заир и в ЮАР.

Уделяя столь серьезное внимание прикладным задачам языкознания, Вестерман выступал как убежденный сторонник просвещения и воспитания народных масс в Африке, отвергая элитный метод европеизации африканского населения. Став директором Международного института Африки, Вестерман видел задачи вверенного ему учреждения не только в организации научных исследований, но и в использовании результатов этих исследований для практических потребностей просветительно-воспитательной деятельности, о чем он сам говорит в сообщении об открытии института⁴⁰. Безусловно, эти его устремления были по своему содержанию гуманистическими, хотя сам Вестерман связывал их с общими задачами германской колонизации Африки⁴¹. Он искренне верил, что колониализм несет культурный прогресс африканским народам, ему импонировал британский метод «косвенного управления», только в своих представлениях о роли европейцев и путях аккультурации ими африканцев он был более демократичным. Так, он ратовал за введение местных языков как языков учебного процесса в африканских школах, за широкое вовлечение масс в культурное строительство. Его интересовала динамика языковой ситуации в Африке, функциональная стратификация языков, развитие местных лингва франка⁴². Его суждения по вопросам языковой политики в странах Африки отличаются гибкостью и трезвым пониманием реального положения дел. Говоря о стимулировании развития некоторых языков, могущих стать средством межэтнического общения в том или ином регионе, Вестерман предостерегает от субъективизма и пренебрежения к языкам более мелких племен. В каждом конкретном случае, указывает Вестерман, выбор языка как средства общения или как языка учебного процесса должен основываться на тщательной оценке сложившейся язы-

наибольшей популярностью, см.: A. Tucker, Systems of tone-marking African languages, «Bull. of the School of Orient. and Afr. studies», 27, pt. 3, 1974, стр. 600.

³⁹ См.: «A common script for Twi, Fante, Ga and Ewe», Accra, 1927; «Alphabets for the Efik, Ibo, and Yoruba languages», Lagos, 1929; «Alphabets for the Mende, Temne, Soso, Kono, and Limba languages», London, 1929.

⁴⁰ См.: «Koloniale Rundschau», Berlin, 1928, стр. 283; D. Westermann, Sprache und Erziehung in Afrika, «Afrika-Rundschau», 1, 1936.

⁴¹ Ср.: D. Westermann, Sprachforschung und Völkerkunde als koloniale Aufgabe, Berlin, 1941 (Festrede an Leibniztag der Preuss. Akad. der Wiss.); е го же, Afrika als europäische Aufgabe, Berlin, 1941.

⁴² D. Westermann, Swahili as the lingua franca of East Africa, «The Church overseas», 6, 1933.

ковой ситуации и тенденций ее изменения⁴³. И в этом мы видим Вестермана-ученого, Вестермана-гуманиста, всей своей научной деятельностью опровергающего декларацию Вестермана-политика.

Вряд ли уместно в этой статье вдаваться в рассмотрение особенностей гражданской биографии ученого⁴⁴. Уходит в прошлое колониализм, и с ним уходит в небытие противоречия и заблуждения немецкого гражданина Д. Вестермана, а остается ученый Д. Вестерман, «чей вклад в изучение африканских языков не имеет себе равных ни в количественном, ни, по-видимому, в качественном отношении»⁴⁵.

⁴³ D. Westermann, Die Sprachen und ihre Bedeutung, в кн.: H. A. Bernatzik (Hrsg.), Handbuch der angewandten Völkerkunde, Innsbruck, 1947, стр. 149.

⁴⁴ Об этом см.: S. Brauner, I. Herms, K. Legère, Diedrich Westermann. Werdegang, Leistungen, Widersprüche und Irrwege eines bürgerlichen Afrikanisten, «Asien, Afrika, Lateinamerika», 1975, 3.

⁴⁵ D. T. Cole, The history of African linguistics to 1945, «Current trends in linguistics», VII — Linguistics in Sub-Saharan Africa, The Hague — Paris, 1971, стр. 26.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

В. И. Козулов. Общее языкознание. — М., «Высшая школа», 1974. 303 стр.

Общезвестно, насколько трудно написать такой учебник по общему языкознанию для студентов, в котором просто, доходчиво и обобщенно излагались бы основные теоретические аспекты развития языка и языкознания, сущность языковых процессов, соотношение языка и мышления, языка и общества и методы исследования языка. Не всякий языковед-теоретик возьмет на себя тяжелый труд написания такого учебника или учебного пособия. В истории советской высшей филологической школы впервые такая попытка была предпринята И. И. Мещаниновым, который в своем учебном пособии «Общее языкознание»¹ справедливо отмечал, что наличие таких курсов указывает на необходимость постановки общих проблем в лингвистике. Курс по общему языкознанию, по мнению И. И. Мещанинова, устанавливая основные линии языкового развития, помогает конкретному изучению каждого языка. «В этом заключается сложность изложения курса и в то же время широта возможного его построения»².

Думается, что отмеченные И. И. Мещаниновым особенности курса общего языкознания нашли полное отражение в рецензируемой книге, написанной с учетом достижений современного языкознания.

Книга является первым учебником по курсу «Общее языкознание» для студентов филологических специальностей университетов и педагогических институтов. Учебник состоит из трех частей: «История языкознания» (стр. 4—116), «Теория языка» (стр. 117—201), «Методы языкознания» (стр. 202—281). В конце каждой главы дается литература темы, а в конце книги — дополнительная литература.

Историю лингвистики автор рассматривает как последовательное накопление

знаний о языке вообще и об отдельных языках, как развитие логики науки, уточнение и углубление теории, методов и методики лингвистики. Всю историю языкознания В. И. Козулов делит на пять основных этапов: 1) от филологии древности к языкознанию XVIII в.; 2) возникновение сравнительно-исторического языкознания и философии языка (конец XVIII — начало XIX в.); 3) логическое и психологическое языкознание (середина XIX в.); 4) неограмматизм и социология языка (последняя треть XIX — начало XX в.); 5) современное языкознание в структурализме (30—60-е годы XX в.). В конце 60-х годов, по мнению автора, начинается новый, шестой этап в истории языкознания: «Тенденция объединить достижения разных школ и направлений свидетельствует о новом этапе развития языкознания, который характеризуется тем, что постструктуральное современное языкознание предстает перед нами как разветвленное и многоаспектное, как интегративное языкознание, или плюралистическая лингвистика, охватывающая на все достижения прошлого и включающая в себя различные научные и национальные традиции» (стр. 98).

При характеристике каждого этапа истории языкознания автор дает описание наиболее влиятельных школ и направлений, стремится выявить актуальные, утверждающиеся знания, свидетельствующие о поступательном развитии языкознания. Особое внимание в книге обращается на вклад отечественного языкознания в теорию и практику мировой лингвистики.

Первый этап («детство лингвистики»), по мнению автора, — самый продолжительный; он свидетельствует о медленном и постоянном накоплении в разных странах лингвистических знаний и лингвистической проблематики. Подробно рассказывается о грамматике Панини и александрийской системе частой речи.

¹ И. И. Мещанинов, Общее языкознание, Л., 1940.

² Там же, стр. 6.

всеобщей рациональной грамматике и нормативных грамматиках и словарях. Нормально-стилистический тип грамматики рассмотрен на примере «Российской грамматики» М. В. Ломоносова.

Второй этап лингвистики отмечен возникновением сравнительно-исторического языковедения и философии языка (рассмотрена лингвистическая концепция В. Гумбольдта). В главе говорится о трех периодах в развитии компаративистики, причем более детально охарактеризован первый период и, в частности, концепция А. Шлейхера. Значение работ Шлейхера состоит в применении принципа моделирования к истории языка, ибо, как правильно подчеркнул Б. Дельбрюк, «построенный тип языка есть не что иное, как формула, служащая для выражения изменяющихся мнений ученых о размерах и свойствах языкового материала, которые вывели для себя отдельные языки из своего общего праязыка» (стр. 33).

Третий этап в истории лингвистики характеризуется преодолением односторонне логических и натуралистических концепций и утверждением принципа историзма и социальности языка. Если совмещение логического и исторического принципов рассмотрено на примере лингвистических взглядов Ф. И. Буслаева, то лингвистический психологизм охарактеризован на примере лингвистических взглядов А. А. Потебни и младограмматиков, которые отстаивали историзм на психологической основе.

В конце XIX — начале XX в., отмечает автор, возникает лингвистическое направление, для которого типично не только подчеркивание социального и исторического в речевой деятельности, но и относительной автономности языковой системы и ее единиц. Бодуэн де Куртене и Крушевский обратили особое внимание на языковые атомы — фонемы и морфемы; Фортунатов и Пешковский говорили о языковых молекулах — формах слова и формах словосочетаний, а Соссюр подчеркивал важность языковых отношений, поскольку «суффиксы и основы обладают значимостью лишь в меру своих синтагматических и ассоциативных противопоставлений». Специального наименования для этого направления нет. Автор предлагает назвать его неограмматизмом, так как теория грамматики, занимая в этом направлении центральное место, получила особое освещение. Термин «лингвистической формализм» менее точен.

К неограмматику относятся казанская и московская лингвистические школы, а также женева и парижская школы, возникшие на базе лингвистической концепции Ф. де Соссюра. Основные положения всех школ неограмматики рассмотрены в четвертой главе (стр. 56—78)³.

³ О неограмматизме см. также: В. И. К о д у х о в, Казанская лингви-

Для пятого этапа истории лингвистики характерно бурное развитие уже существующих школ и направлений, а также возникновение структурного, математического и прикладного языковедения. В главе более детально рассмотрены функциональная лингвистика (Пражский лингвистический кружок), дескриптивная лингвистика (школа Л. Блумфильда и Э. Харриса — в ее отношении к концепции Э. Сепира и Н. Хомского) и глоссематика (школа Л. Ельмслева). В этой части учебника нам представлялось бы целесообразным хотя бы вкратце дать изложение основных различий между различными направлениями структурализма⁴.

Значительным явлением пятого этапа истории лингвистики является возникновение советского языковедения, опирающегося на практику языкового строительства в Советском Союзе и базирующегося на марксистско-ленинской философии. Советскому языковедению посвящена специальная глава: в ней дана краткая история советского языковедения, охарактеризованы его основные достижения, три лингвистические концепции — И. И. Мещанинова, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова.

Изложение теории языка начинается с рассмотрения проблемы языка и речи. Указав на различные аспекты проблемы, автор подчеркивает, что язык обладает тремя качествами: система, норма, речевая деятельность — таков тройкий предмет языковедения. «Понимание, — пишет В. И. Кодухов, — языка как метаязыка и исследовательской модели, а речи как текста не определяет природы языка и речи как предмета и объекта языковедения» (стр. 121). Поэтому В. И. Кодухов считает целесообразным установить те признаки и свойства языка, которые порождают текст и которые существуют объективно как объект и предмет языковедения.

Во второй части пять глав: «Знаковые и незнаковые свойства языка» (стр. 123—133), «Язык как система» (стр. 133—152), «Язык и мышление» (стр. 152—167), «Язык и общество» (стр. 167—185), «Язык и история» (стр. 185—201).

Проблема знаковой природы языка рассматривается автором с трех точек зрения — взаимоотношения общей се-

стическая школа, «Вопросы теории и методики изучения русского языка», Казань, 1971 («Уч. зап. Казанск. пед. ин-та», 96).

⁴ См. об этом: И. Б. Р а м и ш в и л и, Основные принципы Копенгагенской школы структурализма, Тбилиси, 1974 (резолюме на русск. яз.); реферат этой книги см.: РЖ «Общественные науки в СССР», Серия 6 — Языковедение, 1975, 3; Ф. М. Б е р е з и н, История лингвистических учений, М., 1975, стр. 263—266.

миотики и лингвосемиотики, специфики языка как семиотической системы и основных вопросов лингвосемиотики как раздела лингвистики. В. И. Кудухов подчеркивает, что лингвосемиотическая теория языка должна учитывать многокачественность языка, наличие в нем единиц, обладающих различной структурой и значением. Классификация языковых единиц обязана учитывать их различную знаковую природу (сигналы и знаки), соотношение знаков друг с другом (полные знаки и частичные знаки), их назначение (структурные и коммуникативные знаки). Естественно, что необходимо рассмотреть субординацию языковых единиц — выделить среди них основные (базисные) и второстепенные (вспомогательные)» (стр. 130).

Учение о ярусной структуре языка включает, по мнению автора, рассмотрение вопроса об основных и промежуточных ярусах языка, а также полюсах языковой системы. Основными ярусами языка признаются фонетико-фонологический, морфемо-морфологический, синтаксический и лексико-семантический; каждый из них охарактеризован в главе. Промежуточными ярусами являются морфологический, словообразовательный и фразеологический. Полюсами называются признаки языковых единиц, которые связывают систему языка с внеязыковой действительностью. На материальном полюсе обнаруживаются признаки плана выражения — речевая цепь и дифференциальные признаки фонем; на идеальном — признаки плана содержания: контекст и дифференциальные признаки семантических единиц языка. В конце главы рассмотрены три теории структуры языка — теория изоморфизма, теория иерархия уровней и теория частей речи, реализующих связи ярусов языка в единое целое.

Раздел общего языкознания, который изучает связи языка и мышления, типы и структуру языковых значений, автор называет менталингвистикой, или лингвистической концептологией. В главе охарактеризованы основные направления менталингвистики (логическое, психологическое, семиотическое и контекстное), типы и виды языковых значений и вопрос об отражательной функции языка. Среди языковых значений выделяются два типа — структурные и информативные. Структурными называются значения самих единиц языка — лексические и грамматические, которые в свою очередь могут быть указательными (депозитивными) и характеризующими (дизигнативными). Информативные значения есть компоненты структуры передаваемых сообщений; среди них выделяются четыре вида — логико-языковой, предметно-понятийный (когнитивный), эмоционально-оценочный, стилистический (коннотативный). При использовании языка в контексте происходит актуализация и специализация того

или иного компонента языкового значения. Так, в историзме происходит выделение на передний план культурно-исторического и понятийного компонентов, тогда как в арманаме на переднем плане оказывается символический, оценочный и стилистический компоненты.

В главе, посвященной социологии языка, или социолингвистике, рассматривается социальная природа речевой деятельности, язык как социально-историческая норма и социальные типы языка (язык народности, национальный язык, язык межнационального общения). Указав на такие свойства нормы языка, как ее капризность, устойчивость и обязательность, автор далее останавливается на трех основных типах языковой нормы — устной, литературной и стиле языка. Особо подчеркивается социальная значимость литературной нормы языка.

Историческая изменчивость языковой нормы — такое же существенное качество языка, как и динамизм его системы. В главе рассмотрено два типа изменений языка — варьирование и замещение; замещение, или естественные трансформации, непосредственно связано с выделением хронологических срезов и периодов истории языка. Периодизация истории языка связана также с историей общества, контактами между народами и развитием культуры. В последних параграфах рассмотрена проблема внешних и внутренних законов, а также причины исторического развития языков.

Третья часть учебника начинается главой о соотношении философского метода познания, общенаучных и лингвистических методов исследования. Лингвистическое познание характеризуется в книге как процесс, охватывающий такие способы изучения языка, как наблюдение, экспериментирование и моделирование. Поскольку модели исследования опираются на обобщение в форме абстрагирования и идеализации, представляя или замещающая объект, постольку лингвистические модели бывают двух типов: модели-образцы и модели-конструкты. Кроме формулировок, являющихся вербальным способом наглядно-образной записи основных свойств модели, в лингвистике используются несвербальные способы записи — формулы, чертежи, графики.

В учебнике различаются понятия аспекта, приема и методики (процедуры) исследования, обозначаемые в лингвистических работах термином «метод». Основными лингвистическими методами-аспектами признаются описательный, сравнительный и нормативно-стилистический. Каждый из методов-аспектов характеризуется своими принципами и задачами, объединяя и видоизменяя различные приемы и методики анализа в зависимости от особенностей изучаемых объектов и частных задач, поставленных перед исследователем.

В учении об описательном методе лингвистики важным является различение единиц языка и единиц анализа, причем единицами анализа могут выступать единицы языка и речи. Так, морфема, будучи единицей языка, может быть использована как единица анализа состава и структуры слова. Единицы анализа могут быть большими и меньшими сравнительно с единицами объекта анализа, и это служит базой для возникновения методики компонентного и контекстного анализа.

Приемы описательного метода делятся на два типа: приемы внешней интерпретации и приемы внутренней интерпретации. Приемы внешней интерпретации делятся на два вида: а) приемы интерпретации единиц языка через их связи с языковыми явлениями (социологические, психо-психологические и артикуляционно-акустические); б) приемы интерпретации единиц языка через другие единицы языка; сюда относятся приемы междуровневой интерпретации (например, морфемная морфология и морфологический синтаксис) и дистрибутивные приемы, которые вскрывают особенности изучаемой единицы через ее окружение.

Приемы внутренней интерпретации автор делит на три вида: 1) приемы классификации и систематики; 2) приемы парадигм и синтагм, в том числе прием семантического поля, оппозиций и позиционный прием; 3) трансформационные приемы.

Особо рассмотрены в главе математические приемы анализа языка — аксиоматическая методика порождающей грамматики и инвариантный семантический анализ, приемы лексикографической статистики, стилистистики и изменения текста приемами теории информации. Заканчивается глава параграфом об инструментально-фонетических приемах и автоматизации лингвистических исследований.

Последняя глава посвящена сравнительному методу, т. е. методу межязыкового сравнения. На методике межязыкового сравнения основывается три метода — сравнительно-исторический, историко-сравнительный и сопоставительный. Отличаются они целями и приемами анализа.

Сравнительно-исторический метод автор определяет как метод исторического изучения родственных языков; его основными приемами являются: установление генетического тождества, реконструкция праформ, установление абсолютной и относительной хронологии. Особо говорится о методике этимологического анализа.

От сравнительно-исторического метода автор отличает историко-сравнительный метод. Это — система приемов и методики анализа, используемая при изучении исторического развития отдельных

языка в целях выявления его внутренних и внешних закономерностей. Принципом историко-сравнительного метода является установление исторического тождества и различия форм и звуков языка. Важнейшие приемы: приемы внутренней реконструкции и хронологизации, диалектографии, культурно-исторической интерпретации, а также прием текстологии» (стр. 263).

Замечания и пожелания автору книги касаются прежде всего объема и интерпретации материала, расстановки общелингвистических акцентов. При изложении истории языкознания желательно было бы более подробно, чем это сказано на стр. 12—13, рассказать о классической и восточной филологии, особенно про арабское языкознание, о проблемах языкознания в философии XVII—XVIII вв. Более детально следовало бы сказать о взглядах А. А. Шахматова, которого трудно представить только как ученика Ф. Ф. Фортунатова. Когда говорится о советском языкознании (стр. 111), необходимо, на наш взгляд, охарактеризовать особенности теории общего языкознания советского периода.

На стр. 118—120 дан обзор взглядов на проблемы языка и речи. Целесообразно, думается, при втором издании книги, выделить рассмотрение этой проблематики в особую главу.

Вызывает также замечания глава о знаковых и незнаковых особенностях языка. Во-первых, этот вопрос перекрещивается с проблемой единиц языка и это недостаточно разграничено. Во-вторых, следовало бы дать обзор различного понимания знака в общей семиотике (в частности, изложить взгляды Пирса, который оказал большое влияние на развитие общесемиотической теории). Наконец, недостаточно, на наш взгляд, отражены в учебнике вопросы лингвистики универсалий, типологического языкознания, лингвистики текста.

Естественно, что при рассмотрении существенных характеристик языка автор в ряде случаев дает собственную интерпретацию той или иной проблемы. Этот субъективизм легко понять, если учитывать необычайно многообразие точек зрения лингвистических течений и тенденций в современной лингвистике, неоднозначность решения рассматриваемых в учебнике проблем. Достоинство этой в общем удачной книги в том и состоит, что автор отобрал наиболее важные проблемы, показав при этом всю сложность их решения и стимулировав тем самым творческую мысль как вступающих в науку молодых исследователей, так и сложившихся ученых.

Ф. М. Березин

«Проблемы картографирования в языковедении и этнографии». —
Л., 10 изд-ва «Наука», 1974. 324 стр.

Рецензируемый сборник порожден необходимостью сотрудничества лингвистов и этнографов при разработке проблем теории и практики картографирования. Картографирование при этом рассматривается как метод систематизации и сопоставления изучаемых фактов, выявления таких их отношений, которые иначе, при помощи других приемов, не могут быть установлены, т. е. как эвристический метод (стр. 71, а также стр. 4).

Сборник посвящен памяти академика В. М. Жирмунского, зачинателя и вдохновителя лингвогеографических работ в нашей стране, инициатора широкого лингвогеографического обследования языков народов СССР. В статье А. В. Десницкой «Вопросы социально-географического изучения явлений языка, этнографии, фольклора в работах В. М. Жирмунского» (стр. 8—15), открывающей сборник, оказались намечены проблемы почти всех последующих его разделов.

Общим проблемам и методике лингво- и этногеографических исследований посвящен наиболее обширный I раздел сборника. Его открывает статья Н. И. Толстой «Некоторые вопросы соотношения лингво- и этногеографических исследований» (стр. 16—33), в которой всесторонне обосновывается необходимость для современной лингвистической науки единения с этнографией (и археологией). По мнению автора, при исследовании процессов и изменений в языке, совершающихся во времени и пространстве, следует учитывать воздействие внелингвистических факторов на структуру языка в целом и на отдельные ее звенья, прежде всего на лексико-семантический уровень. Считая факторы материальной и духовной культуры при этом важнейшими, Н. И. Толстой указывает, что первым реальным шагом в таком объединении усилий лингвистов и этнографов может стать широкое применение метода параллельного рассмотрения изоглосс и изограмм (отдельные положительные примеры подобных сопоставлений уже известны в науке) и вместе с тем — поиск и накопление все новых фактов, их совпадений и сближений. В этой связи несколько неожиданно его вывод: «Вероятно, неотложные задачи, стоящие перед славистикой, требуют того, чтобы лингвисты, не дожидаясь помощи этнографов (разр. наша. — *pec.*), сами в ряде зон... принялись за сбор материала и его первичную обработку...» (стр. 29—30).

В условиях интенсивного внедрения картографических приемов в языковедение и этнографию первоначально важной представляется методическая установка сборника на выявление и определение всей суммы основных лингвогеографических и этнографических понятий и тер-

минов. Проблема адекватного конципирования употребляющихся в лингвистике и этнографии терминов тем насущнее, что этнографы активно пользуются предложенными в лингвистике терминами (ср., например, термин *иррадиация* у М. А. Бородиной и *периферийная иррадиация* у Ю. В. Маретина, стр. 250; ср. также неологизмы *ассоциация*, стр. 250, *изобража* и проч. по аналогии с *изобразя*).

Важна и инвентаризация и систематизация имеющихся понятий (многие из которых входят в стадию становления), соответствующих терминов и даже неустоявшихся словоупотреблений. Достижению этих целей способствует составленный Н. Л. Сухачевым «Предметный указатель» (стр. 307—312), вместе с «Именным указателем» заключающий сборник. «Предметный указатель» имеет важное методическое значение как понятийно-терминологический ключ не только к рецензируемому сборнику, но и вообще к ареальным исследованиям.

Насколько эта область исследований находится в динамике развития, показывает сохраняемый редколлегией сборника дискуссионный характер ряда публикуемых статей и, в частности, спор языковедов по поводу содержания терминов «лингвистическая география» и особенно — весьма неопределенного «реальная лингвистика» (стр. 4)¹. Так А. В. Десницкая, подчеркивая, что В. М. Жирмунский никогда не пользовался термином «реальная лингвистика» (стр. 9), полагает, что предостережения ученого «...должны быть учтены в практике ареальных исследований...» (стр. 15). М. А. Бородина склоняется разграничивать методы ареального (или, как ей представляется удачнее, ареалогического) и лингвогеографического исследований («О типологии ареальных исследований», стр. 53 и сл., а также стр. 44, примеч. 2). Сходное мнение, с некоторой поправкой, разделяет Н. Л. Сухачев: он разграничивает понятие «лингвистическая география» как один из методов изучения языка и более общее понятие «реальная лингвистика», которая представляет собой особую корологическую дисциплину и рамках об-

¹ Подобный подход вряд ли целесообразно распространять на используемую в сборнике узкоспециальную терминологию: ничем не оправдано и создает впечатление редакционной небрежности сохранение таких вариантов, как *кылчак* (стр. 242) и *кылчакский* (стр. 243, 244, 245, следует: *кылчакский*); *азгулякский* (277) и *азгулякский* (303) и др. Обращает на себя внимание путаница в применении терминов *топонимика* и *топонимия* (стр. 280, 282, 290), последний почему-то отсутствует в «Предметном указателе».

щего языкознания («Лингвистические атласы и карты», стр. 40—41). Т. В. Назарова признает автономность лингвистической географии среди других лингвистических дисциплин, причем предметом ее изучения считает ареал («К проблеме типологии диалектных ареалов», стр. 85).

При отсутствии в рецензируемом сборнике единого определения ареала (как впрочем, и в специальных изданиях, посвященных методам языковедческих исследований) предложенная Т. В. Назаровой дефиниция его как «картографической протяженности, ограниченной изоглоссой и соответствующей территориальному распространению определенного языкового (диалектного) объекта» (стр. 85), представляется нам наиболее полной и удачно конкретизированной²; к тому же это вполне согласуется с воззрением на картографирование как на эвристический метод. М. А. Бородина исходит из существования ареала не только на карте, но и в действительности (стр. 44); сходное значение вкладывается в термин «ареал [язылений]» (К. В. Чистов, «Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд», стр. 74).

К. В. Чистов считает картографирование «методом выяснения определенных противопоставлений в их географическом распределении» (стр. 79). Т. В. Назарова идет дальше³, выдвигая понятие «основного средства организации ареальной оппозиции (АО), представляющей собой противопоставление однозначных разносистемных ареалов...» (стр. 86). Методом ареальных семантических оппозиций пользуется А. К. Матвеев при установлении топонимического ареала.

В соответствии со своими теоретиче-

² Т. В. Назарова в насыщенной новыми идеями статье подчеркивает, что «понятие ареала связано с условной картографической протяженностью, или ареальным пространством, представленным на плоскости карты» (стр. 85). По-видимому, неоднократное употребление слова *условный* явилось поводом для не вполне адекватного, на наш взгляд, реферирования воззрений исследователя (стр. 40, примеч. 15, ср. также стр. 307). Заметим, что подобная же «условность» присуща и топонимическому ареалу в определении А. К. Матвеева («Ареальные исследования и этимологизация субстратных топонимов», стр. 289).

³ О противопоставленных различительных элементах диалектов и родственных языков см.: Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн, Лингвистическая география и структура языка, М., 1958, стр. 12—13.

скими взглядами на сущность ареала М. А. Бородина описывает его формы, его местоположение, границы, а также «заполненность» (стр. 44), а Т. В. Назарова выделяет лингвистические и формально-картографические признаки ареала, относя величину ареала, его конфигурацию, характер и проч. именно к этим последним (стр. 87). Что же касается лингвистических признаков, то они лежат в основе системных соотношений ареалов, исходя из которых различаются, например, четыре типа однозначных ареалов (стр. 87). В статье Т. В. Назаровой поставлена типологическая проблема моделирования связей ареалов, которое предлагается осуществлять путем взаимного наложения, противопоставления и т. п.

В статье М. А. Бородиной на основе сопоставления ареальных методов, все шире применяющихся в различных науках (в том числе и общественных), выдвигается идея о возможности выявить типологию ареальных исследований. Не со всеми положениями автора можно согласиться. Нам, например, не кажутся «столь родственными», как это представляется автору, языкознание и этнография (стр. 45); вряд ли приемлемо утверждение о том, что между лингвогеографией и этногеографией «больше общего, чем различий» (стр. 46). Безусловно общей является лишь возможность применения метода пространственной интерпретации явлений (именно это оказывается тем единственным, что объединяет названные дисциплины и блогогеографию). Применение этого метода порождает известное число новых сходств, но сходств, так сказать, второго порядка. Однако, как пишет сама М. А. Бородина, «... при внешнем типологическом сходстве рисунков (моделей) не только различно их содержание, но и процесс (причины) образования и функционирования» (стр. 53).

Можно усмотреть известное противоречие в том, что автор, с одной стороны, оценивая «Новые региональные атласы Франции» как отражающие стремление их составителей «к новому осмыслению языковых и этнографических категорий, стремление выйти за пределы исследованных в области одной науки...» (стр. 45), с другой стороны, пишет, что эти атласы стали называться «лингвистическими и этнографическими», «лингво-этнографическими» «несколько стихийно... без какого-либо предварительного обсуждения и теоретизирования этого вопроса, декларации о связи лингвистики и этнографии...» (там же). Существует мнение, что представители западноевропейской, в частности романской, лингвогеографической школы широко вводят в диалектологические исследования этнографический аспект, в своей деятельности отводят ему подчиненную, по отношению к линг-

вистическому, роль. Если придерживаться такого мнения, то употребление термина «лингво-этнографический атлас» нежелательно, так как возникла бы иллюзия, что существует принципиальная возможность создать комплексный труд, где оба аспекта будут представлены как равноправные.

Безусловная уверенность в возможности создать комплексный труд, где оба аспекта — лингвогеографический и этногеографический — были бы представлены более или менее равноправно, выражены в статье И. А. Давидзельского «К вопросу о „Лингвистическо-этнографическом атласе культуры Карпат“ (ЛЭАКК)» (стр. 107—111). Предполагается, что в ЛЭАКК будут включены карты чисто лингвистические, чисто этнографические и комбинированные. Излагается план работы, перечень конкретных мер, призванных обеспечить ход ее. Создается, однако, впечатление, что остались недостаточно обоснованными и продуманными общетеоретические и практические аспекты совмещения в одном труде двух столь различных начал. Нет ответа на такой, например, вопрос: почему нужен именно единый труд (выполнение которого — при таком размахе — неизбежно грозит превратиться в неразрешимую задачу). При достигнутом уровне лингво- и этногеографических исследований более целесообразной видится перспектива создания двух трудов, а именно: лингвистический атлас зоны Карпат с непременным учетом этнографической стороны картографируемых названий и этнографический атлас карпатской культуры (в программе которого этнографы могут предусмотреть, независимо от лингвистов, сбор соответствующей терминологии)⁴ с тем, чтобы затем сопоставить результаты — полученные изоглоссы и изопрагмы; этот путь предложен Н. И. Толстым. Заметим, что «звучение диалектной лексики методом лингвистической географии с учетом этнографических особенностей реалий», строго говоря, все же нельзя называть «лингвоэтнографическим исследованием» (статья из II раздела сборника: В. К. Павел, Р. Я. Удлер, «Лингвоэтнографическое исследование материалов Молдавского лингвистического атласа», стр. 178).

⁴ О проблеме включения терминологических карт в историко-этнографические атласы см. статью Г. С. Масловой «Значение картографирования русского традиционного костюма для этногенетических исследований», стр. 253; см. также статьи: Т. А. Идашко «Картографирование в агроэтнографии», стр. 234, 238; Е. Н. Студенецкой «Общие черты в мужской одежде народов Северного Кавказа и их отражение в терминологии», стр. 257—263.

Ставя вопрос «о типах, формах и закономерностях соотношения ланковых границ и ареалов отдельных элементов и комплексов традиционной культуры... в различных социально-экономических и этнокультурных ситуациях» (стр. 75), К. В. Чистов высказывается в пользу осуществления идеи комплексного картографирования элементов традиционной культуры и соответствующих им терминов (стр. 77). Вызывает сомнения постулируемое автором сходство картографирования терминов материальной культуры в историко-этнографических атласах, с одной стороны, и картографирования лексики в диалектологических атласах, с другой (стр. 77; на одно из принципиальных различий указывает сам автор на стр. 78: для этнографов интерес представляют лишь лексические варианты терминов, но никак не фонетические и не морфологические; между тем долгие из них релевантны для лингвистов). Кроме того, и само понятие «комплексного картографирования» нуждается в раскрытии. В это понятие можно было бы вкладывать картографирование в этнографических работах определенных названий (терминов) для нужд именно этнографов, с эллиминированием при этом элементов, избыточных в подобных исследованиях. Соответственно в лингвистических работах оно понималось бы как учет — с необходимой и достаточной для лингвистов степенью точности — этнографического аспекта. Вряд ли целесообразно понимать под «комплексным картографированием» объединение в одном труде карт, где лингвистические и этнографические единицы были бы отражены с равной и необходимой в каждой из двух наук степенью точности и детализации.

Анализ приемов картографирования и методики обработки и исследования материала карт в существующих лингвистических атласах составляет содержание статьи Н. Л. Сухачева «Лингвистические атласы и карты». Различия между лингвистическими и диалектологическими атласами (стр. 41), по мнению автора, заложены уже на стадии анкетирования («программы» и «вопросники»). Принципиальная разница между картами «на отдельное слово» и картами «на явление» бесспорна; необходимо терминологическое разграничение карт различного типа. Однако наименование карт одного типа (на отдельное слово) «лингвистическими» вызывает представление о том, что они более согласуются с общелингвистическим подходом к языковому материалу, с постановкой общей (в рамках «ареальной лингвистики») задач, чем карты «диалектологические». Кстати, Н. Л. Сухачев не учитывает практику выработки комбинированных программ-вопросников, цель которых — обеспечить сбор материала как по явлению в

целом (для чего задается иногда довольно значительный список слов), так и по отдельным, «лексикализованным» случаям (для чего указываются обязательные для сбора слова). Такова, например, программа издания «Български диалектен атлас» (1—2, София, 1964—1966).

Ряд статей I раздела даст материал для раздумий над опытом применения методов картографирования в языкознании и этнографии. Так, К. В. Чистов справедливо указывает на сложность вопроса, связанную с требованием противопоставления на картах равноценных и изофункциональных элементов⁵, и ставит важный методический вопрос: какова допустимая мера сходства явлений, которые могут считаться равноценными? Предварительная оценка явлений с целью отбора их для картографирования должна строиться не на отвлеченных предположениях об их важности или второстепенности, а на наблюдении над их варьированием в различных районах расселения этноса или их различиях в сопоставляемых этнических средах (стр. 82).

Именно при наличии нескольких параллельных форм (в данном случае — элементов материальной и духовной культуры) оказываются особенно важными количественные оценки изучаемых явлений, подчеркивает М. Г. Рабинович в статье «К методике этнографического картографирования», где предлагается техника нанесения на карту количественных показателей (стр. 87).

Важность учета количественного аспекта в картографировании языковых явлений показана в статьях Н. Н. Пшеничковой «К вопросу о статистическом анализе материала для лингвистического картографирования» и И. В. Кузьминой и Е. В. Немченко «О характере синтаксических различий русских говоров и их картографировании», которой открывается следующий раздел рецензируемого

сборника — «II. Лингвистические ареалы». В первой статье обсуждается вопрос, как показать на карте неодинаковое по говорам количественное соотношение реализаций разных членов междиалектного соотношения. И. В. Кузьмина и Е. В. Немченко предлагают метод условного картографирования синтаксических различий, имеющих в говорах неодинаковый количественный характер, посредством карт-схем.

Обмен информацией о методике составления атласов представлен в статьях С. В. Бромлей «О проекте сводного „Диалектологического атласа русского языка“ (ДАРЯ)» (стр. 95—101), Э. Р. Тенишева «О работе над „Диалектологическим атласом тюркских языков Советского Союза“» (ТДА, стр. 101—107), Г. В. Степанова «О лингвоэтнографическом атласе Колумбии» (стр. 111—114), И. А. Дзедзевского о ДЭАКН. Несмотря на то, что все эти атласы очень различны по своим целям, охвату материала, методике и уровню разработки, этот обмен полезен для выяснения общих принципов составления атласов. ДАРЯ ставит целью картографирование целостных звеньев языковой структуры, ТДА — картографирование фонетических, морфологических, лексических и семантических сходжений и расхождений, причем преимущественное внимание уделяется фонетике (165 фонетических признаков из 211 картографируемых), между тем как современная лингвогеография требует равного учета морфологических изоглосс наряду с фонетическими.

В статье Л. Т. Выгонной «К интерпретации лексических карт» (стр. 154), помещенной во II разделе, высказывается мысль о том, что решению вопросов языкового членения будет способствовать «дальнейшее изучение соотносительности лексического членения с морфологическим и фонетическим». Традиционное распределение диалектных зон, основывавшееся на ограниченном числе фонетических изоглосс, в настоящее время подвергается пересмотру — см. статью А. С. Герда и В. М. Мокиенко «К проблеме членения славянских диалектов» (стр. 115), где традиционная классификация славянских диалектных зон дополняется данными о распространении словообразовательных формантов и ряда лексических единиц.

Ф. П. Сороколетов и И. А. Попов («Областные словари как источник лексикологических и ареальных исследований») считают, что составление карт-схем распространения отдельных лексем вполне оправдано в региональных словарях.

В методическом отношении интересна статья II раздела Ф. Д. Климчука «К соотношению диалектных, этнографических и археологических ареалов Брестско-Пинского Полесья», где рассматривается, с одной стороны, совпадение современно-

⁵ Для лингвиста, скажем, множество зафиксированных в изучаемой зоне изофункциональных терминов сделает необходимым, прежде всего, решение вопроса: чисто ли лингвистическое это явление или же причина многообразия названий также и в действии внелингвистических факторов? Лишь установив коррелятивные отношения между собственно лингвистическим планом и планом внелингвистическим, «можно ставить задачу оперирования исключительно лингвистическими фактами» (стр. 21). Для этнографа сложность состоит в том, что в явлениях духовной культуры он может иметь дело, во-первых, с несколькими различными по своей природе рядами элементов и комплексов и, во-вторых, с такими аспектами, как система критики источников, сетка обследования, отбор явления для картографирования и т. п.

го диалектного членения Западного Полесья с территориальной расчлененности в прошлом (VIII—XIII вв.) ряда древнеславянских племен и, с другой — близость некоторых диалектных границ и ряда изограмм.

Вопросы ретроспективного толкования современных территориальных показателей языковых единиц затрагиваются в ряде статей II раздела сборника: Е. Г. Мамсуровой «Обусловленность лингвистических изолиний», Л. Н. Сычевой «Лингвистическая география и история языка», авторы которых стремятся увязать внешнелингвистические факторы (история страны, характер рельефа и географическое положение страны) с историей языка — и всегда без надлежащей осмотрительности (см. особенно стр. 186 и 188). Статья Н. И. Серман «Внутренняя форма слова и вопросы лингвистической географии» (стр. 193—198), содержащая полезное и интересное исследование народной номинации в ее исторической, этнографической и фольклорно-обрядовой обусловленности, также лишена необходимой осторожности в отношении использования данных этих наук.

В I разделе сборника специально проблеме картографического изучения письменности деловых документов и установления исторических ареалов посвящена статья Н. Н. Мильман («Значение текстов в лингвогеографических исследованиях»). Во II разделе проблемам диахронической лингвогеографии посвящены статьи профессора Дижонского университета Ж. Таверде «Пикардизмы в старобургундских текстах» и А. Б. Черняк «Глагол *adire* в современных диалектах и старофранцузских текстах» (стр. 202—206).

Некоторые страницы истории ареального изучения языков, как современных, так и древних, в I разделе раскрываются в статьях А. А. Касаткина «Л. Сальвиати и Дж. Папанти как исследователи итальянских диалектов» (стр. 124—128) и Л. Г. Герценберга «Ареальные методы и идиоэвропейское языковедение» (стр. 136—141).

Помимо названных выше, во II разделе помещен ряд статей, посвященных методу и опыту лингвистического рекартографирования материала романских диалектологических атласов, которое становится одним из важных приемов лингвогеографического исследования. Это статьи А. А. Смольевского «О картографировании синтаксических явлений в лингвистических атласах Италии и Франции (к проблеме актуального членения предложения)» (стр. 148—151), В. П. Давыловой «О фонетической реализации омонимичных морфем в галлороманских говорах» (стр. 209—214), М. А. Бородиной, П. И. Рощки, С. П. Николаевой, С. А. Кожанкиной «Опыт рекартографирования и интерпретации общероманского ара-

ла» (стр. 214—220). В последней статье такой опыт, проделанный на материале семемы «виноградная лоза», которая представлена во всех романских атласах, показывает сходную мотивированность внутренней формы обнаруженных названий. Может быть, стоило бы более тщательно разграничить первое и шестое семантические поля. В одно из них автор относит, помимо «шалка», «бревно», «пень» и т. п., также и «прут», «тростник», «стебель», и другое — «куст», «растение», «росток», «побег». Возможно считать их принадлежащими одному полю, объединенному идеей «растение» и т. п. (здесь же следовало бы в этом случае прибавить семемы седьмого поля — «живое», «живущее» и т. п.). Кстати, на предлагаемой к работе карте ареалы всех этих семем, как правило, соседствуют.

Г. Ф. Вейшторп в статье «Проблема семантического микрополя и картографирование лексики» (стр. 155—160) подчеркивает теоретическую и практическую значимость картографирования лексем в рамках целостной предметной группы (на примере некоторых названий пищи и приемов ее). В статье А. С. Соколовской «Лингвогеография и этимология некоторых названий одежды и обуви» наряду с верными наблюдениями содержатся спорные выводы и положения. В частности, представляется невозможным возведение локального варианта *zobova* (стр. 107) к праславянскому **zobova* и объяснение (вслед за В. В. Мартыновым) указанной формы через **zobъ* (с *z*-основой); подробнее об этимологии н.-луж. *chobowa*, польск. *chobowa*, русск., укр. *хобова* и пр. см. у Ф. Славского, М. Фасмера, П. Скока.

В. С. Сорбалз в статье «Реконструкция терминологической системы пил и вожков в молдавских говорах» (стр. 169—176) делает попытку проследить развитие указанной группы терминов (в том числе расширение и сужение семантики некоторых лексем), исходя прежде всего из эволюции самих реалий. Автор слишком прямолинейно, на наш взгляд, понимает идею связи материальной культуры и языка. Так, исчезновение из восточнороманских диалектов латинских терминов для пил без какой-либо аргументации трактуется как доказательство исчезновения самих инструментов и соответствующих видов ремесла. Ясно, однако, что причины, приведшие к вытеснению исконных названий и замене их заимствованиями, гораздо сложнее и многообразнее. Неубедительно постулируемое автором заимствование термина *beskie* (< тур. *biski* «поперечная пила, пила») вместе с поперечной и п р о д о м ъ н о й (? разр. *наша* — *реца*) пилами у турок» (стр. 173); к тому же в статье многократно повторяется ошибка в написании турецкого названия пилы: вместо тур. *biski* повсюду приводится тур.

bički (стр. 170, 172, 173, 174, 175) «крой-ка» (по «шила»). Автор пытается объяснить «е» в молд. *besnie* путем возведения последнего к «тур. *bički* в контаминации с молд. *bestie* «зверь, животное, скотина» (< лат. *bestia*)» (стр. 173). Вероятнее путь заимствования молд. *besnie* < болг. *бицька* < тур. *bički* (бычки) при интенсивном развитии процессов палатализации, которое на Балканах было стимулирувано славянским адстратом.

Конкретные ареалогические наблюдения над романским языковым материалом содержатся в статьях И. С. Копцевой «Ареалы вспомогательных глаголов при местоименных глаголах во французском, итальянском и ретороманском языках» (стр. 191—193), М. Г. Волох «Микро- и макрогласы и возможности их сопоставления» (стр. 198—202), С. П. Николаевой «Архаизмы и иновации в маргинальных зонах Романии» (стр. 181—184). В последней представляется неубедительной предлагаемая автором параллель между ролью испанского языка в современных говорах Галисии и ролью славянского церковного языка в период создания первых славяно-румынских государственных образований (XIV в.).

Интересными и разнообразными материалами насыщены последующие разделы сборника — «III. Историко-этно-

графические ареалы» (стр. 221—283) и «IV. Ономастика, топонимика, антропонимика» (стр. 284—306). В IV разделе, помимо упоминавшейся работы А. К. Матвеева, опубликованы статьи В. А. Никонова «Проблемы ономастических ареалов» (стр. 284—289), Г. М. Василевич «Антропонимы и этнонимы у народов уральской и алтайской семей, расселенных в Сибири» (стр. 296—302), Р. Х. Додухудоева «Ареально-историческая интерпретация микротопонимии Западного Памира» (стр. 302—306).

В заключение подчеркнем, что важно и плодотворно само развернувшееся на страницах сборника широкое и многоаспектное обсуждение неотлаженных проблем лингвогеографии и ареальной лингвистики, в том числе вопросов соотношения этих отраслей науки, а также возможности их «синтеза»; поделано и то, что привлечено внимание к трудностям как методического, так и практического характера, сопровождающих применение метода картографирования в языковедении, этнографии, археологии. Рецензируемый сборник, несомненно, будет интересен для специалистов самых разных отраслей языковедения.

Г. Ф. Благова, Г. П. Клепикова

С. С. Волков. Лексика русских челобитных XVII века.—
Л., изд-во ЛГУ, 1974. 163 стр.

В рецензируемой книге рассматриваются особенности формы и стилистическое своеобразие русских челобитных XVII в. — так назывались в XVI—XVII вв. всякого рода прошения, заявления, жалобы на имя царя, членов его семьи, патриарха, боярина... Эта наиболее массовая и распространённая в XVII в. разновидность актов документов своими формальными особенностями выделяется среди разнообразных по своей социальной значимости деловых памятников XVII в. Челобитные XVII в. выполняли различные функции, что отразилось уже в многозначности самого термина «челобитная». Это и родовое наименование определенной разновидности актов (официальных заявлений, прошений, жалоб, допросов и т. п.), это и видовое наименование прошения или жалобы, иска, доноса и т. п. (исконная челобитная, явочная челобитная, изветная челобитная, мировая челобитная и др.). Занимая промежуточное положение между официально-деловыми актами и актами частного-делового характера, челобитные выполняли важные социальные функции, что обуславливало их массовое использование и широкое распространение. Это обусловило также необычайную широту

и многообразие содержания документов, отражавших русскую действительность XVII в. с ее хозяйственными и бытовыми подробностями.

Вот почему челобитные являются интереснейшим объектом для языковедческого, особенно лексикологического анализа.

Письменные памятники были и остаются основными и главными источниками изучения истории русского языка. Именно широкое сравнительное изучение разнообразных письменных памятников может привести к выявлению процессов и закономерностей русского языка.

Для изучения истории лексики русского языка XVII в. особенно важно и интересно привлечение в качестве источников деловых памятников, язык которых сыграл важную роль в формировании русского национального языка в его устной и письменной формах. С. С. Волков справедливо отмечает, что изучение языка деловой письменности XVII в. самым непосредственным образом связано с исследованием процессов формирования языка русской нации и его высшей формы — национального литературного языка в начальный период их истории» (стр. 3).

Автор книги исходит из положения о том, что московский приказно-деловой язык в XVII в. был одним из стилей литературного языка, стилем, оказавшим заметное влияние на развитие языка художественной литературы и других разновидностей письменной речи. И это справедливо, ибо, как пишет Ф. П. Филин, «мы со всем основанием можем утверждать, что этот язык (язык деловой литературы. — Ф. С.) был языком литературным, поскольку он был обработан, нормирован (конечно, в меньшей степени, чем современный литературный язык), выполнял важные государственные функции»¹.

Приказно-деловой язык XVII в. обуславливал разнообразные потребности общества. Это неизбежно приводило к появлению различий в содержании и в языке отдельных видов деловых актов. Поэтому целесообразно вести исследование словарного состава деловых документов не в общем плане, а на материале отдельных видов этих памятников. Сведения частных исследований в общую картину мыслится как второй этап.

Около 1200 челобитных, написанных представителями различных социальных групп русского общества XVII в., привлечены для изучения С. С. Волков. Челобитные охватывают всю территорию Московского государства. Значение лингвистического анализа этих документов заключается в том, что он позволяет выделить определенные элементы лексико-фразеологических средств челобитных, которые составляли основу повседневной обиходной речи, определенным образом окрашивали ее.

Широкое отражение в челобитных русской действительности XVII в., богатство бытовых подробностей, представленное в них, обеспечили разнообразие лексического состава этих документов. Так как адресантами челобитных были представители различных социальных групп, выходящие из различных областей (и из центра и с периферии), то челобитные представляют весьма интересные данные для суждения о русском языке XVII в. в целом.

XVII в. в истории русского языка занимает особое место — это время складывания и укрепления экономических и социально-политических предпосылок формирования русской нации и русского национального языка. В это время усиливаются процессы языковой консолидации, формируется и развивается общенациональная обиходно-бытовая речь, укрепляется живая стихия общенародной речи, лежащая в основу будущего национального литературного языка и сыгравшая решающую роль в становлении его норм.

Цели, которые ставит перед собой автор книги, сводятся к описанию структуры (построения) челобитных XVII в. как особой разновидности актовой письменности, выделению и исследованию формуляра челобитных, устойчивых приемов, с помощью которых оформляются челобитные. Далее автор стремится объяснить причины варьирования средств формуляра, выявить источники отдельных формул, входящих в состав формуляра, и рассмотреть стилиобразующие средства челобитных и их связь с традициями высокой книжности, приказно-делового языка и обиходно-разговорной речи.

Весьма важным представляется рассмотрение соотношения в челобитных лексико-фразеологических средств, отличающихся устойчивостью (они повторяются из акта в акт), с переменными, подвижными элементами лексики и фразеологии, соотношение традиционно книжной лексики и лексики и фразеологии территориальных говоров и социальных диалектов.

Вообще надо подчеркнуть, что в исследованиях, связанных с изучением процессов формирования и развития русского национального языка, на первом плане выступают такие задачи, как: выделение элементов общенациональной устно-разговорной речи, характеристика особенностей территориальных и социальных диалектов, изучение их взаимосвязей с разными видами письменной речи (художественная литература, деловая письменность, частная переписка).

Автор рецензируемой книги отчетливо представляет эти задачи и все исследование ведет в этом плане.

С. С. Волков устанавливает, что структура и формуляр челобитных определялись особенностями их содержания, их целевым назначением (челобитные предназначались не только для сообщения определенной информации, но и имели целью воздействие на чувства лица, к которому автор документа обращался: стремление вызвать жалость, сочувствие и т. д.). В структуре челобитных отчетливо выделяются три части: заголовок, основная часть и концовка. Причем официально-деловые и частично-деловые челобитные были едиными по своей структуре.

Функциональная направленность челобитных — убедить адресата в необходимости совершить желаемое для челобитчика, просимое им — приводит к тому, что имя адресата упоминается в документе трижды — сначала в детальном падеже, а затем, дважды, как обращение. Таким образом, в челобитной намечаются три эмоционально-экспрессивных центра; эти центры и создают структурное и смысловое единство и законченность документа в целом. Ср.: *Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всея Руси бьют челом... Милосердый госу-*

¹ Ф. П. Филин и др., Об истоках русского литературного языка, ВД, 1974, 3, стр. 9.

дарь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, пожалуй нас... Царь государь, смилуйся, пожалуй (Алматынки русского права», вып. 2—6. М., 1952—1957, стр. 228—229).

С. С. Волкову удалось хорошо показать, что эмоционально-экспрессивная окрашенность и завершенность, элементы художественности отличают челобитные от всех других актов, характеризующихся документальностью, строгой информативностью. А стандартность структуры челобитных сразу настраивает адресата на восприятие определенного характера информации, облегчает ее восприятие.

С точки зрения лингвистической наибольший интерес представляют челобитные, текст которых отражает «написание по рассказу» — под диктовку челобитчика (в них, как правило, нарушена структура, имеются пропуски, дополнительные данные и т. п.). Это свидетельствует об отсутствии у челобитчиков навыков приказного делопроизводства; в языке таких документов появляется много живых разговорно-обиходных черт русского языка XVII в.

В результате рассмотрения особенностей построения и формуляра челобитных С. С. Волков приходит к ряду интересных выводов. Он отмечает, что в построении и формуляре обнаруживается полное единообразие у всех челобитных, независимо от того, кто их автор. Различия, и значительные, замечаются между официально-деловыми и частно-деловыми челобитными. Они проявляются в употреблении в частно-деловых челобитных выражения *бьет челом и плачется* и специальной формулы *милости у тебя... прошу* в начальном протоколе. По-видимому, замечает автор, в этом можно видеть отражение социальных факторов, так как частно-деловые челобитные исходили главным образом от крестьян.

Формуляр челобитных строился из ряда устойчивых формул (выражений). Сюда входят предложения-формулы с традиционным характером синтаксического строя и в значительной степени традиционной лексикой (с частичным наполнением переменными элементами: титул адресата, его личное имя и т. п.).

Эти формулы-трафареты в зависимости от целей и задач документа могли распространяться дополнениями, мотивирующими, дополняющими просьбу: *пожалуй меня... за службишко, за раны, за кровь* и т. п.

Лексика, входящая в элементы формуляра, относится к активному фонду словарного состава. Архаизмы обнаруживаются лишь в составе общеупотребительных выражений, входящих в некоторые формулы: *бить челом, сирота твой* и т. п. Большая часть лексического состава, входящего в формуляр, нейтральна, ли-

шена эмоционально-экспрессивных оттенков, хотя некоторые формулярные элементы стилистически маркированы (особенно это относится к частно-деловым челобитным): *бьет челом и плачется, ужасосердиться, помиловать, пощадить* и т. п.).

При сравнении челобитных XVII в. с жалобницами-челобитными XVI в. выявляются черты сходства и различия между ними. Обнаруживаются также общие черты, характерные для всех разновидностей деловых документов, и особенности, присущие челобитным как особому виду деловых документов.

Интересны попытки С. С. Волкова установить источники и проследить историю отдельных формул формуляра (*жалоба мне на... что ты... укажешь* и т. п.).

Интересные наблюдения относительно использования этикетных элементов в челобитных содержатся во второй главе работы С. С. Волкова. Автор рассматривает устойчивые словосочетания, которые служили выражением общепринятых понятий и представлений эпохи, анализирует приемы изложения при оформлении деловых документов, вскрывает закономерности использования некоторых лексико-грамматических средств.

При анализе использования таких этикетных средств, как обращение, позитивные приложения со значением почетных титулов или сословных наименований (*великий государь, холоп, сирота* и т. п.), этикетных определений (*твоей государский, царский* и т. п.), автор отмечает возможность их употребления в других видах актов XVII в., выясняет источники их формирования (церковно-книжная письменность, приказно-деловой язык, обиходная речь).

С. С. Волков хорошо показал, что уже в начале XVII в. челобитные как разновидность деловой письменности были вполне сложившимися, с устойчивыми традициями (форма акта, отбор лексико-фразеологических средств) документами.

Тщательное исследование челобитных, написанных на различных территориях Московского государства, не обнаружило наличия каких-либо местных вариантов в их построении и оформлении. Встречающиеся отклонения от устойчивых формул свидетельствуют лишь о том, что писец не полностью овладел правилами составления этих документов или применял устаревшие уже образцы (*государь царь* вместо *царь государь*) и т. п.

Однако утверждение автора об отсутствии различий в построении и формуляре челобитных, написанных на разных территориях, нуждается в проверке. Известно, например, что другие деловые памятники XVII в. такие различия имеют. Так, купчие грамоты Пскова не совпадают полностью в отношении построения и формуляра с московскими купчими,

хотя несомнения эти и незначительны².

Все средства (и обязательные, и временные, факультативные) челобитных определялись основной целью, которую выполняли эти документы, и имели ярко выраженную эмоционально-экспрессивную окраску — были призваны воздействовать на чувства тех, кому была адресована челобитная. Без этих средств челобитная просто не мыслилась.

Лексика и фразеология челобитных XVII в. относится к активному фонду словарного состава русского языка эпохи (сюда относятся не только устойчивые

² См. об этом: В. И. Щеголкина, Лексика «Книг Поганкина» — памятника псковской письменности XVII в. АКД, Самарканд, 1975, стр. 8.

формулы, но и устойчивые словосочетания, составляющие начальный протокол, формулу просьбы и другие элементы формуляра, титул адресата, формула вассальной зависимости, челобитье и т. д.).

Экспрессивность — основное отличие челобитных от других видов деловых документов. В качестве экспрессивных элементов привлекались средства церковной письменности, деловой письменности, лексики и фразеологии обиходно-разговорной речи.

Книга С. С. Волкова — это пока только введение в изучение лексики русских челобитных XVII в., но введенное важное и необходимое для решения многих вопросов истории словарного состава деловых памятников.

Ф. П. Сороколетов

[С. И. Котлов. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. — М., «Наука», 1974. 359 стр.]

Проблемы формирования московского говора как говора центра русского национального государства, как говора, во многом определившего характер устной русской литературной речи эпохи национального развития, — эти проблемы уже давно находятся в центре внимания русистики. Поставленные еще А. А. Шахматовым, они в последующем развитии науки об истории русского языка по существу рассматривались в свете тех их решений, какие были намечены Шахматовым. Сущность шахматовской концепции, повторявшейся и в ряде моментов развивавшейся в работах советских лингвистов, как известно, заключается в том, что московский говор, исторически выделившийся из состава диалекта Ростово-Суздальской Руси, признается в своей основе северновеликорусским, лишь постепенно менявшим свой облик под влиянием южновеликорусского наречия, носители диалектов которого все более и более пополнили население Москвы. В связи с этим московский говор постепенно превращался в средневеликорусский, соединявший в своей структуре северновеликорусские и южновеликорусские особенности. Однако процесс складывания единого московского говора, средневеликорусского по характеру, шел очень медленно: не только в XIV, но и в XV в. «в Москве... одни окали, другие акали» (А. А. Шахматов); в XVI в. аkanie укрепляет свои позиции, а в XVII становится господствующей нормой говора Москвы. Иначе говоря, согласно этой концепции, формирование единого московского койне должно быть отнесено к эпохе XVII в., по крайней мере ко времени царствования Алексея Михайловича.

Надо иметь в виду, что, как это само собой разумеется, вопросы становления единого московского койне, а, в частности, укрепления в Москве аkanie как типичной черты московского говора, решались на основе показаний памятников письменности московского происхождения. С этой точки зрения, равные факты отражения аkanie в московских памятниках, прежде всего в евангелиях, а также в некоторых грамотах, — факты, относящиеся к XIV — XV вв., справедливо рассматривались как свидетельства наличия в Москве акающего населения, но их относительная редкость вызвала сомнения в том, что аkanie в эти периоды времени уже стало нормой московской речи. Вероятно, в определенной степени здесь сказался и авторитет Шахматова, отрицавшего существование московского койне в XV и даже в XVI вв. Во всяком случае, до последнего времени положение о том, что о московском койне, характеризующем единством прежде всего в области фонетики, — также морфологии и являющемся средневеликорусским по характеру, можно говорить лишь применительно к XVII в., было широко представлено как в специальной, так и в учебной литературе.

Издание книги «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (1968) позволило С. И. Котлову не только вернуться вновь к проблеме формирования московского говора и характерных процессов, определяющих это формирование, но и поставить вопрос о пересмотре некоторых общепринятых положений, связанных с решением данной проблемы. Нет сомнений в том, что постановка этого вопроса вполне закономерна, ибо в

руках исследователя оказался такой материал, каким не располагали лингвисты, занимавшиеся ранее историей говора Москвы. Не случайно поэтому С. И. Котков начинает свое исследование «Московская речь в начальный период становления русского национального языка» не только с критического обзора научной литературы, посвященной истории московского говора, но и с подробного описания используемых им источников.

Проблема источников в русской исторической диалектологии, т. е. источников, которые могут дать неоспоримые свидетельства о характерных чертах того или иного говора, той или иной территориальной единицы на определенном этапе истории, как известно, решается не всегда просто и легко. Ведь в этом случае исследователь должен быть уверен, во-первых, в том, что изучаемый им памятник письменности действительно создан в данное время и на данной территории, а во-вторых, в том, что писец, создавший данный памятник, действительно являлся носителем изучаемого говора, а не представителем говора другой территории. Эти доказательства не всегда легко, да и не всегда вообще возможно найти, ибо даже если можно установить, что, скажем, памятник написан в Москве, то вопрос о диалектной принадлежности писцов может оказаться неразрешимым. Учитывая это обстоятельство, С. И. Котков совершенно правильно отводит много места подробной характеристике привлекаемых им письменных источников и личности писцов этих документов. Проведенное им изучение источников с указанной точки зрения со всей очевидностью показало, что они могли быть привлечены для намеченного исследования, ибо действительно были созданы в Москве писцами-москвичами. Надо сказать, что исследования С. И. Котковым московские документы представляют несомненную ценность для решения поставленных задач, связанных с реконструкцией фонетических и морфологических особенностей говора Москвы XVII в., ибо являются памятниками бытового характера, в достаточной степени отражающими живую московскую речь. Различного рода «граммотки», записи, расспросные речи, «сказки» и т. п. — это, как известно, наиболее надежные источники для изучения явлений и процессов фонетического и морфологического характера, определяющих структуру русской разговорной речи прошлых периодов ее истории. Поэтому нет и не может быть серьезных сомнений в том, что данные, извлеченные из исследованных С. И. Котковым памятников, действительно могут считаться достоверными, достаточно полно отражающими московскую речь XVII в. В этом плане важно упомянуть о том, что в приложении к рецензируемой книге

С. И. Котков привел большое количество текстов, подобных исследованным, и читатель может сам убедиться в том, что эти тексты являются надежным источником для изучения истории говора Москвы.

В книге С. И. Коткова выделяются две основные части: в одной, пожалуй, более важной и более цельной, рассматриваются фонетические явления, в другой — морфологические.

В области фонетики основное внимание уделено проблеме аканья и вопросу о судьбе звука, обозначаемого буквой *ѣ*. Проанализировав большой и интересный материал привлеченных памятников, С. И. Котков устанавливает, что московской речи XVII в. в области безударного вокализма после твердых согласных было свойственно аканье, а после мягких — провяношение, близкое к икаью. Следует признать, что материал исследованных автором памятников не вызывает серьезных сомнений в тех выводах, которые сделал С. И. Котков на основе его анализа: характер отклонений от орфографии в области написания букв, обозначающих безударные гласные, вполне определенно доказывает наличие аканья и икаья в говоре писцов этих памятников, а тем самым — и в московской речи.

Вместе с тем С. И. Котков выдвигает принципиально новую идею о формировании московского койне не в XVII в., а в более ранний период. Оспаривая выводы тех исследователей, которые находят факты мена букв *а* и *о* в памятниках XIV — XV вв., стремились интерпретировать их как фонетически недостоверные и лишь в редких случаях принимали их за отражение аканья, С. И. Котков пишет: «... есть основание думать, что в XIV — XV вв. аканье в московском говоре имело гораздо большее распространение, нежели то, какое рисуют московские евангелия, да в известной степени и граммоты московских князей» (стр. 54). Здесь, в этом положении, нет еще принципиального расхождения С. И. Коткова с предшествующими исследователями, ибо наличие аканья в Москве XIV — XV вв. никем не отрицалось, а вопрос о большем или меньшем его распространении не поддается решению по данным письменности, и эта проблема остается открытой. Принципиальное расхождение выявляется тогда, когда С. И. Котков подготавливает свои наблюдения над явлениями безударного вокализма: «в XVII в. постоянный состав московского населения обладал вполне однородным безударным вокализмом, знаменующим существование в Москве в то время сложившегося койне, притом настолько стабильного, что предположение о его формировании в XVI столетии, а не гораздо ранее, представляется совершенно несостоятельным»

(стр. 100). Итак, не в XVII и даже не в XVI, а по крайней мере уже в XV в., по мнению С. И. Коткова, в Москве сформировалось койне, общая единая разговорная московская речь с акающим вокализмом. С нашей точки зрения, это положение автора является дискуссионным.

Во-первых, даже если признать, что все случаи мены букв *а* и *о* в безударных слогах в памятниках XIV — XV вв. имеют под собой фонетическую основу — неравличие в произношении соответствующих гласных (что, вообще говоря, с точки зрения строгой методики интерпретации фактов письменности едва ли может быть принято), — то и тогда таких случаев окажется слишком мало для признания не только «нормативности» аканья в Москве XV в., но и его «гораздо большего» распространения. Во-вторых, для утверждения, что аканье было чертой московского койне в XV — XVI вв., необходимо иметь не просто достаточное количество фактов, зафиксированных в памятниках и лингвистически достоверных, но необходимо иметь памятники *разных жанров*, принадлежащие писцам, речь которых отражала бы говор разных *социальных слоев* Москвы. Однако и этого условия у историков русского языка нет. И поэтому вопрос о том, когда и как сформировалось московское койне, с какого периода времени об этом можно с достаточной долей вероятности говорить, остается по-прежнему неясным. Убедительность критики взглядов предшествующих исследователей этой проблемы, которая представлена в книге С. И. Коткова к сожалению, сама по себе еще не может быть доказательством правильности новой гипотезы, ибо эта последняя нуждается в серьезной поддержке фактами.

Точно так же, как явления безударного вокализма, автор подробно и скрупулезно анализирует характер гласного, обозначаемого буквой *ѣ*, как это можно установить по данным изучаемых памятников. Причем и этот вопрос рассматривается на фоне критического разбора предшествующих исследований, посвященных данной проблеме. Привлеченные С. И. Котковым московские памятники представляют вновь значительный и интересный материал по истории [ѣ]. Сгруппировав этот материал и тщательно его проанализировав, автор приходит к заключению, что в XVII в. фонема [ѣ] в московском койне «выступала в виде гласного несколько более суженного, нежели гласный *э*», только в позиции под ударением и что эта фонема не была дифтонгической; в безударных же слогах «произношение *ѣ* совпадало с произношением *э*» (стр. 157). С этой точки зрения, совершенно справедливо С. И. Котков ставит в связь изменение безударного [ѣ] > [е] с общей редукцией безударных

гласных в московском говоре, т. е. с акающим характером этого говора, что сближает его в широком плане с южновеликорусскими диалектами.

Таким образом, С. И. Котков предполагает различие в судьбе [ѣ] в московском говоре в зависимости от его ударности или безударности: под ударением это был особый звук, отличный от [е], а без ударения он испытывал те же изменения, что и другие гласные верхнего подъема (правда, в рецензируемой книге нет достаточно четких указаний, позволявших бы установить, произносился ли на месте безударного [ѣ] звук [е] или [ѣ] и [е] равно переживали изменения в сторону *яканья*). С этими выводами автора можно согласиться, однако вместе с тем вызывает сомнение его утверждение, что сохранение [ѣ] как особого звука в конце XVII в. допускает возможность предположить его сохранение и в XVIII столетии (стр. 160). Ссылаясь на известные положения Ломоносова и Сумарокова о различении [ѣ] и [е] и привлекая дополнительно авторитет А. А. Барсова, С. И. Котков считает возможным трактовать их слова как свидетельства действительно различного произношения этих двух гласных в Москве XVIII в. Однако, как известно, и Ломоносов, и Барсов явно различали «просторечие», т. е. живую речь Москвы, и требования литературной нормы произношения; ср. у Ломоносова: «... буквы *е* и *ѣ* в просторечии едва имеют чувствительную разность, которую в чтеии и весьма явственно слух разделяет и требует в *е* дебелисти, в *ѣ* тонкости» («Российская грамматика», § 104; разрядка наша. — В. Н.). Барсов же писал о *е* и *ѣ* в грамматике для московских гимназий, т. е. в языке, по которой учатся правильно и в театру и в ому произношению, и специальное разъяснение разницы в произношении *ѣ* и *е* могло оказаться необходимым только потому, что обучающиеся не слышали, а следовательно, и не произносили эти два звука различно. Московская речь XVIII в., по всей вероятности (во всяком случае, это более вероятно, чем предположение С. И. Коткова), уже не знала различия между [ѣ] и [е]: под ударением здесь произносился один гласный, а без ударения оба они переживали одинаковые изменения.

Рассмотрение явлений в области морфологии С. И. Котков предваряет весьма существенными общими положениями, определяющими все его дальнейшее изложение. Первое из этих положений заключается в том, что, по словам С. И. Коткова, «утвердившееся в науке мнение, что фонетика и морфология русского языка к XV — XVI вв. в общем уже сложились и потому в более позднее время каких-либо существенных изменений в развитии его и звукового и грамматиче-

ского строя уже не происходило» (стр. (стр. 137), — это мнение не может считаться достаточно доказанным. Однако сразу же надо сказать, что историки фонетической и морфологической систем русского языка никогда не говорили о том, что эти системы не развивались в периоды после XV — XVI вв. Речь всегда шла о том, что к XV — XVI вв. фонетика и морфология русского языка уже завершили свое становление во всех их основных, принципиальных сторонах, что после этого периода происходило и происходит развертывание и совершенствование систем и заложенных в них тенденций, но что в поздние периоды фонетика и морфология русского языка не переживали таких «катаклизмов», какие они знали раньше (ср. хотя бы падение редуцированных в фонетике и историю видо-временной системы в глаголе).

Второе общее положение С. И. Коткова, пожалуй, более справедливо; оно заключается в том, что необходимо различать историю московского говора и историю формирования устной литературной речи, ибо московский говор явился основой устной литературной речи... не как неделимое целое, не во всем своем составе, а в своих основных элементах и свойствах» (стр. 188). Это с одной стороны. С другой же — важно и то, что отношения говора Москвы к говорам Подмосковья, которые часто представляются как отношения одностороннего влияния со стороны Москвы, в действительности были отношениями взаимодействия, хотя и далеко не равноправного» (стр. 188).

С точки зрения этих двух исходных положений С. И. Котков рассматривает ряд морфологических явлений, нашедших свое отражение в изучаемых им памятниках московской письменности. Наибольшее внимание при этом уделено некоторым надежным формам существительных (род.-вин.падеж одушевленных существительных, род.-предл. падеж на -у, род., дат. и твор. падежи мн. числа),

а также в меньшей степени категории рода, инфинитиву, категории вида и времени, деетричастиям и некоему др. Уже само перечисление рассматриваемых явлений свидетельствует о резкой «набирательности» фактов, о том, что анализируются лишь определенные явления в области морфологии, те явления, которые могут показать отличия московского говора XVII в. как от современной устной литературной речи, так и от соседних говоров той же прошлой эпохи. С. И. Котков обнаруживает много интересных фактов, дающих ему возможность установить своеобразие московского говора XVII в. как самостоятельной языковой единицы в сравнении с южновеликорусскими говорами и говорами Подмосковья. Здесь высказан ряд важных положений, уточняющих наши представления об истории отдельных морфологических форм, об их состоянии в языке Москвы изучаемого периода, о соотношении этих форм с соответствующими формами в иных русских говорах; и здесь же, как и вообще во всей книге, изложение ведется в открытой или скрытой полемике с ранее высказанными взглядами.

Книга в целом написана ясно и просто, формулировки автора точны и определены, однако в то же время в книге есть и ненужные повторения (например, два раза излагается мнение Л. Л. Васильева о большей степени мягкости согласных перед *ь*, чем перед *е*), и ненужные отклонения от изложения (например, едва ли в памятниках Москвы XVII в. следовало искать отражение чоканья и чоканья), и просто неточности в интерпретации фактов. Однако все эти недоработки не влияют на общее хорошее впечатление от книги С. И. Коткова, являющейся несомненным вкладом в науку об истории русского языка, в решение очень большого и сложного вопроса о формировании и развитии московского говора.

В. В. Иванов

Г. А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка. — М., «Наука», 1973. 351 стр.

Вышедшая в свет накануне 1974 г. рецензируемая книга Г. А. Золотовой уже приобрела известность среди русистов и справедливо расценивается как одна из значительных работ по синтаксису русского языка, появившихся в последнее время¹. Эта книга, разрабатывающая функциональный подход

к изучению языковых фактов, представляет двойной интерес — как в плане обсуждения конкретных проблем теории русской грамматики, так и в общелингвистическом отношении. В последние годы лингвисты много и охотно говорят о функциональном подходе к изучению языка, почти так же охотно, как лет пятнадцать тому назад писали о структурном анализе языка. И так же как это было в свое время с термином «структура», в понятие «функция» вкладывается разнообразное лингвистическое

¹ См., например: П. А д а м с е ц, [реп. на кн.:] Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса..., «Československá rusistika», 1975, 1.

содержание. Книга Г. А. Золотовой дает широкую основу для обсуждения вопросов функционального синтаксиса и функциональной грамматики в целом.

Через всю историю языкознания проходит борьба между «реализмом» и «формализмом», причем особенно острые споры разгорались вокруг проблем синтаксиса: основной вопрос заключался здесь в том, отражают ли категории синтаксиса явления объективной действительности или же они представляют собой лишь формы организации предложения. Традиционная теория членов предложения, глубоко разрабатывавшаяся в отечественном языкознании, была в своей основе менталистской: она стремилась дать синтаксическим категориям семантическое обоснование. Однако, как это убедительно показано в рецензируемой книге, исследования, проведенные в последнее время в области русского синтаксиса, показали ограниченность установок традиционной теории членов предложения, такие же как и теории словосочетаний, недостаточность их объяснительной силы, в связи с чем многие активные явления русского синтаксиса либо получали неточное истолкование, либо выводились за пределы поля зрения исследователей. В качестве альтернативы теории членов предложения за рубежом был выдвинут, как известно, анализ по непосредственно составляющим, который, однако, дает схематизированное и неполное представление о синтаксическом строе языка, так как игнорирует содержательную сторону языковых элементов.

В отличие от этих теоретических подходов к синтаксису, показавших свою недостаточность, Г. А. Золотова наметает иной путь: основываясь на идеях ряда русских и зарубежных лингвистов (В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, А. Мартинес, В. Матезиус и другие лингвисты пражской школы), прикладывая во внимание работы советских ученых в области семантического синтаксиса, она в своей книге разрабатывает функциональный синтаксис, ориентированный на исследование формы и значения в синтаксисе в их диалектическом единстве.

В I главе «Введение» автор раскрывает основные понятия своей теории. Синтаксис определяется как «раздел грамматики, ведающий построением речи» (стр. 6). Это определение показывает, что автор не сводит задачи синтаксиса к одному лишь изучению формальных структур предложения, но видит эти задачи в анализе соотношения этих структур с процессом мышления, а через мышление — с отражаемой в высказываниях действительностью. Приходя к концепции функции, разрабатываемой пражской лингвистической школой, Г. А. Золотова вместе с тем справедливо различает синтаксические (строевые) и семантические

аспекты в употреблении форм. Строительная, комбинаторная роль данной формы и ее семантический субстрат образуют, по мнению автора, функцию и значение формы. Таким образом формируется треугольник: форма — функция — значение, причем функция отделяется от значения синтаксической формы. Автор выделяет три основных функции синтаксических единиц: единицы функционируют как самостоятельные высказывания (I функция), как конструктивные компоненты высказываний (II функция) и как зависимый компонент конструктивного компонента (III функция). Положительной стороной является то, что эти функции логически исчисляются: автор доказывает, что таких общих функций можно выявить только три (стр. 12—13). Эти функции универсальны: в них могут выступать и отдельные слова, и словосочетания, и целые предложения. Что касается конкретных функций слов в предложении, то они зависят как от синтаксической формы слова, так и от принадлежности слова к определенному лексическому классу.

В качестве исходной, базовой единицы синтаксиса выдвигается синтаксическая форма слова — первичная докомбинативная частица предложения, отличающаяся большой гибкостью не только в плане содержания (она может выполнять все три указанные выше функции), но и в плане выражения (она может представлять собой как отдельное слово, так и сочетание знаменательного слова со служебным). Синтаксическая форма слова выражается совокупностью двух компонентов: категориальной семантики слова (например, предметность или процессность у существительного) и словозначительных средств, к которым, помимо морфологических форм, автор относит — на наш взгляд не вполне обоснованно — и служебные слова, например, предлоги (стр. 23). Таким образом, синтаксическая форма слова менее всеобща, чем его морфологическая форма, ибо предопределяется также и его семантической стороной. Введение нового синтаксического понятия оказывается плодотворным: оно позволяет найти единое истолкование для многих явлений синтаксиса, которые не покрывались понятием члена предложения или компонента словосочетания.

В предложении синтаксическая форма слова приобретает статус структурно-смыслового компонента предложения, роль которого обуславливается его взаимосвязанностью с другими компонентами предложения. Минимальное сочетание синтаксических форм слова образует предикативную основу или модель предложения. В семантическом плане сопряжение структурно-смысловых компонентов образует типовое значение предложения, которое представляет собой обоб-

щепное значение множества предложенных как данной модели, так и моделей, сопоставимых с данной. Например, типовое значение «предмет и его качество» выражается рядом моделей: *Сотрудник усерден, Сотрудник отличается усердием, Сотрудника отличает усердие* и т. п. Таким образом, понятие модели отражает семантико-грамматическую структуру предложения, понятие типового значения — семантическую структуру предложения. Это побуждает автора еще раз подчеркнуть основное положение современных исследований в области семантического синтаксиса: формы в синтаксисе не противостоят семантике, но семантичны по своей онтологической сущности (стр. 26).

В последующих главах книги (II—IV) рассматриваются синтаксические формы слова как первичные единицы синтаксиса и предложение в языке и в речи.

Глава II содержит всесторонний анализ синтаксических форм слова. Наиболее подробно изучены формы существительного, что обосновывается тем, что эта часть речи наиболее полифункциональна и различие морфологической и синтаксической формы слова у нее наиболее очевидно. Синтаксические формы слов прослеживаются в их отношении к семантике слов, в связи с чем различаются категории слов в зависимости от их семантической наполненности и заданности восполняющей грамматической формы (абсолютивные и релятивизованные слова). В плане номинации различаются основные модели, выступающие как прямой способ выражения данного значения, и вариабельные, реализующие косвенный способ обозначения, при котором соответствие языковых категорий и категорий реальности оказывается нарушенным. Основная модель — минимальный способ выражения данного значения (например, *Наш учитель добр* — признак выражается прямым средством — прилагательным), вариабельные — характеризуются избыточностью или использованием косвенных средств выражения (*Наш учитель добрый человек, слово человек — избыточно; Наш учитель отличается добротой*, признак выражен транспонированным средством — существительным, а не прилагательным). По отношению к словосочетанию различаются свободные синтаксические формы (они выступают во всех трех основных функциях, могут формировать и предложение), обусловленные (выполняют II или III функции) и связанные (обнаруживаются только в III функции, как компонент словосочетания). Интересно наблюдение автора, что в связанных формах предлог максимально формализован (*скупать по дождю*), тогда как в свободных он сохраняет свое значение (*находиться в дожде*). И здесь обнаруживается взаимозависимость семантики и связующей функции языкового элемента (предлога). Различные типы

синтаксических связей получают разное развитие в истории языка. При смене норм выявляется тяготение к семантически мотивированным связям, проявляется тенденция к семантизации синтаксических отношений, что косвенным образом подтверждает наличие семантического субстрата у синтаксических форм (стр. 114 и сл.). Об этом же свидетельствует и замена флексий и «пустых» предлогов более сложными, но значимыми средствами синтаксической связи. В этой же главе рассматривается синонимия и омошлия синтаксических форм имени, что имеет большое значение, так как синтаксические формы различаются не только по формальным признакам (падеж, предлог), но и по семантическим категориям слова. Так, сочетание одного и того же предлога со словом в том же падеже образует три разных синтаксических формы у конкретных, неисчисляемых и абстрактных существительных: *из сада, из железа, из страха*.

В главе III, посвященной предложению в языке, исследуется парадигма моделей предложения, его синтаксическое поле и взаимоотношение моделей предложения. В модели предложения Г. А. Золотова выделяет постоянные признаки (односоставность — двусоставность, глагольность) и переменные (модальность, время, лицо). В связи с этим предложение типа *Было темно* трактуется не как двусоставный коррелят к односоставному *Темно* (сохраняется бессубъектность высказывания), но как временная модификация односоставного предложения. Модели образуют ряды, находящиеся в регулярной связи и характеризующиеся общими значениями: *Пенье птиц — Птицы поют; Вьюга — Вьюжно — Вьюжит*. Предикативная ось предложения формируется значениями модальности, времени, лица (переменными признаками предложения), каждое из которых исследуется в отдельном параграфе главы. В каждом из этих параграфов автор высказывает новые точки зрения, иногда не бесспорные, иногда нуждающиеся в развитии, но всегда интересные, наталкивающие на дальнейшие разыскания. Так, в сфере модальности автор различает три аспекта: а) отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего (основная форма выражения — глагольное наклонение); б) отношение говорящего к содержанию высказывания (выражается вводными словами); в) отношение между субъектом и предикативным признаком (выражается модальными глаголами), показывает синонимические средства выражения этих значений. Представляет несомненный интерес выявление взаимозависимости отмеченных средств разных аспектов модальности, например, использование модальных глаголов для выражения второго аспекта и др. Различные аспекты значения выявляются и в кате-

горни лица, но в данной работе она трактуется прежде всего синтаксически. Подлежащее при этом выступает лишь как одна из форм в функциональном ряду обозначений лица субъекта (стр. 161). Ср.: *Я простужен; У меня простуда; Мне весело; Его лихорадит; С ним обморок*. Основное противопоставление в этом случае проходит по линии наличия — отсутствия субъекта, причем, как отмечает автор, предложение с выраженным субъектом может быть морфологически и личным, и безличным. Предложения с опущенным, но восстанавливаемым субъектом должны относиться к личным: *Скучно. Неадекватно*.

Проанализировав состав модели предложения, автор переходит к анализу синтаксических дериваций и парадигматических отношений между предложениями. Различаются модификации трех типов: грамматические (по времени, модальности, лицу), структурно-семантические (изменения фазисных, вопросительного, отрицательного и некоторых других значений); синтаксические синонимы. В первых двух случаях сохраняется тождество модели и ее типовое значение. Синтаксические синонимы предложения связаны общностью типового значения, но расходятся по структуре своих моделей, например: *Он весел — Ему весело*. Совокупность всех модификаций составляет синтаксическое поле предложения. Наибольший интерес представляют здесь наблюдения автора в области выражения фазисных значений (*Он запел — Он поет — Он кончил петь; Он вышел в отставку — Он в отставке*), а также в модификации выделений (*Миллер skoшен — Клеер оказывается skoшен*). В разделе о синонимии Г. А. Золотова исходит из различия прямых и косвенных способов выражения типовых значений. Хотя приводимые списки моделей, распределяемых по типовым значениям, далеко не полны, они дают достаточное представление о дальнейшем направлении исследований, которые окажутся весьма плодотворными и в теоретическом, и в практическом отношении (стр. 299—321). В интересном разделе «Взаимодействие моделей» рассматривается процесс осложнения первичных моделей. Автор останавливается на трех явлениях: а) включение моделей (*Он пришел уставый*); б) авторизация — выражение субъекта восприятия, источника сообщения (*За забором клен — Я вижу за забором клен*); в) каузация (*Он устал в город — Его отправили в город*). Особенно подробно исследованы два последних процесса: выявляются различные типы авторизации и каузации.

В заключение главы наглядно сопоставляются традиционное понятие «членов предложения» и вводимое автором понятие «структурно-смысловые члены предложения». Большой интерес пред-

ставляют наблюдения над историческими изменениями в структуре предложения, в частности, на тенденции русского языка к формированию продуктивных типов предложений с несогласуемыми, но взаимно обусловленными структурно-смысловыми центрами (стр. 321), например: *С ремонтом благополучно; Сила — в сплоченности* и т. п. Та же модель особенно продуктивна при выражении состояния или наличия субъекта: *С нервами не в порядке* вместо *Нервы не в порядке; Со здоровьем неважно — Здоровье неважно*. Подобные факты показывают, что в современном русском языке имеется тенденция к формальному разграничению субъекта действия (им. пад. — *Дети играют*) и субъекта состояния-признака (косв. пад. — *У детей scarлатина*), причем предвзятый признак выражается той же формой, что и субъект действия (им. пад.). Подобного рода явления типологически сопоставимы с аргативной конструирующей предложением (различные выражения активного и неактивного субъекта).

Небольшая глава IV посвящена предложению в речевом аспекте, причем основное внимание уделяется актуальному членению предложения.

В целом исследование Г. А. Золотовой убедительно подтверждает, что в своей основе синтаксис семантичен, что синтаксические категории — типы связей, типы предложений — являются не просто средством сочетания лексических номинаций в высказывании, как это полагал, например, даже В. Матезиус, но языковым способом отражения действительности. Эта книга, в которой учтены труды многих советских и зарубежных ученых, наглядно показывает, какого уровня достигла в области синтаксиса советская русистика, которая по разработке многих проблем находится на переднем крае в мировом языкознании.

Несомненно, русисты не раз обратятся к книге Г. А. Золотовой, полемизируя с одними положениями, развивая другие. Книга интересна не только в теоретическом плане: приведенный в ней богатый фактический материал, после соответствующего расширения и упорядочения, может дать хорошую базу для преподавания русского языка на продвинутом этапе, когда от семасиологического анализа языковых форм переходят к их обобщению в ономаσιологическом плане.

Разумеется, в книге есть и спорные, и недостаточно разъясненные моменты. Остановимся на некоторых из них.

Первым из таких вопросов, на обсуждение которых наталкивает книга Г. А. Золотовой, является вопрос о том, что следует понимать под функцией в синтаксисе. В теоретическом введении к исследованию автор, как мы отмечали выше, разграничивает функцию и значение у синтаксических форм (стр. 8), подразумевая под функцией прежде все-

го строгие свойства этих единиц. Однако при анализе материала «функция» трактуется нередко как «значение» данных синтаксических единиц (при описании категорий времени, лица и др.; например, функцией предложно-падежной формы оказывается обозначение реального субъекта состояния, ср. стр. 161 и др.). Это расхождение между определением и реальным «функционализированием» понятия в книге объясняется, как нам кажется, характером определения, а не использованием понятия. Действительно, понятие «функция» в современной лингвистике относится к широко употребляемым, но по-разному определяемым понятиям. В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой отмечается три понимания этого термина. Во французском лингвистическом справочнике, каковым под руководством А. Мартине, выделяется четыре основных понимания «функции», и, кроме этого, несколько частных, специально в сфере грамматики, проследи в др.² Понятие функции прилагается к языку в целом (роль языка в человеческой жизни; в этом аспекте различается, например, коммуникативная и экспрессивная функция языка), к языковой подсистеме (сферы употребления языка, в связи с чем различаются функциональные стили) или к отдельным элементам языковой системы. В последнем случае функция языкового элемента совпадает с его целевым назначением при употреблении в речи. При всех различиях в частности можно отметить два основных понимания функции отдельного языкового элемента в области синтаксиса: структурное и содержательное. В первом случае в функции усматривается преимущественно строевая роль данного элемента в высказывании. Функциональное отождествляется при этом с грамматическим, точнее с позиционно-синтаксическим, в противоположность лексическому. В крайней форме эта точка зрения была высказана, как известно, Л. Блуифилдом, который служебные слова называл функциональными словами. С другой стороны, функции отождествляются со значением языкового элемента. Э. Х. Стеревант отмечал, что невозможно провести резкую грань между функциональным и лексическим значением³. При обеих точках зрения функция понимается как отношение, с той разницей, что в первом случае исходят из синтаксического отношения между элементами высказывания, во втором — из парадигматических отношений, связывающих означаемые и

означаемые. В философии функция определяется как способ поведения, присущий какому-либо объекту и способствующий сохранению существования этого объекта или той системы, в которую он входит⁴. И строгое назначение и содержательная сторона языкового элемента удовлетворяют этому определению: в них проявляется способ поведения данного элемента, т. е. закономерности его употребления в рамках общих законов данного языка, при условии сохранения сущности данного элемента и всей системы (если функция — способ поведения — данного элемента изменяется, то изменяется и специфика этого элемента, и отношения внутри системы). Таким образом, как структурная роль, так и значение (роль в номинации) относятся к числу функций языкового элемента. Поэтому для синтаксической формы вместо разграничения категории «функция — значение» было бы более точно исходить из противопоставления: строевая функция — семантическая функция. Тогда бы не было отмеченных выше «скользких» в использовании термина «функция» в рецензируемой книге: речь шла бы о разных функциях синтаксической формы.

В отношении любой лингвистической единицы, в том числе для предлагаемой Г. А. Золотовой синтаксической формы слова, возникает проблема границ. Она, однако, недостаточно освещена в рецензируемой книге, в связи с чем при конкретном анализе возникает ряд вопросов. Остается неясным, как отличить синтаксическую форму слова, состоящую из знаменательного и служебного слов, от аналитической морфологической формы, от соединения двух знаменательных слов. Входит ли в синтаксическую форму существительное, выполняющее роль предлога (*по направлению к городу, по причине болезни*)? Как изменяется синтаксическая форма при транспозиции: если *начать работать* — форма глагола с фазисным значением, то является ли единой синтаксической формой *начало работы*? Образует ли единую синтаксическую форму сочетание прилагательного и существительного, выражающее признак: *озеро, богатое рыбой* (= с рыбой, рыбное), *полный печали* (= печальный) и т. п. Рассмотрение подобных и многих других вопросов способствовало бы уточнению понимания синтаксической формы слова. Дальнейшее исследование и обсуждение широкого круга проблем, поставленных в рецензируемой книге Г. А. Золотовой, может оказаться весьма плодотворным для развития общей науки о синтаксисе.

В. Г. Гак

² «La linguistique. Guide alphabétique sous la direction de A. Martinet», Paris, 1969.

³ См.: Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, М., 1964, стр. 251.

⁴ См.: Е. Никитин, Функция, «Философская энциклопедия», 5, М., 1970, стр. 418.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

22—25 октября 1974 г. в Институте русского языка АН СССР состоялось четвертое заседание Международной комиссии по славянским литературным языкам. Оно было посвящено теме «Проблемы нормы славянских литературных языков в свете синхронии и диахронии». В заседании участвовали члены комиссии, слависты Советского Союза и ряда славянских стран, сотрудники Института русского языка АН СССР и других московских институтов. На заседании было прослушано 15 докладов и 37 выступлений в дискуссии.

Заседание комиссии открыл А. Едличка, председатель Международной комиссии по славянским литературным языкам, который указал на важность поставленной на заседании проблематики в связи с основной научно-исследовательской задачей комиссии. От имени организаторов участников заседания приветствовал чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин.

Первый тематический круг обсуждаемых вопросов касался общей теории нормы. Ф. П. Филин в докладе «О языковой норме» предложил исследовать языковую норму, учитывая проблематику возникновения и развития литературного языка. Докладчик различает широкое и узкое понятие нормы. Первое создается различительными признаками, ограничивающими один язык от другого, второе — теми, которые соотносятся в пределах одного языка. Основные идеи доклада были развиты на материале спорных вопросов развития русского литературного языка.

Доклад А. Едлички «Проблематика литературной нормы и кодификации в отношении к типу литературного языка» касался преимущественно синхронного и диахронического освещения отношения нормы и кодификации с точки зрения складывания нормы, диапазона ее действия, ее развития и характера (устойчивость, осознанность), а также отношения нормы и типа литературного языка. В отличие от структурной типологии,

тип литературного языка определяется в докладе на основе упорядоченного набора функциональных признаков. Такой подход позволяет установить типы отношений литературных языков и различий характер их норм.

Э. Паулини в своем докладе «Кодификация литературного языка и использование нелитературных элементов» остановился на причинах, которые и при собственно синхронном исследовании позволяют понять, каким образом устаревшие и нелитературные языковые элементы соотносятся с нормой — либо как ее варианты, либо как средства естественной стилистической дифференциации. В докладе был также поставлен вопрос о том, как такие элементы соотносятся с процессом кодификации.

Вл. Барнет в докладе «Языковая норма и социальная коммуникация» сосредоточил внимание на отношении языковой нормы к другим социальным нормам, используемым в социальном объединении членов данного общества. Их сумма представляет собою систему норм. Исходя из этого положения, докладчик рассматривает понятие стандарта. В соответствии с разными его социальными функционированием он выделяет разные типы стандарта и показывает их определяющее влияние на характер языковой нормы.

Из-за отсутствия докладчиков не были сообщены доклады Р. Отти «Норма и уаус в славянских письменных языках старшей поры» и акад. Б. Гавриана «Норма книжно-письменного и разговорного языка». К этому же кругу проблем относились вопросы, затронутые в докладе Д. Бровонича «Об общих и специфических аспектах узальной и кодифицированной языковой нормы в славянском мире», представленном в письменном виде. В дискуссии выступили Ф. П. Филин, Г. Хюттль-Ворт, Е. А. Земская, Е. И. Демина.

Другой цикл докладов касался проблематики нормы в отдельных современных славянских языках и на разных этапах их развития. Как и доклады первого

цикла, эти доклады также касались общих теоретических вопросов нормы. Значительное внимание было уделено вопросам вариативности.

Д. Буттнер в докладе «Морфологические варианты в норме польского языка XX в.» изложила хорошо обоснованную классификацию складывающихся вариантов (рецессивные, факультативные и экспансивные) и рассмотрела их с точки зрения их употребления в отдельные периоды развития современного польского литературного языка, а также показала различные способы их функционирования и пути дальнейшего развития.

Г. Курковска в докладе «Польский язык и изменения в жизни польского общества в послевоенные годы» рассмотрела основные процессы интеграции и дезинтеграции в польском литературном языке послевоенного времени с учетом как языковых, так и социально-демографических факторов. Она обратила внимание также на неодинаковую роль в стабилизации послевоенной литературной нормы отдельных функциональных стилей и разного рода работ кодификаторского характера.

Х. Фаска в докладе «Норма сербодужицкого (литературного) языка и ее кодификация» подробно проанализировал понятия дескриптивной, прескриптивной, реальной и кодифицированной нормы. Сравнение двух дужицких языков с другими славянскими языками показывает, что нормы дужицких языков гораздо более дескриптивны, а сравнение двух дужицких языков между собой показывает, что норма нижнедужицкого более дескриптивна, а норма верхнедужицкого более прескриптивна.

Л. Андрейчин в докладе «Проблемы стабилизации нормы в современном литературном болгарском языке» рассказал о характере нормы литературного болгарского языка. В складывании нормы болгарского литературного языка нового времени принимали участие явления центрально-восточных говоров, традиция староболгарской письменности, дамаскинов, самостоятельные процессы развития, а в последнее время и влияние языка Софии. Это дает основание докладчику утверждать, что современная болгарская норма носит наддиалектный характер не только с функциональной точки зрения, но и с структурной.

А. Младенович в докладе «Языковая кодификация и литературный сербский язык во второй половине XVIII и начале XIX вв.» подробно проанализировал на материале характер нормы так называемого славяно-сербского языка, на котором создавались и публиковались книги светского содержания. Тип языка, который соединял в себе элементы так называемого русско-славянского и народного языка, создал ситуацию взаимопроизношения двух норм; на этой ос-

нове и сложилась норма славяно-сербского типа языка. Из-за отсутствия докладчика не состоялся доклад Ст. Урбачича «Польский язык между изысканностью и обыденностью».

В дискуссии по этим докладам выступили А. Едличка, Е. И. Демина, Вл. Барнет, Б. Дабич, Э. Пауливи и В. А. Ицкович.

Доклады, прослушанные в третий день заседания, были посвящены специфическим проблемам нормы отдельных славянских языков. А. И. Журавский в докладе «Истоки вариативных грамматических норм в белорусском литературном языке» основное внимание уделил конкретным условиям конкуренции вариантов западного и восточного диалектного происхождения и процессу их объединения в послевоенное время. Эта ситуация побудила докладчика различать общеполитские факультативные варианты и варианты, мотивированные диалектно.

К. С. Горбачевич в докладе «Литературно-традиционные нормы и речевой стандарт в современном русском языке» указал на двойной характер литературной нормы: с одной стороны, она ориентирована на прошлое, с другой — она защитник регулярных новообразований и неразрывно связана с современной речевой практикой. Активное влияние вкуса на характер современной нормы докладчик показал на примере явления разных языковых уровней и разной степени стандартизации отдельных участков нормы.

Н. Н. Плискин в докладе «Актуальные вопросы нормы современного украинского языка» обратил внимание на стабилизирующие процессы литературной украинской нормы, рассмотренные с точки зрения установления соотношения между литературным языком и отдельными диалектами, которое вело к постепенному устранению вариативности. Докладчик показал также, как развитие художественной литературы во второй половине XIX в. привело к углублению стилистической дифференциации литературной нормы.

А. И. Горшков в докладе «О соотношениях понятий „литературный язык“ и „норма“» говорил о двустороннем характере нормы, управляемой, с одной стороны, узусом, а с другой — системой, и показал на примере русского литературного языка второй половины XVIII в. изменчивость характера нормы на разных этапах развития литературного языка. В докладе было указано также на необходимость при реконструкции старого состояния нормы исследовать, в какой мере кодификаторские установления и рекомендации соответствовали действительному объективному развитию литературного языка.

Специальным вопросам нормы в древнейшие эпохи был посвящен доклад

Г. Холтль-Ворт «К проблематике норм языка древнерусских летописей». Исходя из наличия разных представлений о характере языка древнерусских летописей, докладчица показала, что правомерность этих представлений тесно связана с тем, какой уровень языка и нормы анализируется и в какой мере учитывается специфика жанра.

В дискуссии с рядом дополнений и предложений выступили Ф. П. Флиш, Ю. С. Сорокин, А. Едличка, Г. Курковская, С. И. Котков, Н. Т. Михайловская и Вл. Барнет.

В организационной части заседания А. Едличка сделал подробный отчет о деятельности комиссии за период после третьего заседания в 1974 г. в Праге. Материалы пражского заседания будут изданы специальными сборником, который выйдет в свет в середине 1975 г. А. Едличка рассказал о возможностях проведения пятого заседания комиссии в Крakovе и представил проект дальнейшей работы комиссии. Оценивая научное значение московского заседания, А. Едличка подчеркнул его вклад в разработку вопросов теории языковой нормы.

Было сделано много предложений, направленных на активизацию работы комиссии в период между заседаниями. В частности, было решено провести две анкеты — по общим вопросам теории литературного языка и по вопросам вариантности нормы в области склонения существительного в современных славянских литературных языках. Тема следующего заседания комиссии в 1975 г. — «Проблемы вариантности нормы».

Вл. Барнет, А. Едличка (Прага)
Перевела с чешского О. А. Лаптева

10—12 февраля 1975 г. в Ленинграде проходила III конференция по ареальным исследованиям в языковедении и этнографии. Тема конференции: «Методика лингво- и этногеографических исследований. Маргинальные и центральные ареалы». На конференции присутствовало около 300 человек, представители научных учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева, Риги, Вильнюса, Махачкалы, Львова, Ужгорода и других городов. На пленарных заседаниях конференции и в секциях было прослушано около ста докладов и сообщений по объявленной тематике.

Работали секции: 1) Славянские и прибалтийские языки и народы; 2) Романские языки; 3) Индоевропейское языковедение. Германские, иранские, кавказские и финно-угорские языки; 4) Тюркское языковедение. Языки и народы Сибири. Кроме того, состоялось три пле-

нарных заседания. Утреннее и вечернее пленарные заседания первого дня были посвящены памяти акад. В. М. Жармунского. Во вступительном слове акад. А. Н. Ковонов (Ленинград) охарактеризовал основные направления, по которым ведутся исследования ареалов в лингвистике и этнографии, и отметил важное методологическое значение проблем, поставленных на обсуждение участников настоящей конференции.

С докладом «Общезыковедческие аспекты теории воли И. Шмидта» выступил чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебряников (Москва). Докладчик отметил, что, исследуя лингвистическую непрерывность на материале индоевропейских языков, И. Шмидт выработал ряд положений, многие из которых позднее легли в основу методов лингвистической географии. Используя современные представления о диалектах праязыка и данные современной диалектологии, можно, по мнению Б. А. Серебряникова, более эффективно выявить закономерности языковой интерференции. Для этого необходимо проводить расслоение изоглосс в диахроническом плане, оценивать степень взаимного влияния языков с помощью понятия «порога интеграции», изучать степень устойчивости языковых черт в процессе языкового взаимодействия.

Доклад чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкой (Ленинград) «К вопросу о предмете и методах ареальной лингвистики» был посвящен терминологическому уточнению содержания понятия «ареальная лингвистика», определению взаимосвязи между объектом и методом исследования. А. В. Десницкая отметила целесообразность некоторой дифференциации содержания таких близких по существу научных дисциплин, как лингвистическая география и ареальная лингвистика. В докладе было сформулировано понятие предмета ареальной лингвистики и выделены области ареально-лингвистических исследований.

О проблемах координации исследований по историко-этнографическому картографированию и о результатах, уже достигнутых в этой области, рассказал в докладе «Историко-этнографический атлас Европы» С. И. Брук (Москва). В настоящее время определены некоторые общие принципы и методы работы, согласованы многие вопросы методологического характера, по общим программам начинает издаваться серия «Подготовительные материалы к этнолого-географическому атласу Европы и сопредельных стран».

В докладе М. А. Бородиной (Ленинград) «Понятие „маргинального ареала“ в лингвистическом континууме» содержится характеристика маргинального ареала а) с точки зрения динамики языкового развития, б) по местоположению в отношении лингвистического центра, в) по качеству адстрата. Пространст-

венные характеристики языка, этноса и других культурно-исторических явлений, по мнению М. А. Бородинной, подразумевают выделение маргинального ареала в качестве внешременного условия развития межареальных связей, интерференции явлений в их конкретном бытии.

В докладе Н. И. Толстого (Москва) «Противопоставлены ли в современной Славии центральные и маргинальные ареалы?» описывается точка зрения, согласно которой интерпретация языковых данных в плане относительной ареалологии, основанная на известных закономерностях пространственной организации языков и диалектов, применительно к славянской языковой общности не дает надежных результатов. Противопоставление центрального и маргинального ареалов для современной Славии оказывается святым.

Доклад Л. Н. Терентьевой (Москва) «Картографирование культуры населения Латгалии (Восточная Латвия) в связи с историей ее формирования» содержит изложение результатов картографирования таких элементов культуры, как крестьянские поселения, жилище, земледельческая техника, одежда. Особое внимание в докладе было уделено выявлению меры воздействия на развитие этих элементов культуры различных этнических, социально-экономических и географических факторов. С докладом «Очаг в периферии» выступил В. А. Никонов (Москва). Основное внимание докладчик уделит уточнению некоторых ключевых понятий, относящихся к структуре ареалов.

Л. П. Потапов (Ленинград) доложил о проблемах ареального изучения народов южной Сибири; Е. А. Васкаков (Москва) посвятил свой доклад типам маргинальных ареалов тюркских языков; А. М. Решетов (Ленинград) — проблемам реконструкции маргинальных ареалов в Китае; Е. В. Сахаров (Ленинград) — использованию переписи населения в качестве лингвогеографического источника (на примере индийского языкового ареала); В. Д. Дяченко (Киев) привел опыт картографирования ареалов антропологических комплексов (на материале народов Восточной Европы). В докладе А. И. Домашнева (Ленинград) вопрос о маргинальных ареалах был поставлен применительно к люсембургскому и среднефранкскому диалектам немецкого языка.

На первой секции было прочтено 20 докладов и сообщений, в которых получила отражение почти вся проблематика конференции. Среди них особенно выделялись выступления, в которых лингвистический анализ тесно переплетался с данными этнографии, а именно: «О сопоставлении лингвистических и этнографических ареалов (к методике работы с

источниками ареалогических исследований)» (О. Н. Мораховская, Москва), «Совпадающие изоглоссы и изопрагмы при дифференциации ареалов» (Л. Т. Выгонная, Минск), «О двух типах изоглоссы и изопрагмы в Брестско-Пинском Полесье» (Ф. Д. Климчук, Минск), «Ареалы и этимология двух слов с прозрачной внутренней формой» (Н. В. Попова, Ленинград), «К вопросу о соотношении ареалов слов и реалий» (И. А. Попов, Ленинград).

Несколько докладов было посвящено вопросам языковой интерференции и изучению лексических заимствований — межязыковых, междиалектных или заимствований из литературного языка в говоры: «Некоторые явления языковой интерференции в белорусских говорах литовского пограничья» (Э. И. Григавичене, Вильнюс; Ю. В. Мадкевич, Минск); «Особенности лексического заимствования из одного языка-источника в маргинальные диалекты разных языков» (Ю. А. Лаучюте, Ленинград); «Методика составления атласов лексических заимствований в украинских говорах карпатского ареала» (П. Н. Лизанец, Ужгород); «К вопросу об использовании методов ареальной лингвистики для определения характера влияния литературного языка на диалекты» (О. Г. Порохова, Ленинград); «Проблемы взаимодействия пограничных говоров близкородственных восточнославянских языков (на материале говоров Брянской области РСФСР)» (А. М. Родионова-Нащекина, Ленинград); «К лексической проблематике белорусского маргинального ареала» (А. Е. Сушрув, Минск); «К вопросу об ареальной реконструкции прусского языка» (А. П. Непокупный, Киев).

Доклады молодых московских лингвистов О. А. Терюшковой, А. Ф. Журавлева и А. В. Гуры, касавшиеся славянской и русской общности, выделялись своей этнографической направленностью, ставшей предметом дискуссии.

В докладе А. С. Герда (Ленинград) обращалось внимание на недостатки существующих методов лингвистической географии и предлагалось в качестве взаимодополняющего метода использовать метод сопоставления локальных микрозон. Возможности ареальных исследований по материалам древних рукописных источников обсуждались в докладе Л. П. Жуковской (Москва); методика картографирования семантического поля излагалась в сообщении Н. В. Никончука (Житомир); в докладе Ю. С. Азарх (Москва) была предпринята попытка выявить типичные для разных периодов истории русского языка модели апеллятивов и топонимов с корнями, обозначающими дерево определенной породы; об использовании лингвогеографии при установлении относительной хронологии лексики говорилось в сообщении А. С. Соколовской (Минск);

Б. П. Полевым (Ленинград) сделано сообщение «Значение ареальных исследований для решения вопроса о месте основания первого русского поселения на Кавказе».

На второй секции большинство докладов было посвящено методике работы с атласами как основными источниками лингвотографических исследований. С. В. Семчицкий (Киев) доложил о лексико-семантических интерференциях славянского происхождения в различных маргинальных ареалах дачкорманского массива. Лексические интерференции в маргинальных ареалах были рассмотрены и в докладах В. К. Павела (Кишинев), Л. Н. Сычевой (Волгоград) и М. А. Васильевой (Ленинград), фонетическим особенностям маргинальных ареалов был посвящен доклад В. Л. Борощева (Ленинград), сделанный на материале диалекта Монаха, морфологическим особенностям — доклад И. И. Бабинчука «Простое прошедшее и сложное прошедшее в маргинальных ареалах романской языковой территории». Разные вопросы лексики в контактных зонах были освещены В. Д. Уваровым (Москва), П. И. Рощкой (Кишинев), А. Е. Бородиной (Ленинград), В. В. Корчмарь (Кишинев).

Таблично-изоглоссная методика чтения лингвотографических карт была представлена В. П. Даниловой (Махачкала), а также И. А. Короленко (Ленинград), раскрывшей эту методику на примере лат. *ansa*, *-ae* и его рефлексов на территории Иберийского полуострова. Вопросы методики (сопоставление изоглоссного и математического методов обработки лингвистических атласов) освещались в совместном докладе Н. Д. Андреева (Ленинград), М. А. Бородиной (Ленинград), Н. А. Минасовой (Ташкент). С проблемами реконструкции ареала на материале латарингского диалекта французского языка выступили Н. Н. Беляева и Н. И. Добрягина (Ленинград). О приеме «наложения» карт рассказала М. Г. Волох (Киев). Статистические методы обработки карт были применены С. К. Чистяковым (Ленинград) для определения вопроса о том, насколько понимают друг друга жители пограничных районов соседних государств.

Доклад Р. Я. Удлера (Кишинев) был посвящен определению возраста изолиний в восточной части молдавского языкового массива, Л. Г. Степановой (Ленинград) — специфике ареального членения Италии, А. А. Смольевского — некоторым национальным особенностям франко-провансального языка Швейцарии, С. П. Николаевой и Т. О. Кузнецовой (Ленинград) — некоторым особенностям мар-

гинальных ареалов Иберо-Романии, Н. Л. Сухачева (Ленинград) — ареальным нормам в маргинальной зоне (на примере ретороманских языков).

На третьей секции были представлены самые разнообразные вопросы и языки, среди которых четко выделялось германистическое ядро. В докладе Л. Г. Герценберга (Ленинград) «О трансконвольтском маргинальном ареале» поставлен вопрос о распространении лингвотографических методов на исследование отношений индоевропейской семьи языков с другими языковыми семьями. В. Н. Чежман (Минск) посвящал свое выступление взаимодействию лингвотографического и типологического аспектов при исследовании фонетических изменений.

Лингвотографический обзор кавказских языков предпринят И. О. Гецадзе (Ленинград). Ареальный очерк падежной системы в дагестанских языках предложен в сообщении Ф. А. Гайдаровой (Ленинград), Т. Н. Максудов (Ленинград) посвятил свое выступление лингвотографической характеристике Ленибадской области.

Вопросы взаимодействия центральных и маргинальных ареалов применительно к германским языкам нашли отражение в докладах С. В. Смирницкой (Ленинград) «К характеристике западной маргинальной зоны немецкой языковой области», Ю. К. Кузьменко (Ленинград) «Некоторые особенности шведских диалектов Финляндии», Н. Г. Кузьмич (Ленинград) «О соотношении языковых и политических границ», Н. Г. Помазан (Ленинград) «Об особенностях социально-функциональной модели немецкого языка Швейцарии (в сравнении с немецким языком германского ареала „*Vinpendeutsch*“)", И. В. Крюковой (Ленинград), охарактеризовавшей языковую ситуацию в Ольстере, А. В. Жугры (Ленинград), дожившей о типах маргинальных говоров албанского языка в «постграницных» зонах, В. П. Беркова (Ленинград), посвятившего свой доклад современному положению фризского языка.

Специальное заседание было посвящено ареальной проблематике на материале финно-угорской диалектологии и этнографии. Опыт составления лексико-семантической карты хантыйских диалектов предпринят Н. И. Терешкиным (Ленинград); К. А. Мокань, А. А. Бороданкова, Ю. Е. Немова (Ленинград) продемонстрировали методику обработки карт венгерской диалектологической школы в применении к лингвистическому атласу Франции; К. А. Мокань (Ленинград) на материале Венгерского диалектологического атласа показал возможности использования данных лингвистических атласов для этимологических разысканий. Проблема ареала по материалам орнамента финно-угорских народов

поставлена в докладе С. В. Иванова (Ленинград).

М. А. Родионов (Ленинград) сделал сообщение на тему «Маршруты, метуаляк, друзы (взаимопонимание культур)», специфике и формированию ареала расселения американцев мексиканского происхождения посвятила свое выступление И. Ф. Хорошаева (Москва).

В докладах, прочитанных на четвертой секции, наиболее ярко проявилась связь этно- и лингвогеографических исследований. В докладе Н. Э. Гаджиевой (Москва) были рассмотрены явления языковой интерпретации в пограничных зонах распространения тюркских языков в Средней Азии. В. И. Циц и у с рассмотрела центральные ареалы тунгусо-маньчжурских языков (Приамурье и Приморье) по линии висящих *н-, *к- и конечного -н, которые являются маргинальными с общеалтайской точки зрения. Л. В. Дмитриев, на основе рассмотрения маргинальных ареалов названий растений, наиболее распространенных у тюрков, показала, что подобные ареалы содержат в основном древние заимствования в тюркской флористике. С. Н. Муратов охарактеризовал особенности чувашского и якутского маргинальных ареалов, получивших своеобразие развитие, сохранивших немало архаизмов и имеющих некоторые сходные черты между собой и монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками в фонетике, лексике. Ф. Д. Люшкевич оставилась на семантическом развитии этнонимов «таджик», «узбек», дав новое толкование первому этнониму. В. П. Дьяконова дала характеристику южным тувинцам как историко-культурной и этнолингвистической группе Тувинской АССР, имеющих основным языком повседневного общения монгольский, но сохранившим четкое представление о своей этнической общности со всеми тувинцами. Р. Я. Рассудова рассмотрела развитие значевий в различных частях среднеазиатского ареала некоторых таджикско-тюркских терминов земельных измерений. В. П. Курьлев дал классификацию основных типов скотоводческих хозяйств казахов (конец XIX — начало XX в.).

Методике исследования языков чукотско-камчатского ареала были посвящены доклады А. П. Жуковой (Ленинград), П. И. Ивандиной (Ленинград), Н. М. Емельяновой (Ленинград). Г. А. Меновщиков охарактеризовал формирование ареала эскимосских диалектов; В. И. Васильев осветил основные этапы формирования современных северосамодийских народностей и проблемы их картографирования; Е. А. Алексеева дала характеристику кетско-селькупским взаимодействиям.

Основное внимание в дискуссии привлекли следующие вопросы: а) какое место

в лингвистике и этнографии должны занять ареальные исследования в системе научного знания; б) в какой мере и как соотносятся ареальные исследования в лингвистике и этнографии; в) универсально ли противопоставление «центр — маргинал»; г) каково соотношение лексических, фонетических и морфологических, а также количественных (статистических) данных как критериев выделения центра и маргинала.

Выступления участников конференции, и в особенности завязавшаяся дискуссия выявила два разных подхода к ареальным исследованиям в лингвистике и этнографии. С одной стороны, намечалось стремление объединить эти две науки, создать этнографическую диалектологию (Н. И. Толстой, К. В. Чистов и др.). С другой стороны, подчеркивалась необходимость четко разграничивать цели, задачи, методы исследований в лингвистике и этнографии, хотя союз этих двух наук признается возможным; ареалогия же, возникшая на стыке ряда дисциплин, должна быть четко отделена от лингвистики, и от этнографии (А. С. Герд, Л. Т. Выгонная). Против выделения ареалогии как особой науки высказался А. Е. Сурун. М. А. Бородина подчеркнула, что новое содержание ареальных исследований в наши дни (новые источники, методы и, соответственно, результаты) требуют нового выражения и в терминологическом плане, что и выразилось в применении разными докладчиками разных терминов более или менее одного содержания (ареальные или ареалогические исследования, ареалогия, ареаловедение).

В заключение участники конференции приняли следующую резолюцию:

«Считая полезным состоявшийся обмен мнениями и опытом работы в области ареальных исследований, с целью дальнейшей их координации и усиления творческих контактов между отдельными научными коллективами страны, конференция считает целесообразным:

1. Поручить организацию IV конференции по теме «Ареальные исследования в лингвистике и этнографии» (февраль 1978 г.) Институту этнографии АН СССР; рекомендовать в качестве специального вопроса для обсуждения тему «Общие проблемы языка и этноса (этнические территории и языковые ареалы)».

2. Просить Президиум Географического общества СССР рассмотреть вопрос о возможности создания в рамках ГО комиссии по географическим исследованиям в лингвистике и этнографии.

3. Для более детальной разработки ряда проблем, намечавшихся в процессе конференции, учитывая плодотворный опыт совместной работы ИЯ АН СССР и ИЭ АН СССР над сборником «Проблемы картографирования в лингвистике и эт-

нографии", включить в план работы ленинградских отделений обоих институтов подготовку сборника статей по теме „Ареальные исследования в лингвистике и этнографии“.

4. Считать целесообразным более активное участие советских ученых в составлении „Лингвистического атласа Европы“ и „Этнологического атласа Европы и сопредельных стран“.

5. По предложению секции индоевропейских языков и германистики — посвятить чтения В. М. Жирмунского 1976 г. проблемам германской диалектологии и лингвистической географии.

6. На базе лингвогеографической группы ЛО ИЯ организовать лингво-этногеографический спецсеминар для обсуждения и организации конкретных работ по созданию и обработке лингвистических и историко-этнографических карт и атласов; в частности, по предложению сек-

ции романских языков — составление пробных карт „Сравнительно-фонетического атласа романских языков“; по предложению секции индоевропейских языков — оказание методологической помощи в составлении „Диалектологического атласа языков ханты и манси“ (Н. И. Терещкина).

7. По предложению секции славянских и прибалтийских языков и народов — рекомендовать кафедре русского языка филологического факультета ЛГУ организовать общесоюзную студенческую конференцию по проблемам русской диалектологии и лингвистической географии (на опыте работы над „Словарем псковских народных говоров“).

*М. А. Бородина, Л. В. Дмитриева,
Ю. А. Лаучюте, С. В. Смирницкая,
А. П. Сытов, Н. В. Шаранова*
(Ленинград)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1975 г.
(№№ 1—6)

СТАТЬИ

Аврорин В. А. — О предмете социальной лингвистики	4
Азимов П. А., Дешериев Ю. Д., Никольский Л. Б., Степанов Г. В., Швейцер А. Д. — Современное общественное развитие, научно-техническая революция и язык	2
Белодед И. К. — Функционирование языков народов СССР в условиях расцвета социалистических наций	4
Будагов Р. А. — Что такое общественная природа языка?	3
Георгиев В. И. — Индоевропейское языкознание сегодня	5
Панфилов В. З. — Язык, мышление, культура	1
Панфилов В. З. — Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака	3
Филин Ф. П. — О свойствах и границах литературного языка	6

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Адмони В. Г. — Статус обобщенного грамматического значения в системе языка	1
Арбатский Д. И. — О достаточности семантических определений	6
Бараникова Л. И. — Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации	2
Бородина М. А. — Ареалогия и некоторые вопросы романского языкознания	2
Будагов Р. А. — Что означает словосочетание <i>современная лингвистика</i> ?	6
Винокур Т. Г. — Синонимия в функционально-стилистическом аспекте	5
Волоцкая З. М. — К сопоставительному описанию славянских языков	5
Гаджиева Н. З. — Задачи и методы тюркской ареальной лингвистики	1
Горбачевич К. С. — О фонетических предпосылках некоторых акцентологических изменений в современном русском языке	6
Жуков В. П. — О знаковойности компонентов фразеологизма	6
Задорожный Б. М. — История языка и экстралингвистические факторы	1
Климов Г. А. — О понятии языкового типа	6
Кокорина С. И. — О реализации структурной схемы предложения	3
Котков С. И. — Памятники русской письменности и историческая диалектография	2
Курманбаев Н. М. — Заметки о карлсзванских основаниях генеративной лингвистики	4
Лопатин В. В. — Так называемая литеifixация и проблема структуры слова в русском языке	4
Мельничук А. С. — Философские вопросы языкознания	5
Оранский И. М. — О соотношении периодизации истории языка с периодизацией памятников письменности	2
Севорган Э. В. — Всегда ли при реконструкции необходим фонетический архетип всего слова?	4
Степанова М. Д. — Вопросы моделирования в словообразовании и условия реализации моделей	4
Сыромятников Н. А. — Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках?	3
Туркин В. Н. — К изучению социальных терминов	2
Улуханов И. С. — Отношение мотивации между глаголом и существительным со значащим действием	4
Филин Ф. П. — Некоторые вопросы функционирования и развития русского языка	3

Филлипов А. В. — О косвенно-прямых знаках и описательных обозначениях в языке и других коммуникативных системах.	3
Щербак А. М. — К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках	5
Эдельман Д. И. — К генезису инфинитивной системы числительных	5

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Баскаков Н. А. — Происхождение форм косвенно-прямых знаменительных в тюркских языках	1
Благова Г. Ф. — О типах и структурных рационалностях падежного склонения в тюркских языках	1
Бухбиндер В. А., Розанов Е. Д. — О целостности и структуре текста	6
Виноградов В. А., Хермес И. — Д. Вестерман и развитие африкантистики	6
Горбачевич К. С. — Вариативность слова как лексико-грамматический феномен	1
Гузев В. Г., Писилев Д. М. — К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках	3
Дешериева Т. И. — Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам	2
Елизаренкова Т. И. — Об эмфатических местоимениях в хинди	2
Кленин И. Д. — Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке	2
Клычков Г. С. — Вариативность индоевропейских языков дописьменного периода	2
Кривоносов А. Т. — Система «взаимопроизводимости» неизменяемых классов слов	5
Кузнецова О. Д. — Слова с протетическим <i>j</i> в говорах русского языка	5
Кузнецова Э. В. — Части речи и лексико-семантические группы слов	5
Ломов А. М. — Категория глагольного вида и ее взаимоотношения с контекстом	6
Ломгатицкая Н. В. — К вопросу о природе сонантов и об их коррелятивных парах	3
Лыткин В. И. — Пермско-иранские языковые контакты	3
Милославский И. Г. — О регулярном приращении значения при словообразовании	6
Михайловская Н. Г. — К проблеме нормы древнерусского языка	3
Моисеев А. И. — Типология слогов в современном русском литературном языке	6
Мурадян Л. Н. — Вопросы деривации предложения в русской логической грамматике XIX в.	4
Ондрус П. — К вопросу о характеристике и классификации социальных диалектов	5
Оссовецкий И. А. — О языке русского традиционного фольклора	5
Перуцци Э. — Мифические языковые элементы в латыши	5
Потайова Р. К., Камышная Н. Г. — Слог и его рецептивно-временные корреляты	4
Рудин С. Г. — Специализированные глагольные сочетания тамильского языка	4
Сазонова И. К. — Причастия в системе частей речи и лексико-семантическая деривация	6
Толстая С. М. — Морфологические корреляции согласных в русском языке	6
Уорт Д. — О языке русского права	2
Ходова К. И. — Варьирование и синонимия в грамматике старославянского существительного	5
Ходорковский В. В. — Сигматическое будущее в ооско-умбском	4
Щетинкин В. П. — Эволюция временной системы индикатива от латыни к французскому языку	1

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алексеев А. А. — Академик А. И. Соболевский — историк русского языка	5
Чантуршвили Д. С. — Из истории двуязычной лексикографии	1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Аракин В. Д. — Некоторые проблемы изучения океанийских языков . . .	2
Блашковиц И. — Туркологические исследования в Чехословакии . . .	1
Иванов В. В. — Общеславянский лингвистический атлас	2
Никонов В. А. — Состояние и задачи ономастических исследований Кавказа	4
Терещенко Н. М. — Основные проблемы изучения самодийских языков	1

Рецензии

Белошапкова В. А. — «Otázky slovanské syntaxe», III	3
Березин Ф. М. — По страницам новых журналов	5
Березин Ф. М. — В. И. Кодухов. Общес языкознание	6
Бихарк И. — А. М. Рот. Венгерско-восточнославянские языковые контакты	2
Благова Г. Ф., Клепикова Г. П. — Проблемы картографирования в языкознании и этнографии	6
Бологов В. И., Зинин С. И. — А. В. Суперанская. Общая теория имени собственного	3
Будагов Р. А., Брагина А. А. — «Русский язык в современном мире»	2
Будагов Р. А. — А. Lombard. La langue roumaine	4
Бухчина Б. З., Калакуцкая Л. П. — «Орфографический морской словарь»	5
Гак В. Г. — Г. А. Золотова. Очерк функционального синтаксиса русского языка	6
Герценберг Л. Г. — Новые работы о диалектах индоевропейских языков в СССР	3
Дмитриев П. А. — «Хрестоматия по истории русского языкознания»	1
Добродомов И. Г. — Новые издания	5
Звндер Л. Р., Касевич В. Б. — F. H. N. Kortlandt. Modelling the phoneme	5
Иванов В. В. — С. И. Котков. Московская речь в начальный период становления русского национального языка	6
Караулов Ю. Н. — V. Tauli. Standard Estonian grammar	2
Кедайтеке Е. И. — V. Grinavetsky. Zemaičiū taraiū istorija (fonetika)	2
Климов Г. А. — E. Matteson (et. al.). Comparative studies in Amerindian languages	4
Колесов В. В. — «Словарь русских народных говоров»	5
Кондрашов Н. А. — «O marxistickú jazykovedu v CSSR»	5
Коновал А. Н. — S. Kakuk. Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVI ^e et XVII ^e siècles	1
Левашов Е. А. — А. А. Бразина. Неологизмы в русском языке	5
Лопатин В. В. — Е. А. Земская. Современный русский язык. Словообразование	2
Майтинская К. Е. — «The Hungarian language»	2
Мещерский Н. А. — Б. А. Ларин. Эстетика слов и язык писателя	4
Протченко И. Ф. — И. К. Белодед. Язык и идеологическая борьба	2
Сороколетов Ф. П. — «Словник української мови»	1
Сороколетов Ф. П. — «Назиратель»	4
Сороколетов Ф. П. — С. С. Волков. Лексика русских челобитных XVII века	6
Трубачев О. Н. — В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка	1
Чобану А. И. — Н. I. Корлятану. Исследования народной латыши и ее отношений с романскими языками	3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1—6
--------------------------------	-----

CONTENTS

Articles: F. P. Filin (Moscow). On the properties and limits of literary language; **Discussions:** R. A. B u d a g o v (Moscow). What is the meaning of the phrase «modern linguistics?»; G. A. K l i m o v (Moscow). On the notion of linguistic type; D. I. A r b a t s k i j (Iževsk). On the sufficiency of semantic definitions; V. P. Ž u k o v (Novgorod). Phraseologism components as signs; K. S. G o r b a č e v i č (Leningrad). On phonetic prerequisites of some accent changes in modern Russian; **Materials and notes:** A. M. L o m o v (Voronež). The category of verbal aspect and its interrelation with context; I. G. M i l o s l a v s k i j (Moscow). On regular increment of meaning in word-formation; V. A. B u c h b i n d e r (Kiev), E. D. R o z a n o v (Vorošilovgrad). The integrity and structure of text; I. K. S a z o n o v a (Moscow). Participles in the system of parts of speech and lexico-semantic derivation; S. M. T o l s t a j a (Moscow). Morphological correlations of consonants in Russian; A. I. M o i s e j e v (Leningrad). Syllable-typology in modern literary Russian; V. A. V i n o g r a d o v (Moscow), I. H e r m s (Leipzig). D. Westermann and the development of African studies; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: F. P. Filin (Moscou). Caractéristiques généraux et limites de la langue littéraire; **Discussions:** R. A. B o u d a g o v (Moscou). Que signifie l'expression «linguistique moderne»?; G. A. K l i m o v (Moscou). La notion du type linguistique; D. I. A r b a t s k i j (Ijevsk). Les définitions sémantiques sont-elles satisfaisantes?; V. P. Ž u k o v (Novgorod). Les éléments d'un phraséologisme en tant que signes linguistiques; K. S. G o r b a č e v i č (Léningrad). Sur les conditions phonétiques de certains changements accentuels en russe moderne; **Matériaux et notices:** A. M. L o m o v (Voronej). La catégorie de l'aspect verbal dans ses rapports avec le contexte; I. G. M i l o s l a v s k i j (Moscou). Sur l'accroissement régulier de signification dans la formation des mots; V. A. B u c h b i n d e r (Kiev), E. D. R o z a n o v (Vorošilovgrad). Intégrité et structure du texte; I. K. S a z o n o v a (Moscou). Rôle du participe dans le système des parties de discours et dérivation lexico-sémantique; S. M. T o l s t a j a (Moscou). Corrélations morphologiques des consonnes en russe; A. I. M o i s e e v (Léningrad). La typologie des syllabes en russe littéraire moderne; V. A. V i n o g r a d o v (Moscou). I. H e r m s (Leipzig). D. Westermann et l'histoire des études africaines; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»**

- БЕ — «Български език»
ВЯ — «Вопросы языкознания»
ВИ — «Вопросы истории»
ВСЯ — «Вопросы славянского языкознания»
ВФ — «Вопросы философии»
ВДИ — «Вестник древней истории»
ИАИ ОЛЯ — «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка»
ИАИ ОТИ — «Известия АН СССР. Отделение технических наук»
*Р. яз. в шк.» — «Русский язык в школе»
*Ин. яз. в шк.» — «Иностранные языки в школе»
РФВ — «Русский филологический вестник»
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения»
ЗВО РАО — «Записки Восточного отделения Русского археологического общества»
ИОРЯС — «Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук
(Росс. АН), АН СССР»
СБНУ — «Сборник за народни умотворения»
ФН — «Доклады высшей школы. Филологические науки»
ADAW — «Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften», Klasse für
Sprachen, Literatur und Kunst
AfsIph — «Archiv für slavische Philologie»
AKGW — «Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen»
AL — «Acta linguistica»
AO — «Archiv orientální»
APAW — «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften», Philosoph.-hist. Klasse
BPTI — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językosnawczego»
BSLP — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris»
BSOS — «Bulletin of the School of Oriental studies»
BCLC — «Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague»
BzNf — «Beiträge zur Namenforschung»
CFS — «Cahiers F. de Saussure»
IF — «Indogermanische Forschungen»
IJJ — «Indo-Iranian journal»
IJAL — «International journal of American linguistics»
JA — «Journ. asiatique»
JASA — «Journ. of the Acoustical society of America»
JEGPh — «Journ. of English and Germanic philology»
JФ — «Јужнословенски филолог»
JP — «Język polski»
JRAS — «Journ. of the Royal Asiatic society»
JRSS — «Journ. of the Royal statistical society»
ISFOu — «Journ. de la Société finno-ougrienne»
KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermani-
schen Sprachen»

- MSLP — «Mémoires de la Société de linguistique de Paris»
 MSFOu — «Mémoires de la Société finno-ougrienne»
 MSOS — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin»
 NTS — «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap»
 PBB — «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (Tübingen и Halle)
 PMJA — «Publications of the modern language association of America»
 REG — «Revue des études grecques»
 RÉSL — «Revue des études slaves»
 RF — «Romanische Forschungen»
 RKJL — «Rozprawy Komisji językowej Łódźk. t-wa naukowego»
 RKJW — «Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego»
 RLR — «Revue de linguistique romane»
 RO — «Rocznik orientalistyczny»
 SaS — «Slovo a slovesnost»
 SMS — «Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu históriu»
 SDAW — «Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften», Phil.-hist. Klasse für Sprachen Literatur und Kunst»
 SPAW — «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften» Stud. or.—«Studia orientalia»
 SWAW — «Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften»
 TCLC — «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague»
 TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»
 UAJb — «Ural-Altäische Jahrbücher»
 UJB — «Ungarische Jahrbücher»
 ZfceltPh — «Zeitschrift für celtische Philologie»
 ZiPh — «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft»
 ZIS — «Zeitschrift für Slavistik»
 ZfslPh — «Zeitschrift für slavische Philologie»
 ZfRomPh — «Zeitschrift für romanische Philologie»
 ZfdPh — «Zeitschrift für deutsche Philologie»
 ZDMG — «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии 10 стр. машинописи

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетно, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Семенов*

Сдано в набор 29 VIII-1975 г. Т-16246 Подписано к печати 12 XI-1975 г. Тираж 7085 экз.
Зак. 2707 Формат бумаги 70×108 $\frac{1}{4}$ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч. изд. л. 16,1

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10